

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

ТАТЬЯНА АЗАЗ-ЛИВШИЦ

ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД

ЛЕЯ АЛОН

СТЕПАН БАЛАКИН

ЮЛИЯ ВИНЕР

ЕКАТЕРИНА ГОРБОВСКАЯ

ХАНОХ ДАШЕВСКИЙ

ЛЮДМИЛА ЕФРЕМОВА

ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ

МАРК ЗАЙЧИК

ЕЛЕНА КАЛАШНИКОВА

ЮЛИЙ КИМ

МИХАИЛ КНИЖНИК

СЕРГЕЙ КОСТЫРКО

ЕВГЕНИЯ КРАВЧИК

СЕМЁН КРАЙТМАН

ПЁТР КРИКСУНОВ

ГАЛИНА КУЛЬТИАСОВА

АННА ЛИХТИКМАН

ДАВИД МАРКИШ

ПЕРЕЦ МАРКИШ

СВЕТЛАНА МАРКОВСКАЯ

СТАНИСЛАВ МИНАКОВ

ЮЛИЯ РАБИНОВИЧ

ВИКТОРИЯ РАЙХЕР

АЛЕКСАНДРА ХОДОРКОВСКАЯ

АЛЛА ШИРОНИНА

МИРИ ЯНИКОВА

И ДРУГИЕ

N50



JERUSALEM LITERARY REVIEW

יְרוּשָׁלַיִם לִטֶּרַטוּרָה

2015' 50

2015

50

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

*От всей души поздравляем со славными датами
наших замечательных авторов –*

Семена Крайтмана,

Андрея Крылова

Эли Люксембурга,

Светлану Марковскую

Ирину Рувинскую,

Алекса Тарна!

Многая лета! Многая книги!

Редакция «Иерусалимского журнала»

10806

יְרוּשָׁלַיִם ז'ורנאל



ספר זה הוענק ע"י
המשרד לקליטת עליה
ועיתונות חופשית

יְרוּשָׁלַיִם

50 2015

Иерусалимский журнал, № 50, 2015

Журнал современной израильской литературы на русском языке

В Интернете: magazines.russ.ru/ier/ и antho.net/jr/

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор), **Зезв Гейзель**,
Елена Игнатова, **Юлий Ким**, **Зинаида Палванова**, **Виктория Райхер**,
Дина Рубина, **Роман Тименчик**, **Велвл Чернин**, **Светлана Шенбрунн**

Ответственный секретарь: **Евгений Минин**

Художник: **Сусанна Черноброва**; Веб-дизайн: **Карина Пастернак**

Корректора: **Бина Смехова**, **Галина Культиасова**, **Люба Лейбзон**

Организационное и техническое обеспечение номера:

Борис Бронштейн, **Даниил Бурштейн**, **Виктор Гопман**,
Григорий Гордин, **Владимир Попов**, **Илан Рисс**

Типография «ЦУР-ОТ»

При поддержке



Министерство культуры и спорта
10806



Иерусалимский муниципалитет



Фонд
«Русский мир»



Дом наследия Ури Цви Гринберга

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2015. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: jerusalemreview@gmail.com Тел.: (972) 2-9960302; (972) 54-4745322

OCR Давид Титиевский, июль 2019 г., Хайфа

*Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте,
но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства
по рецензированию и возвращению рукописей*

Сеиён Крайтман

ЗА ВЕТКОЙ ВИННОЙ ЯГОДЫ...

* * *

всё же провинция...
с какого ни глянь конца —
библиотекарши, семечки, люли-люли.
какая-то жалкая бабская хитреца.
осень лежит на домах,
как застиранный лифчик на стуле.
журнал «Работница» с выкройкой панталон.
стон.
значит, море...
море, оно всегда
королевских кровей.
утром ли, днём, в любое
время года
примет тебя вода.
можно плыть, рассказывать, каяться, плакать.
море
не сочтёт бормотание это за трёп глупца,
но будет слушать, не отворачивая лица,
прижиматься, вздыхать,
растёгивать медленно платье,
скажет:
«Бог мой, как же мне хорошо с тобой!»
скажет:
«люблю...»
и потом над твоей головой
плотные, как тяжёлые шторы,
сомкнёт объятя.

* * *

а я зачем... когда и дождь, и Дант?
и ей зачем, и воздуху, и смыслу?
морская слизь, как вязкую ириску,
горчащую, прилипшую к зубам,
жуёт волну.
зачем же я, когда
так близко небо,
так земля прохладна,

так светел дождь,
такая всюду правда,
что моего не отыскать следа?
и плещет ветер.
неприметный сор
мой чёрный глаз
язвит наждачной болью,
и жжёт,
и вытекает вместе с солью,
от этих букв освобождая взор.

* * *

я заплывал в просвет меж двух зеркал.
ладоней двух,
двух лазуритных стёкол.
ста тысяч лиц
стотысячный оскал,
теряющийся в пропасти глубокой
(двойное отражение),
пугал
недвижностью прикушенного крика.
я так давно себя оклеветал,
что клевета моя ко мне привыкла,
как зрение к кромешной темноте,
и я поверил этой клевете,
и вот с тех самых пор за мной повсюду
не отставая, как сухая тень,
слепая тень,
слепой идёт Иуда.
шуткует, пьёт, играет на трубе,
приплясывает зло и тонконого...
тот самый,
втайне выменявший бога
на собственную память о себе.

* * *

время кралось к рассвету,
но было ещё темно.
по песчаному пляжу,
у кромки, ходил кругами
краб, отыскать пытаюсь морское дно,
дом свой, свою любовь.
и тугой пергамент,
солёная кожа чёрной морской воды

застилала берег.
в небе гноились раны
звёзд, похожих на расчёсанные следы
от укусов
невиданных комаров стеклянных.
и в этот час,
с мокрым возясь песком,
я так больно скулил,
я не мог подобраться к слову.
кто услышит меня,
проводящего языком
по чужому нёбу?
утро всплывало, вытягивалось,
я стоял
в нём и под ним
и с невидимым кем-то спорил.
и свет, идущий из Города, накрывал
Средиземное море.

* * *

открытый глаз. горчицная луна.
спаситель дик и болен гепатитом,
билирубином, немотой, пилатом
и плотным ветром в чёрных облаках,
так кучевых, что их ни борона,
ни прочие ни заступ, ни лопата
не разровняют.
жёлтым пахнет страх,
а холод фиолетом,
и пойдя там
найди начало.
поздно горевать.
лишь греться возле огненной геенны,
как у костра какие-нибудь гунны,
молчать, шуруя звёзды кочергой.
а что ж ещё... коль кровь переливать,
нарушив все законы гигиены,
на землю плясь радужкою лунной,
и часто так, и грязною иглой.

* * *

пустых, прохладных улиц мятный вкус.
деревья осени худы и остроносы.
рассвета час.

печальные колоссы
вращают ворот, открывая шлюз.
и солнечная катится вода,
измученные спальни заливая.
и слышен звон ожившего трамвая.
о господа, вы люди, господа.

* * *

за веткой винной ягоды, а не
черёмухи чернеющей, которой
нет в памяти,
за веткой пассифлоры,
акации...
по жёлтым коридорам,
по улицам отвесным, узким, мне
метаться, слышать
нисходящий звон
нажатой клавиши, раскат октавы первой,
смотреть наверх, на клочья зимней пены,
расшитой золотом.
из четырёх сторон
я выбрал пятаю,
где на закате к морю
летит орёл.
где узанному вторя,
Зеведеев Иван, у Мегиддо
на камне сидя, глядя на дорогу,
свой верхний пост записывает в блог.
он пишет так:
«в начале нота "до"
была,
она
принадлежала Богу,
и звук её и был тот самый Бог...»

ЭГЕЙСКОЕ МОРЕ

как орехи, в руке раскололись доски –
корабельные кости на скалах голых.
по камням водяные текут обноски.
голос ветра морского и мокр, и долог.
и, похожа на сумерки в прошлых странах
дует, дует смертная эта скука.
никогда, говорит, удалой и пьяный,
не неси никому ни весла, ни плуга.

за чужим столом не играй на арфе,
даже если спросят – сошлись на голос,
пережатый когтями крикливых гарпий,
объясни... типа – Клио, Эвтерпа, Хронос...
если плач, то от горького только лука,
ни слезы
ни в счастье твоём, ни в горе.
оставайся по-прежнему злобной сукой,
как на энской зоне в Эгейском море.
и когда никого не увидишь рядом,
и когда пропадёшь за семью морями,
закричи вместо «яду мне, братцы, яду!» –
«словаря мне, Господи, словаря мне!».

* * *

случилось это прошлою весной.

– внезапно как...
а был такой герой.
– всё балагурил,
кто бы мог подумать...
– а надо было думать о семье.
– вы не передадите оливье,
дотянетесь?
– да не вопрос, раз плюнуть.
– печально.
– вы позволите, налью?
– я помню, он всё пел, что мы в раю.
и всё смотрел на нитку паутины
в лесу, под солнцем...
где ты, вечный май?
– не чокаясь, по-нашему, давай
за рай, за смех
без видимой причины.
– а больше вспомнить нечего.
ну что ж...
я говорю:
– вы не могли бы нож
мне передать.
и... право, извините,
тот пирожок.
а впрочем, можно два.
из кухни появляется вдова
и говорит:
– о ком вы говорите?

* * *

буквы забыть.
каяться перестать.
каждый выдох свой перестать листать.
выучить:
«так же», «не хуже», «я тоже»... всех-то
преступлений –
рассказы о ком-то и та любовь...
говорить: «с кем не бывает, всего делов».
если и лопнет сердце – не от ужаса, а от смеха.
пенной зимою
среди забытых давно снегов
улыбаться приходу ангела твоего.
ангел приходит в день ангела,
чёрт в день чёрта.
Бог не приходит вообще,
на то он Бог.
у него ни рук, ни ног, ни путей-дорог.
в здешних краях
изображение его нечётко.
выехать в дождь.
от воды очищать стекло.
жёлтое, злое, над дорогой читать табло,
где написано о
необычной
в эти часы загрузке
шоссе впереди.
смотреть на луны оскал,
на небо поваленное,
словно в него упал
метеорит тунгусский.

ТОСТ

пей, мой ангел.
мой не хранитель, но
звука свидетель.
смотри, как дрожит в бокале
кровь моя, перевёрнутая в вино,
обращённая, словно вода в галилейской Кане.
в этот год, как и в прежние, я опять,
будто дукаты в ларце, перебираю слова, пытаюсь
имя твоё вселенное отыскать.
беден мой труд.
падает, спотыкаясь,
нищий язык.

за его немоту бокал,
ангел мой, подними.
связка ослепших литер
на ощупь пусть движется,
как о них и писал
земляным и коричневым старший Питер.
пей за язычество,
за жертвенный сладкий дым,
за хрупкое
без единого облака небо,
текущее тонким, вздрагивающим, голубым
высыхающим ручейком
на виске твоём левом.

ПО ДОРОГЕ В ТКОА

дорога танцевала ча-ча-ча.
виляла бёдрами, плыла.
под этот танец
спала тьма с Господнего плеча.
шёл дождь, больную ногу волоча,
как взмокший, обессиленный германец
по трупам римлян, после битвы при...
...какая разница.
дождь шёл, а я в нём ехал.
мир зарастал холодным чёрным мехом.
в посёлке зажигали фонари.
зима.
зимой
здесь темнеет рано.
плюс этот дождь в начале января.
вдали курган безумного царя,
его дворец.
и ночью от кургана
на ближние холмы ложится тень.
и кажется, по настоящий день
там, во дворце, убийство, блуд и пьянка.
царь принимает друга своего.
друг говорит, что любит египтянку...
царь говорит: в коленно-локтевой...
(солдат, герой, а заглотил приманку.)
рычит германец.
кровь течёт с куста.
царь празднует.
и не было на свете
ни казни, ни греха и ни креста.

и часа нет.
но только дождь и ветер.
вот почему чугунная строка,
та готика под каждой фреской Джотто:
«свободным, парень, делает работа».
какие, парень, ни прошли б века.
а время – что замёрзшая река.
в нём нет вчера.
в нём не случится завтра.
и дуры, начитавшиеся Сартра,
мне скажут:
– Сеня, вновь ты за своё.

за чьё ж ещё?
дождь вымывает кости,
а время, как мы выяснили, вовсе
не движется...
порой заходит в гости,
но не определяет бытиё.

* * *

на площади, завёрнутый в чугун,
стоял нарком промышленности тяжкой,
почти невыносимой.
ветер дул,
он шуровал под байковой рубашкой,
под свитером промозглой пятернёй,
как ВОХРа – баб в клеті у проходной...
«у вас работа, и у нас работа».
в садах срывались яблоки с ветвей,
подгнившие, как лица упырей.
в плодово-ягодном семнадцать оборотов
в общаге пол облуплен, бигуди...
из-за дверей гремит «Ну, погоди!»,
за окнами кисель осенней рвоты.

соседка тупо смотрит на ковёр
и делает свой голос безразличным:
– пройдуся...
и выходит в коридор.
Вирсавия расстёгивает лифчик,
а я пою ей тихие псалмы,
не нужен им, не нужен ей, не нужен...
и мы со всех сторон окружены
Создателем.
и нет пути наружу.

* * *

и вот казалось — ночь идёт ко дну.
скуластым звёздам челюсти сводило
от черноты.
(ещё бы про луну...)
ну да, была луна.
она светила
подводным светом,
рыбьей чешуёй,
какой-то гулкой нотою «нагорной»
и облака, забыв о кучевой,
в свету её приобретали форму
пророчества.
их новому подстать
плыл звук такой одной виолончели....
я слушал, ликовал.
отец и мать
смеялись и мороженое ели.

* * *

от моря отделяется звезда.
закат горит, как книжка со стихами.
и так раздольно, щедро дышит пламя
в поту и злобе правого труда.
слова дымят, их ждёт Караганда —
«нигде» и «никогда» из прибаутки,
места, к которым даже ради шутки
приблизиться не могут поезда.
темнеет воздух, хлипнет,
и огня
рубиновым гримасничает пламя.
слова мои, мы расстаёмся с вами,
вы больше не заставите меня
от собственного имени с ума...
с ума сходить, и каяться, и плакать.
дожди, леса, чугунная вина,
под сапогом вздыхающая слякоть —
в огонь, в огонь,
в закатный чёрный дым.
пусть слов чужих расклёвывает падаль
заката луч.
аз есмь Ирусалим.
и большего не надо.
и не надо...

* * *

...и тогда меня утатило под лёд, накрыло,
закатало в холод, в захлопнувший память выстрел
зима над безмолвным полем плыла, как рыба,
под себя ходя белою и зернистой
солонатовой икрою.
с провисшими проводами
из земли торчали мёрзлые канделябры.
и в горле вместо опухших от слов миндалин
шевелились жабры.

* * *

...и жили ради красного словца.
играя негодяя и лжеца.
вживаясь, веря и пуская корни,
как реформатор сцены говорил.
фитиль горел. и мямлил стеарин,
и забывал об изначальной форме.
и не было ни целей, ни дорог,
ведущих к целям.
карнавальный Бог
балетными шагами небо мерил,
ходил туда-сюда, туда-сюда,
и облаков в руке его гряды,
от духоты спасая города,
напоминала страусиный веер.
так жили, твёрдо следуя одной
лишь заповеди «мой перед едой»,
поскольку мыло на паях с водой
спасает от... от множества болезней.
а ночью, говоря себе «на кой?»,
пытались воду заменить пенькой,
внезапно догадавшись, что такой
расклад — для них —
во много крат полезней.

* * *

— дык, ждали мы....
ну, проходи мужик.
я прохожу.
откуда этот синий
цвет?
возле входа, выпятив кадык,

мой тёзка вальс на русской мандолине
тремолит.
то ль
прощание славян,
покинувших однушестую зону,
а то ли «*клејне лихтелех*»*.
словам –
«о, дайте, дайте гидрокортизону» –
вослед бежит поэт, держась за глаз,
залитый ячменём и жёлтой ложью,
и санитар, похожий на приказ
по роте,
бритый, крепкий, непреложный,
ему за ухо колет «керосин».
такая синь кругом, такая синь,
как будто небо впрыснули под кожу.
нет, не возьмишь.
вина вишнёвый дым,
тень солнечная, струнный воздух медный,
прозрачные лесные цикламены,
похожие на бабочек,
моим
прибежищем они (и только) будут,
я в радужную возвращаюсь клеть,
где всей моей вины – любовь,
откуда
мне так легко и весело смотреть
в стиха начало –
там где «...ждали, дык»,
где синий цвет, где «проходи, мужик»,
где ангелы, одетые врачами,
по пятьдесят принявшие с утра,
стоят, музыку слушая Петра.
не Ильича, а этого... с ключами

ПЕЙЗАЖНАЯ ЛИРИКА :)

так, значит, машины...
как буквы строки,
дымили машины.
их красные их волдыри-огоньки –
примета ангины,
обсыпали улицы тонкой гортань,
текли и свербили,

*«клејне лихтелех» (*идиш*) – «Маленькие свечи»; название ханукальной песенки.

слезились и в тёмную тмутаракань,
дымя, уходили,
в то место, где веет сырым холодком
сиротской квартиры,
где небо закатное под потолком
клочком паутины
качается, мягкое, на сквозняке,
как баюшки-баю,
в холодной квартире,
в пустом далеке,
на подступах к раю.
и я из окна наблюдал этот рай
и слушал клаксоны...
на пальме напротив сидел попугай
зелёный-зелёный.

* * *

оглянись вокруг.
удивляйся и прославляй.
начни с бегонии,
с рыжих её соцветий.
с тёплой листвы.
никогда меня не теряй.
верней, не меня, а память о вечном лете.
я возвёл его сам
настенным назло часам,
псам скулящим назло.
и сам же в него поверил.
«не возьмёте!» – кричал.
и с плеча, хохоча, бросал
в небеса
залихватские звуки своей свирели.
их ловил, как на пляже мячи,
загорелый Бог.
и прикладывал к уху,
как раковины,
и слушал.
сколько нарушил я заповедей его?
первую не нарушил.
а станет в чужой стране,
на чужой луне
быть тебе и споткнуться о ветер снежный
не теряй...
память лёгкая обо мне
будет твоей надеждой.

Юлия Рабинович

ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ

Машина, кряхтя, вскарабкалась в гору, и Город открылся во всей своей неземной красоте, ослепительно золотой в утренних солнечных лучах.

Дома – и маленькие, и большие, и новые, и старые – казалось, вырезаны из единого светлого, чуть желтоватого камня.

– Что это? – спросил пассажир, показывая на совершенно космического вида округлое сооружение, словно парящее над всем этим великолепием.

– Это трамвайный мост, – ответил таксист.

– А разве в городе есть трамвай?

– Нет. Но если вдруг случайно забредет, у нас уже готов мост.

– Но трамваи не забредают сами по себе, – не унимался пассажир.

– Золотые ворота тоже стоят и ждут прихода Мессии, – парировал таксист.

– Золотые ворота заложены, – уверенно заявил пассажир, проявив удивительную для иностранца осведомленность. – К тому же Мессия не «забредает случайно», его посылает Бог.

– Вероятно, когда-нибудь Бог пошлет нам и трамвай. И еще неизвестно, кого из них он пошлет раньше.

– Глупости какие, – фыркнул пассажир, отвернулся и принялся разглядывать из окна такси узкие улочки и спешащих по ним сонных прохожих.

Таксист включил радио. «Я верю в приход Мессии!» – запело оно на какой-то душераздирающий игривый танцевальный мотивчик. Первым молчание нарушил иностранец.

– Зачем эти люди носят летом меховые шапки? – спросил он.

– Так им велит их Бог, – с радостью поддержал новую тему таксист.

– Бог у нас один.

Все-таки иностранцы могут быть потрясающими занудами.

– А велит всем разное, – невозмутимо пояснил таксист, – для разнообразия. Вон эти в черном, те в белом, эти в кипе, те в шляпе... Веселее же? А то ходили бы как в униформе.

Аргумент показался странным, но убедительным. Пассажир промолчал.

– Все, господин турист, приехали. Старый Город. Пришла пора проститься со ста пятьюдесятью шекелями.

– Я должен открыть тебе тайну, – вдруг, понизив голос, заговорил иностранец. – Я и есть посланный Богом Мессия. Скоро мне предстоит пройти через Золотые ворота, и тогда Храм снизойдет на Храмовую гору, умершие восстанут из мертвых...

– Верю, – не моргнув глазом, согласился таксист, – каждому твоему слову верю. Но в этом городе каждый третий – Мессия, а

каждый пятый – сам Бог. Если таксистам будут платить только смертные, нам придется прикрыть гешефт.

– У меня просто нет денег. Пойми, я действительно послан самим Всевышним и спустился на землю только пятьдесят минут назад.

Почему-то таксист ожидал именно эту фразу.

– Понимаю, но если Всевышний, провожая тебя на самолет, все же случайно дал тебе в дорогу тридцать евро, он, безусловно, имел в виду, что ты отдашь их тому белому ослу, который привезет тебя в Святой город.

– Ты не понял, – виновато улыбаясь, сказал иностранец, – я не прилетел самолетом. Я спустился с неба. У меня действительно совсем нет никаких денег.

– И что же мне вечно на вас так везет! – безнадежно вздохнул таксист. – В ближайший же выходной доберусь до Стены Плача и попрошу у Бога, чтобы не забывал давать своим посланникам денег на проезд. Ну а еду-то ты на что будешь покупать?

– С Божьей помощью, как-нибудь, – неопределенно протянул Мессия.

– Слушай, мне тут жена сэндвич сделала с тунцом... Сто раз ей говорил, не люблю я этого тунца, а она вон, видишь, напихала – семерых Иисусов накормить можно одной этой рыбой. Возьми. На Бога надейся, а голод не тетка. Ну, удачи, Мессия. Да поможет тебе твой Бог.

* * *

– ...И тогда с неба опустится купол, божественный свет озарит Иерушалаим, – мягким певучим голосом вещал мужчина в нелепом белом балахоне.

– Видишь, Шеличка, это Мессия. Помнишь, я тебе рассказывала, что он когда-нибудь придет?

– И это он пришел?

– Нет, этот понарошку. Вот когда придет по-настоящему, все мертвые оживут.

– И дедушка Ицик тоже?

– И дедушка Ицик тоже.

– А где же он тогда будет спать? На его кровати ведь уже спит Малка?

– Ему не нужно будет спать, он будет летать над нами.

– Мама, ты же говорила, что он и так летает над нами и видит, как я скармливаю Бейгале свои котлеты?

– Когда придет Мессия, ты сможешь дедушку видеть и даже с ним говорить.

– И ты?

– И я.

– А этот дядя – он точно понарошковый Мессия?

– Точно. Настоящих Мессий не бывает.

– Фух! Нет, мам, ну просто вдруг дедушка Ицик все неправильно там сверху увидел про котлеты?

– Пойдем, болтушка. На, положи ему шекель, и пойдем.

* * *

Тусклый месяц освещал стену Старого Города. Почти сливаясь с ней, по тропинке медленно и безнадежно брел усталый путник. Вдруг непонятно откуда на стене появилась еще одна тень, поравнялась с путником и поплыла рядом.

– Добрый вечер, – сказал хозяин тени, – ты, верно, к Золотым воротам? Не стоит спешить: там тебя опять никто не ждет. Ты ведь Мессия?

– Ты узнал меня! – воскликнул путник. – Ты веришь, что я настоящий Мессия?

– Разумеется, это же видно с первого взгляда!

– В этом городе никто не узнает меня, никто не верит в мой приход! Я превращал воду в вино, а камень в хлеб, я взывал над толпой, я вызывал дождь среди ясного неба... Они только аплодировали и кидали мне монеты. Эти люди ни во что не верят!

– Ты ведь не торопишься? – попутчик положил руку на плечо Мессии. – Я давно хотел поговорить с тобой. Присядем? – он кивнул на скамейку. – Ты пробыл в этом городе меньше недели и уже разуверился в его жителях. Всевышний живет здесь больше пяти тысяч лет и все еще не потерял надежды, все еще посылает Мессий на эту землю. Ты ведь, верно, догадался, что ты здесь не первый, кто высекает воду из камня и превращает ее в вино? Это милые фокусы, но этим тут никого не удивишь. Я и сам ими баловался, когда был ниспослан... Да-да, и я тоже. А кто нет? Посуди сам: в этом городе зима холоднее, а лето жарче, чем во всех других. Жилье и еда стоят дороже, а зарплаты меньше. Беда посещает его чаще, а веселые праздники реже, чем любой другой город. Что же держит здесь людей, если не Бог? Здесь каждый, даже самый простой смертный – в каком-то смысле посланник Бога. А ты говоришь: они ни во что верят!

– Послушай, но ведь то, что ты говоришь, – это же ужасно! Это значит, что приход Мессии всегда останется не замечен, что Золотые ворота никогда не разверзнутся, а Храм никогда не опустится на Храмовую гору!

– Без малого две тысячи лет в этом городе нет Храма, но это не мешает Богу находить дорогу к каждому сердцу.

– Но если это так, что же я теперь должен делать?

– Что делать? А ничего, просто жить. Хочешь, я устрою тебя гидом в приличное турагентство? Между прочим, самые лучшие гиды получают именно из Пророков и Мессий. Там, кстати, неплохо платят. Согласен? Ну, вот и славно. Завтра утром я тебя сам найду. Как? Что за глупый вопрос! Здесь даже обычные люди, если хотят кого-то случайно встретить, просто выходят из дому и случайно встречаются, а уж тем более такие, как ты и я. Так до завтра? Спокойной ночи.

* * *

– «Вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и понеся Илия в вихре на небо». Вот с этого места вознесся пророк

Илья, а спустится на землю он перед приходом Мессии. Впрочем, очень вероятно, что он уже бродит где-то среди нас. Тут же рядом вы видите мечеть с серым куполом. Это мечеть Аль-Акса, что в переводе означает «на краю». Отсюда, оттолкнувшись от крайнего камня Храмовой горы, вознесся пророк Магомет.

– Да-да! Мы помним анекдот про Байконур. Вон там вознесся Иисус, а там – пресвятая дева Мария...

– Не вижу повода для смешков, молодой человек. Ну-ка, встаньте-ка вот сюда, выдохните весь воздух. Еще. До последней капли. А теперь вдохните. Глубоко. Глубже. Еще! Еще!

– Ой! Я отрываюсь от земли! Ой, пацаны! Гляньте! Я ж висю!

– Давайте руку, молодой человек, спускайтесь. Вот так. А вы говорите, Байконур. Просто воздух здесь такой. Иерусалимский. Ну что ж, продолжим наше путешествие. Не отставайте, пожалуйста, здесь легко потеряться.

Марк Зайчик

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ИЕРУСАЛИМЕ

Эта песня на два сольди, на два гроша...

Он был громоздок и одновременно очень ловок – одно другому в его случае не мешало. Ходил в башмаках и широких рабочих брюках защитного цвета, которые держались на лямках, натянутых на крепкие плечи. Сложение его было обычное, никаких мышечных гор, лицо правильное, часто небритое. Руки как бы не до конца распрямлялись, от него исходило ощущение сдержанной силы. Голова была правильной формы, обритая наголо. Все-таки это неточность, так как посередине головы была лысина, оставшуюся растительность он аккуратно каждые два-три дня сбривал электробритвой, которую приобрел в беспошлинном магазине в аэропорту Хитроу за 130 фунтов стерлингов, потому что на островах не перешли на европейскую валюту. Как он довольно часто повторял, «дорого, но сердито». Бритва мощно и ненатужно гудела, снимая волосы с затылка и висков. Во время совсем уж большой жары надевал на голову темно-синюю кепочку с козырьком, отбрасывавшим густую тень на его собранное средиземноморское лицо.

Жил он один в доме из мягкого желтого камня на краю поселения возле столицы. Два раза перестраивал, рушил стены, перестилал полы, добивался домашней гармонии. Что-то ему мешало. В конце концов простор объединенной гостиной и кухни с огромным окном с видом на газон и небольшой бассейн с фонтанчиком ему понравился, и он оставил его на постоянной основе, к которой привык его пристальный сиреневый взгляд.

Участок был окружен двухметровыми непроходимыми кустами, в которых в полдень большую часть года летали нарядные птички нектарки похожие на хлопотливых встревоженных сине-зеленых стрекоз. Траву на участке посадил сам, она выглядела изумрудным благородным ковром. Пару раз в год выкашивал газон жужжащей косилкой с пластиковым суетным ножом. Когда-то он получил образование агронома в институте имени Вейцмана, был такой деятель в середине прошлого века, вроде бы нобелевский лауреат, очень похожий внешне на Ленина, но не Ленин совсем. Вейцман этот был даже когда-то президентом, чуть ли не первым, этой небольшой, но солнечной страны, как называет Израиль один мой знакомый прозорливый чужак.

По второму своему образованию герой наш был социологом, занимался поведением толпы, которая, как известно, хоть и хаотична, но все равно не лишена некоторой организации. Дипломная работа его называлась «Роль толпы в современном мире». Он доказывал и доказал в результате, что роль этой толпы значительна. Его армейский командир, человек в звании полковника действительной службы, присутствовавший на защите, сказал по поводу труда своего подчиненного: «Очень интересно, очень, хотя и странно, конечно».

На самом деле этого тридцатидвухлетнего собранного человека звали не просто Боря, а Мой Боря, если уж быть точным. Но раз принялись говорить на понятном всем языке – слева направо вместо справа налево, то пусть он останется Борей, положительным необычным мужчиной, стремящимся к знаниям и совершенству. Взгляд его дымчатых сумеречных глаз был длительным и ничего хорошего не обещающим для тех, кто всматривался в него. Такие люди находились, в основном это были женщины, пытавшиеся рассмотреть в его глазах любовь.

Интересно, что у Бори была и третья специальность, военная. Он был подполковником, распространенное воинское звание здесь. Таких много в этом месте с не торжествующей армейской униформой, но такого, как Боря, больше не было, так ему внушали командармы. Он был большой специалист в нескольких военных областях, об этом позже. Пока же отметим его склонность к хладнокровной прицельной стрельбе и ночному ориентированию. В нем еще жила боль потери близкого человека, с которой Боря никак не мог справиться уже больше двух лет.

Боря был очень упрям, если можно так назвать жесткость и настойчивость в поведении. В углу его участка был отгорожена зеленой сеткой земля, по которой, суетно квохча, ходили-бегали три пестрые курицы, надменный неумный петух, пара гусят и дежурившая на несущей балке расслабленная кошка, надсмотрщица, загадочная красавица и охотница. Боря несколько раз на день, проходя мимо, говорил кошке: «И не думай даже», показывая рукой на гусят. Кошка обиженно закрывала глаза, мол, очень нужно, иди своим путем уже, учитель тоже нашелся. Но видно было, что нужны ей эти гусята очень, надо только выждать. На ночь Боря забирал гусят от греха подальше в дом, где в гостиной у него был загон для них, растите, ласточки. На приступке в гостиной стояла корзина с зелеными яблоками, плотными плодами, сок которых был сурово-кислым и прекрасным. Боря кормил гусят и кур специальным кукурузным кормом, зачерпывая его горстью из детского пластикового ведерка и разбрасывая щедрой рукой, поправляйтесь, девочки. К ночи возня и беготня в загоне успокаивалась. Ворчливые злые вороны с провисших электропроводов улетали в темноте, хлопая крыльями и ворча на жизнь, кыр-кыр-кыр, кирдык тебе, Борис Батькович. Кирдык. Курицы спали в фанерном доме без окон и дверей, была щель: рубль вход, выход – два. Кошка неустанно караулила врагов, которых в округе было немало. Она спала на старой диванной подушке в углу, вытянув лапки и положив голову на них: снайпер и бессменный наблюдатель, одновременно сфинкс и царь зверей с непростой внутренней жизнью. Трещали насекомые, звуки их раскрашивали окрестность в разъездной цирк с итальянским усатым хозяином и доверчивой худенькой гимнасточкой, с узкими плечами и ногами в телесного цвета рейтузах на неожиданно полных тугих ляжках, от вида которых у местных подростков и взрослых парней после армии мутился раскусок и томились каменные яйца в дешевых плавках.

Настоянный на солнце и цветущих травах день кружил ему голову. Боря, по паспортным данным – Барухи, даже отмахивался от излишних великолепных запахов, потому что считал себя не за-

служивающим их. Неподвижный смешанный лес, начинавшийся сразу за грунтовой дорогой на выезде из поселка, был полон гулких птичьих звуков и таинственных шорохов. Сосны, которые были здесь высажены лет шестьдесят назад, образовали на террасах холмов просматриваемую насквозь столичную рощу, в которой легко можно было заблудиться, территория была непредсказуема, как и многое на этой земле. На базальтовом валуне сизого цвета лежала, приподняв голову, ящерица, вершившая охоту. Ее глаза были единственными шевелящимися во всей округе предметами, все остальное стыло и таяло на солнце. Бедуины ловят и высушивают ящериц, делают из них особый настой, считая его большой подмогой в физическом проявлении любви. Просто смотреть на этот напиток с плавающей в нем ящерицей неприятно, пить его еще сложнее, но люди ведь пьют, нужда и надежда заставляет.

Когда у Бори много лет назад был в армии курс выживания, то он питался в пустыне возле Сдома и ящерицами, и другими тамошними тварями, оставлявшими неожиданный привкус оскомины и соли.

Магазин был неподалеку, здесь все близко вообще. Боря ходил по дороге в глубь поселка, сворачивал вправо, и третий дом слева был магазин. Людей было мало, так как почти все были на работе. Одна девица катила в удобнейшей коляске на рессорах превосходного щекастого веселого младенца с ногами и руками в глубоких складках. Еще одна женщина, одетая в свободное хорошо скроенное платье, везла хозяйственную коляску на бесшумном ходу. Кассирша приоткрыв блеклый рот, забыв обо всем, наблюдала в компьютере перед собой неожиданный плотский эпизод из полувековой давности фильма Бергмана «Земляничная поляна». Боря, выбравший для себя и своей гостыи бутылку шотландского виски медового цвета, полтора кило куриного фарша, триста грамм замороженного бараньего жира, пучок петрушки и копченые сосиски для охотников, кротко стоял перед кассиршей, потупив взор. Та ничего не видела, кроме двух разнополых взрослых шведов, возбужденно стоявших на коленях друг за другом на экране компьютера.

Наконец женщина, закрыв рот, с трудом вернулась в реальную жизнь («Таня, очнись», – прикрикнула из угла старшая кассирша), увидела Боря в обширных штанах неопределенного цвета и нажатием пальца на клавишу вяло перевела на экран компьютера ценник товаров вместо немолодых пыхтящих шведов, пойманных за запретной игрой искушенным оператором Бергмана. Боря смотрел в пол, он был смущен больше кассирши, покусывал душистую травинку, ну, простите меня великодушно, мадам, подумал, но ничего не сказал. Русский он знал хорошо, но, конечно, с кассиршами говорил на иврите, тоже от стеснения. Фарш, траву и жир Боря взял для котлеток. Он был большим мастером. Мясной отдел здесь был замечательный, продавец был закован в крахмальную куртку и колпак, на стене за ним была роскошная выставка приклеенных к магниту рабочих ножей, все действующие, все острейшие, все сделаны в Испании. До того как прикоснуться к мясу, этот человек надевал медицинские перчатки.

«С вас 187 шекелей 20 агорот», – сказала кассирша Боре, и он протянул ей деньги. Женщина с роскошным звоном отомкнула кассу и отсчитала сдачу мелочью. Кивнув, покупатель ушел, забрав

купленное добро голой по плечо, смуглой от загара по локоть рукой. Солнце оставило следы на левой руке, которую он держал в машине на опущенном стекле водительской двери.

К Боре должна была приехать подруга. Позвонила час назад и сообщила, что голодна, как волчица, «сделай, котенок, милый, котлеток, умоляю, розовеньких, а?!». Боря после разговора тотчас ринулся в магазин – раз она просила, то она, конечно, получит. Он ее обожал, эту смешливую добрую девицу с яркими глазами и послушными чреслами, мог сделать для нее большие дела, большие, чем какие-то там куриные котлетки. Что котлетки?! Он мог ради нее совершить преступление против человечности, как пишут на вторых полосах газет. И не одно преступление.

Вот они, эти румяные котлетки из куриного фарша с мелко нарезанным бараньим жиром, замоченного в ледяной воде и отжато-го ломтя белого позавчерашнего хлеба, крошеной петрушки, двух яиц, луковицы на терке, и, пожалуй, это все, – и были предметом девичьей страсти. Конечно, панировочные сухарики на тарелке, ну и там по мелочи. Был еще секрет, пол чайной ложки питьевой соды, но это на любителя. Иногда он добавлял большую ложку горчицы в фарш, но это когда были у него в гостях другие люди.

Посреди его гостиной с неотделенной кухней стоял камин из красного кирпича. Его сложил за один присест печник из Самарии, морщинистый араб, старый знакомый Борин. Восемь часов размеренной, сходной с математическими упражнениями работы, три часа подготовительных занятий. И вот вам камин на радость, только топи оливковыми тяжеленными дровами, которые тлеют часами в студеные иерусалимские вечера.

Каждый обожженный малиновый кирпичик, каждую половинку его араб чистил от пыли, оглаживал грубыми руками, как любимую козу. Ничего не пропадало. Кирпичи были прочные, казались легкими в руках араба. Глиняный раствор, приготовленный на белоснежном дюнном песке второго слоя и дождевой воде, накладывался аккуратно, бережно, лишнее снималось мастерком.

Араб сложил все на одном дыхании, с шести утра до пяти вечера, не разгибаясь, не отвлекаясь. Полюбовался камином со всех сторон, обстучал, долго прислушивался к звуку. Протер всю кирпичную поверхность влажной чистой тряпкой, на которой остались черно-серые следы. Затем протопил, разжегши костер в чреве с одной спички, от денег долго отказывался, прикладывая руку к сердцу, уважал. Одна рука закрывала всю его обширную грудь, и еще пальцы вылезали за ключицу. Потом Боря все же сумел сунуть ему в карман пять зеленых сотенных с изображением мужчины в котелке. Или, иначе говоря, отдал пятьсот долларов за работу Валиду Халедовичу, как назвал бы печника отец Бори, находясь в некотором подпитии. Такие были расценки тогда по каминам, примерно, конечно, потому что точнее не узнать, кто там что может знать с ценами на камины?..

«Это дешево, просто бесплатно», – сказал Боре вальяжный сосед, ушлый человек, торговец персидскими и афганскими коврами, которые заменяли в его доме обстановку. К Боре он относился снисходительно. Он-то знал расценки на все, до последнего груша. Напомню, что груш – это груш и есть, ничего то есть. Денежная

единица, обозначающая ничего. Груш – это то, что по-русски означает грош, если еще не поняли, но вы, конечно, все уже сами поняли.

Араб оставил на стене камина фирменный знак: две скрещенные сабли, умело, красиво, безошибочно выцарапанные граненым гвоздем с квадратной шляпкой. «Сабли эти мне дороже денег, всегда ставлю на своих печах», – объяснил он Боре, который наблюдал за ним с нейтральным выражением лица. Рука печника была корява, уверенна и точна. Кирпич он слушал на звук, постукивая кривым пальцем в него, как в дверь извечного друга, почти брата.

Хозяин магазина стоял во дворе на солнцепеке и наблюдал за входом с ленивым видом большого бездельника. У него был вид пройдохи, с заложенными за пояс большими пальцами, со сдвинутой на затылок щегольской соломенной шляпой, с расстегнутым воротом дорогой рубахи. Да он и был пройдохой, если быть точным. Привозил фрукты и овощи от неизвестных поставщиков, однажды инспектора изъяли у него мясо с просроченными на пару месяцев датами, красивейшие куриные яйца без необходимых штампов на скорлупе, можно было бы продолжить этот увлекательный список. Забор вокруг дома был украшен поверху проволокой – дело неслыханное в этих краях в частных домах, такой привычки у людей здесь нет. Он был нагл, решителен и уверен в себе.

С Борисом поздоровался уважительно и осторожно. Даже в глаза сбоку заглянул. Откуда-то у него было почтение к этому молчаливому скромному мужику. Боря, смешавшись, ответил ему; никак и почти никогда у него не получалось холодное презрение в разговорах с неприятными ему людьми. Впрочем, в 67-м году этот самый сальный тип был среди тех, кто с бешеным криком рубился врукопашную на Оружейной горке, вбегал через Львиные ворота в Старый город, рыдал над погибшим от дурацкого осколка другом с вываленными дымящимися кишками, блевал, прислонив башку в каске к железному столбу, молился у Стены, пылал от восторга великой военной победы. Это не помешало ему стать тем, кем он стал через несколько лет. Или он всегда таким был, непонятно. Каким человек родился, таким и помер, так говорила Борова мать на идише, будучи старой, растрепанной, больной, не вполне адекватной женщиной, но она была права.

На плечах у хозяина вырос за эти годы неряшливый горбик из жира, отложения от возраста и жизни, что совсем не добавляло этому человеку внешнего обаяния. Нельзя сказать, что ему это не мешало, но он справлялся со своим видом. Борю хозяин магазина считал аристократом, что было не то что неточно, но даже смешно. Дед Бори со стороны матери развозил на подводе лед в Тель-Авиве и окрестностях. Лед тогда заменял в домашнем хозяйстве холодильники. Это было сразу после провозглашения независимости. Он кричал лошади «тпру, родимая», никогда ее не хлестал, называл кормилицей, косил ей сочную прибрежную траву у Яркона. Кличка лошади была Сейсма. Жена деда умело и очень вкусно готовила национальные блюда европейской кухни в небольшом кафе на шесть столиков на улице Алленби, заодно исполняя на месте также обязанности официантки и уборщицы.

Дамы-посетительницы были в замечательных платьях из шелка и крепдешина, с выточками, цветами по подолу, мужчины пили дешевый бренди и резкий арабский кофе, слушая музыку, которая звучала из-за прилавка, — там работал патефон. И невероятно популярное тогда танго кружило головы населению. «Не говори мне “прощай”», — низким голосом пела местная исполнительница, которую звали Яффа, что значит «красавица».

Между собой дед и бабка Бори говорили на идише, громко выговаривая слова. Эхо металось по их комнате с низкими потолка-ми. Они не ругались, но Боре всегда казалось, что слова их обид-ные, так это звучало. Боря уже не застал ни лошади Сейсмы, ни сарая, в котором ее держали, но в семье много говорили со счаст-ливым весельем об этом времени и работе деда. Он был среднего роста, бородатый, мог выпить и выпивал. У рыжеволосой бабки было темное морщинистое лицо, видно было, что совсем недавно она была хороша собой. Мать Бори пошла в нее, а сестра матери, популярная у щеголяющих дам портниха, была похожа на своего отца, совсем не красавца, что для мужчины не так важно.

Мать Бори, непраздная обаятельная полногубая женщина, три-дцать восемь лет проработала в страховой компании в двух авто-бусных остановках от дома, за ней ухаживали мужчины, но она бы-ла верна своему чубатому корявому беженцу. Отец Бори говорил по-русски без акцента, умеренно ругался матом. Во время войны с немцем он находился в Сибири в качестве польского беженца, был шофером на лесоповале. Имя ему на работе дали Федор, а что? От рождения он был Фишелем, но произнести там такое никто не мог. В Советском Союзе он научился жизни, уму, сдержанности, мог принять стакан и запить его вторым стаканом. Иногда уже здесь, в Средиземноморье, по-простецки выдавливал в стакан со спиртом половину спелого помидора, называя получившееся «напитком нашей красной Мэри», вы знаете, что он имел в виду. Но вообще, водку он любил пить с чаем. Вот и весь аристократизм.

Еще у Бори был брат, он жил за границей. Только ученый засра-нец-брат, Боря да тетка в доме престарелых остались от всей се-мьи. Время слизало этих людей толстым бесчувственным языком, будто никого из них и не было никогда: ни глазастого деда, ни ры-жеволосой бабки, ни королевы-мамы и ни выпивающего после ра-боты отца, принявшего душ, пригладившего прямые волосы назад. Отец сидит за круглым столом с победоносным видом перед зеле-ным салатом, красным густым супом и нейтрального цвета загадоч-ной бутылкой «Кеглевича», в белоснежной майке, шортах «хагана» и тапках, сооруженных им из старых башмаков со срезанным брит-венным ножичком задником, конечно же, на босу ногу.

Что-то мы все о грустном и о грустном. А Боря быстрым шагом движется под полуденным солнцем домой с двумя наполненными продуктами пакетами, в которых все необходимое для жизни и любви. Кошка встречает его вместе с петухом и курами, радостно и одобрительно. Гусята недовольны, но они молоды и еще не в теме. Трудно поверить, но мать Бори учила его в детстве музыке, он играл на флейте безуспешно. Медведь на ухо наступил, хмуро говорил подвыпивший отец по-русски, но Боря уже понимал. Инте-

рес к музыке у него пропал, казалось, безвозвратно. Теперь вот, через девятнадцать лет, он вспомнил и иногда наигрывал на деревянной дудочке, приобретенной на ярмарке в Германии, простые мелодии из детства. Животные его замирали при этих пастушьих звуках, женщина его, вскочив из постели, своего любимого местонахождения, начинала танцевать, обернувшись простыней со следами их утех. Она была гибка, гладка, склонна к полноте, но пока это было не очень заметно, даже привлекательно, это гармоничное вызывающее женское мясо в любовном поту, который еще не высох. Мама была бы довольна, если бы услышала Борино музицирование сегодня, но она давно ушла куда-то за облака, наверх, даром что облаков-то здесь нет, разве что в короткий чудесный промежуток времени с ноября по март. Но это не в счет, этот кусок осенней погоды Палестины не в счет, потому что все быстро забивается апрельской, майской, июньской и последующей жарой, которая была уже и не жарой, а так, дурным июльским сном.

Несколько бутылок галисийского белого вина «Альбариньо», маслянистого и свежего на вкус, Боря привез из Испании. Бутылки лежали в специальных ячейках в темном углу гостиной, пылились и покойно ждали своего часа. Он предпочитал виски, которое не имело обычая сохраняться – он его почитал и употреблял. Нет нужды говорить о том, что виски Боря принимал в чистом виде, без льда, содовой и каких-либо других ухищрений, все-таки он многое видел в жизни отца, который постоянно повторял русское слово «чистяк» по отношению к своим напиткам. Несмотря на «нашу красную Мэри», которую изредка отец готовил от некоторого избытка достатка и баловства, он совершенно не мог понять посторонних привнесений не только в алкоголь, но и в другие жизненные составляющие. Он неожиданно верил рекламе, которая в его годы все-таки была не столь агрессивна. Реклама тогда была проста и сурова: хочешь быть здоров, покупай шоколад фирмы «Гросс». Никакого приближения к нынешним великолепным кадрам с затихающими и нарастающими звуками счастья за безупречными малоподвижными лицами манекенщиков и их не менее безупречных полуодетых подруг. «Хочешь стать таким, как я, кушай стейки братьев Курага, лозунг воплощали в жизнь сотни и тысячи зрителей, наблюдавших по ТВ мясные трапезы замечательно красивых девиц и их привлекательных мужественных друзей.

Без стука вошла его веселая, постоянно смеющаяся чаровница. «Ох, как хорошо у тебя, прохладно, тихо», – сказала она с порога. «Можно подумать, что на улице шумно», – подумал Боря. «Всякое препятствие любви только усиливает ее», – сказал он гостье. За нею, осторожно ступая, зашла кошка, поглядеть, что, да кто, да почему. Кошка выгибала спину, гнула ее дугой, женщина тоже. Иногда эта кошка ела крупных боевых муравьев, собирая их на мраморном полу крыльца, подбрасывая лапками и широко раскрывая треугольный рот с перламутровым небом и коротким алым язычком.

Боря носил очень дорогие часы, которые не вязались с его малозаметным обликом. В начале года он читал лекции о выращиванию свеклы, которая, как выяснилось, произрастает во многих местах Земли, – полезный и вкусный корнеплод.

Семинар проходил в сорока пяти минутах езды от дома, если без пробок. Боря испросил разрешение у командования, получил его и неделю общался с дамочками и мужчинами из разных славянских стран. Делился опытом и знаниями. Мог ли об этом мечтать его отец долгими сибирскими ночами? За Борей записывали на магнитофон старательные агрономши из средней полосы России. Чеченец Заур аккуратно заполнял тетрадку излагаемые лектором знания. Боря докладывал по-русски, все удивлялись, как же так, откуда знание русского у местного? Из дома, отвечал им Боря. Когда он сказал, что его отец был в Сибири бесправным беженцем, глаза Заура блеснули. «Ты борец? – спросил чеченец после лекции, – дзюдоист?» «Таким уродился», – ответил Боря. «А похоже», – задумался Заур.

Потом у Бори был день рождения (знак зодиака Водолей), и он сказал, что второй лекции сегодня не будет по уважительной причине. «Ой, а что, Борис Фишелевич, случилось?» – заволновались девчонки. «Ну, у меня сегодня день рождения, простите, девушки», – сказал Боря. «Ой, а у нас и подарка стоящего нет любимому лектору». «Я прошу вас не нервничать, у меня все есть». Одна девушка сбегала в общежитие через дорогу и принесла Боре бутылку водки со словами «настоящая, не паленая», Боря не понял, но был растроган. Подошел Заур и сказал при всех: «Слушай, не знал, извини, это тебе на скорую руку, брат, подарок, я запомнил про твоего отца». Звук его низкого голоса был долгий и никак не хотел замирать. Он снял с широкого запястья левой руки невероятной красоты и ценности тонкие часы, на которые было невыносимо смотреть, и надел их на руку Бори. Было очень похоже на то, как надевают наручники энергичные полицейские на правонарушителей, но это были, конечно, не наручники. И Боря не был правонарушителем. Девушки зааплодировали, зашумели, как развеселившиеся горничные, и тут же разлили водку в одноразовые стаканчики, и хлопнули по порции за Бориса Фишелевича, хорошего, знающего и, по их навязчивому мнению, красивого человека. Он им казался человеком без недостатков, кроме одного, правда, неизлечимого. Но ведь бывает, правда, девочки? Правда. А как жаль, ну и что, а парень какой, а, девочки?!

У Бори был круглый лысый череп, и ко всему он был глуховат иногда, под настроение. Слух ослабел в армии от стрельбы. Красивым себя он никогда не считал. Непьющий Заур, человек не без недостатка, аккуратно выпил за него из своего мятого стаканчика медленными глотками. Ему было нельзя по религии, но все равно выпил. Он был бородатый рослый мужчина со странным лицом, похожим на лицо отрицательного героя русского детективного фильма, – большой комплимент, по мнению автора. Скажем обязательно доброе слово и об этих женщинах, они были не злыми тетками. Ну, научили их так, они привыкли так думать, ну что тут поделать, а? Их полное право, кстати.

Боря был удивлен всем происшедшим с Зауром и его подарком. Он много думал об этом Зауре, который был зарегистрирован на израильском сельскохозяйственном семинаре по свекольным культурам (подвиды бордо, атаман и пр.) как агроном из села, расположенного в Ачхой-Мартановском районе Чеченской республики. Во-

инский начальник Бори сказал ему, взглянув на часы, как на отвалившуюся при приземлении важную деталь рухнувшего НЛО, прилетевшего к землянам, как их называют авторы соответствующих книг, на разведку боем, что парень правильный, расположен к Израилю и в знаменитом чеченском селе под Иерусалимом у него есть вроде бы родственники. Боря до этого часы носить не терпел, а теперь не расставался с ними ни на секунду. Бывает.

— А в разведении раков вы несведущи, Борис Фишелевич? — спросила его самая бойкая из женщин.

Она продолжала кокетничать на всякий случай, но слушала лектора с неослабевающим интересом.

— Совершенно не моя тема, — отвечал Боря.

— Не может быть, вы все знаете, — сказала она хмельно.

Народ энергично закусывал водку краснодарским рассыпчатым дивного вкуса печеньем, которое принесла одна из учениц.

— Раков можно дома разводить, в аквариуме, — сказала девушка с печеньем.

— Ты не поняла, я говорю про товарные количества, — отозвалась подруга из другого места их обширной родины.

— Конечно, в товарных количествах, у меня знакомый с этого живет, — сказала девушка из Краснодара, румяная и нежная, как богиня с картины двадцатипятилетнего Тициана Вечеллио «Женщина перед зеркалом», умершего от чумы уже очень старым в Венеции, с кистью в руке.

Тело его не сожгли. Вопреки законам, предписывавшим сжигать тела умерших от чумы, Тициан был похоронен в венецианском соборе Санта Мария Глорियोа дей Фрари.

Вдоль улицы Независимости, на которой находился дом Бори, с двух сторон были высажены эвкалипты, называемые также дивными, могучие деревья, перемежавшиеся кустарником араукарии Кука и иерусалимскими соснами на дальнем плане. Виднелся красный купол водонапорной башни. Возле башни росла огромная благоухающая сикомора, в густой тени которой отдыхали столичные туристы, приезжавшие в выходные в хозяйство Гилеля. Он несколько последних лет занимался производством сыра манчего от небольшого пугливого овечьего стада.

Сыр манчего, называемый в Испании ламанческим, был оригинального сильного вкуса. Молоко от овец, пасшихся на небольших, но богатейших пастбищах окружающего поселение иудейского плоскогорья, было замечательным, соответственно, и сыры из него. Год они созревали в подполе, выложенном иерусалимским красноватым известняковым камнем, который время превращало в мрамор. Цилиндрические твердые головки манчего Гилель, одетый в белое, осторожно выносил покупателям, отирал плесень с поверхности сухой тряпкой, погружал в сыр металлическую тонкую трубку, нюхал извлекаемое и задумчиво произносил: «Дозрел, уже можно». Удивление, близкое к безудержному восторгу, можно было увидеть в глазах Гилеля, когда он смотрел на небольшие бугры сыра, выложенные на деревянный прилавок.

Он делал и молодой козий сыр шавру, нежный, свежий, сильный. Гилель переименовал свои сыры, от этого они не стали хуже.

Густейшее чуть желтоватое молоко от нескольких хозяйских коз требовало того, чтобы его замутили, загустили еще, залили йогуртом и яблочным уксусом и сделали сыр. Из литра молока получалось у Гилеля сто пятьдесят грамм сыра. Каждая коза давала два литра молока в день. Коз было десять, вот и считайте. При них был немолодой козел по кличке Мавр. Гилель его чтит, уважал и жалел за характер, упрямство, преданность делу и возраст.

Сыра Гилель производил немного, но это был отменный штучный товар. Он давал своим сырам почему-то женские имена: Ора, Нога, Варда и так далее. Ударение на первом слоге во всех этих названиях, если кто не знает, но вы, конечно, знаете.

Козы у Гилеля были пальмерские, привезенные из Испании, с островов, а также альпийские гладкошерстные. Козы обычно стояли на задних ногах перед забором и тыкались носами в ладони гостей, разглядывая их несколько бессмысленными глазами с огромными любопытными зрачками без поволоки. Гилель иногда гулял с ними по окрестностям, как с собаками. У него это получалось естественно. Любимая коза его имела кличку Мара, была необычайно умна, по слухам, могла открыть входную дверь в дом ключом, благо дверь эта никогда не запиралась, а ключ валялся неизвестно где. Но слухи были сильнее замков и предрассудков. Старый козел Мавр, которого нежно любил Гилель и все его домоладцы, давнишний ухажер Мары, был ревнив и свиреп, но уже многое стал забывать. Он уже не всегда помнил, почему гневается, и почти по привычке бодал бурое бревно, которое поддерживало крышу погреба. Устав, он ложился отдохнуть в углу. Спал, открыв один глаз, наблюдал за своими дамами, чтобы был порядок и тишина. Козы ходили мимо него осторожно и, кажется, брезгливо.

Еще у Гилеля были бочки каталонских анчоусов, или хамсы, как называют подобную мелкую рыбку в России, которая все-таки не совсем похожа на испанских благородных братьев. Сэндвичи, которыми он торговал по пятницам утром, являлись произведением искусства, их можно было выставлять в музей фламандской живописи.

Гилель крупно резал хлеб, намазывал ломоть мягким сыром, сверху накладывал анчоусы, на которые крошил свежий огурец. Это он делал не очень часто, считая, что нельзя так много и сильно баловаться: когда-то он побывал в египетском плену, научился сдержанности. Он знал, что такое страдание. Носил длинные седые волосы, доходившие до плеч. Его возраст был значительный, Гилель был похож на постаревшего битника.

Еще он пек хлеб замечательного вкуса, с твердой коркой и благородной душистой мякотью. Запах печеного хлеба дурманил и кружил головы соседям и прохожим. За праздничными буханками к нему в пятницу быстрым шагом, качая необходимыми в женской жизни прелестями, ходили хозяйки со всего поселка, выстраивались в очередь. Непривычны здесь очереди, но если они есть, то, значит, действительно женщины стоят за чем-то необычным, важным, прекрасным. Хлеб Гилеля был именно таковым: прекрасным.

Сам Гилель питался просто, без изысков и каких-либо лакомств. Свои сыры он не ел, а пробовал. Боря подозревал, что Гилель вообще не любит сыр, никакой. Гилель съедал утром кусок вчерашнего хлеба, выпивал стакан молока и уходил работать. В обед ел яич-

ницу из трех яиц, опять же с хлебом и зеленым луком. Чай пил зеленый без сахара, иногда баловался кислым твердым яблоком, вообще, он был естественный человек, никакой позы, походка прямая, не уставшая, легкая.

Боря запивал сытный виски кислым напитком из страстоцвета, или пассифлоры, который хранился у него в холодильнике в материнском кувшине из поддельного азиатского хрусталя. Пассифлора ползла в стороны и обильно цвела у него во дворе четыре летних месяца в год. Он выходил набрать кислых плодов ее, похожих на помидоры с твердой кожурой и сердцевинкой с липовыми точками съедобных зерен. Приходил с жары в дом, раскрывал холодильник и наливал стакан ледяного сока пассифлоры, выпивая его небольшими глотками человека, привыкшего сдерживать желания. Он никогда не начинал возвращение домой с виски – по его мнению, это был верный путь к алкоголизму. Насмотревшись в детстве на отца, Боря считал, что многое знает про пристрастие людей к алкоголю, это было совсем не так.

Женщина его прошла широкими шагами через гостиную и жадно поцеловала Борю в губы. «А котлетки готовы?» Гудели, бродили и бежали соки голода в ней. «На столе», – кивнул Боря. На обеденном столе виднелась большая тарелка с горой котлет, украшенных зеленым луком и помидорами. Рядом нарезанный свежий батон, питье со льдом. Кошка с подоконника внимательно наблюдала за происходящим, по-бойцовски рационально оценивая соотношение сил в комнате. Все складывалось не в ее пользу.

Вторая половина гостиной была застлана резным наборным, сандалового дерева, паркетом, который Боря настелил в память о своем непутевом отце. И потолок над этой частью залы тоже был деревянный, ручной работы, цвета мореного дуба. Вообще же, в соревновании двух частей этой гостиной не было победителей, потому что черная каменная плитка вокруг камина была тоже великолепна. Из этих описаний Бориного дома можно понять, что он был совсем не бедным человеком. Все добро осталось ему от родителей, брат его был отрезанный ломоть.

Женщина Бори пела джаз в баре, там он с ней и познакомился. После двух двойных порций виски она очень ему понравилась, милая кривляка с телом, которое не вмещалось в его взгляд. Боря руководствовался поговоркой «женского тела много не бывает». Она действительно была хороша собой, отзывчива, весела и добра. А что еще надо от женщины, а? Все русские девушки поют джаз, не без справедливости думал Боря.

Так что, наверное, всем понятно, почему котлетки Боря лепил для нее по первому зову, по первой произнесенной горловой согласной. С гласными у нее была беда. Она приехала из Москвы сюда лет за восемнадцать до знакомства с Борей, совсем маленькой, но все равно была неисправимо русской и все равно пела джаз. Иногда бывала шумной и суматошной, иногда сдержанной и скупой на слова. Называла руководителей государства мудрыми старцами, хотя уже давно здесь у власти были моложавые седовласые мужчины, но она не могла за всем уследить. «Я Эллу знаю, Луи, Ди Ди Бриджуотер, еще кое-кого из вокалистов, а на политиков у меня па-

мяти и нервов нету, ха-ха-ха, прости меня, Боренька», – признавалась она, смеясь низким голосом очень заразительно. Конечно, помимо всего, она всем своим большим сердцем верила в альтернативную медицину, руконоложение экстрасенсов на больные места, уважала ростки и травы, голодание и прочее, но без надрыва.

Когда она вслух рассуждала об очередном чудотворце из Цфата, Боря смотрел на нее с восторгом, не веря в услышанное, но кивая ей и одобряя, он помнил еще от отца, что женщине надо поддакивать почти всегда. «За исключением особых случаев, известных и описанных в литературе подробно, понимаешь, сынок, ступай, у меня дела», – отец гладил его по голове, и на этом урок о взаимоотношениях полов заканчивался. «Известно, какие у него дела», – говорила из кухни бабка, но негромко. И припечатывала: «Парех», зятя она не жаловала, считая, что дочь достойна лучшего. «У меня балагула, у нее балагула, что за жизнь», – говорила бабка, ее фаршированная рыба стояла сами знаете чего. Нейтралитет в отношениях этой женщины и ее зятя сохранялся; «Худой мир лучше доброй ссоры», – повторял отец из сибирского опыта. Он очень любил закусить свои две трети стакана куском фаршированной рыбы и соленым огурцом. «Эх, Борис!» – произносил отец, и семилетний Боря понимал его не хуже ушлого десятника на лесоповале в тайге под Красноярском.

«Я чувствую себя с тобой уверенно», – сказала ему певичка Ирис расслабленно. Она энергично и с нескрываемым удовольствием поела, оставив больше половины на блюде, ела немного. Ирис на самом деле при рождении была названа Ирой, здесь очень естественно была переименована в Ирис. Ей любое имя шло, она иногда говорила Боре: «Нашему подлецу все к лицу», – и смеялась при этом неуверенно и хрипловато.

– Похож мой голос на Эллин, а, Борик?

– Похож, одинаковое звучание, одна октава, – подтверждал Боря, приклоняя голову к ее величавой груди.

– Не преувеличивай с величавостью, сглазишь, – польщено кокетничала Ирис.

А было, конечно, что сглазить. Она была совершенно голой. Доброе сердце уступчивой, славной и защищенной женщины работало уверенно и ритмично. Густые и терпкие жизненные соки уверенно бродили в ней, мешая сконцентрировать внимание. Она ездила в весенний праздник на высокую гору в Галилею на могилу великого праведника Бар-Йохая, который написал чудо-книгу. Она истово выпрашивала себе личное счастье под отсветы костров и молитвы возбужденной бушующей толпы в головокружительном запахе гари. Возвращалась изможденная, бледная, просветленная, пару дней постилась. К жизни приходила после этого очень медленно и с огромными усилиями, такая была впечатлительная дама. Иногда она целеустремленно ходила жечь костры на заднем дворе, вождельно смотрела на пламя, очень любила огонь, грела руки, прямо беда. Плохо.

– Собаки привыкают к людям, а кошки к местам, – сказала Ирис, длительно поглядев на кошку у окна, которая закрывала загадочные глаза.

«Власть за этой толстой бабой сегодня, и соревноваться с нею не было никакой охоты. И силы явно неравны, сука какая», – подумала кошка медленно и брезгливо о женщине. И резко отвернулась, чтобы глаза эту тварь не видели вовсе.

– Я, значит, и кошка, и собака, потому что привыкаю и к людям, и к месту вместе, лирически сказала Ирис.

Боря пялился на нее с большим и почти неприличным волнением и неловко косил в стороны, чтобы захватить все детали ее тела без упущений. Смятые мужскими руками груди уже утопили его жажду. Боря всегда, рассматривая ее груди, заболел сладкой морской болезнью, даже голова у него кружилась при этом.

– Я встала на путь истины, – сказала Ирис.

– Ну и слава Богу, – кивнул ей Боря.

Постоянная горечь, с которой он жил последние два года, оставила его, была временно позабыта, размыта. В окне промелькнула какая-то подвижная тень. Это был мальчик с желтой челкой, дохдившей до его веселых глаз плута. Он сидел верхом на низкой толстой светлой масти коняшке, держась обеими руками за ее гриву.

– У вас что же, пони водятся? – спросила Ирис.

– У соседей есть роскошный пони, сходи, погляди, только прикройся, не пугай никого.

– А что такое? Кого я могу напугать, скажи?! Ну скажи, – женщина всхлипнула от удовольствия, поэтапно поднимаясь на ноги и расправляясь, как складной опасный нож.

Она не была спортсменкой, это очень нравилось Боре. Вечер еще не наступил, и свет иерусалимского дня, откровенный и пронзительный, освещал ее тяжелое тело, которого она совсем не стеснялась, демонстрируя свою статью благодарному зрителю.

Наспех одевшись, Ирис выскочила из дома и пошла босая под слабейшими к вечеру солнечными лучами по направлению к мальчику на пони. Лошадка смирно стояла на дороге с невнятным асфальтовым покрытием и с пыльной обочиной. Мальчик не был растерянным, он привык к езде верхом. Мать его, приложив правую руку козырьком ко лбу, внимательно наблюдала за ним издали от своего дома, все здесь было по-соседски просто.

Это происходило на фоне города, отчетливо видного с холма, на котором расположилось в деревьях и вечнозеленых кустах араукарии Кука и молочая Миля их разбросанное столетнего возраста поселение. Его построили когда-то оптимистические выходцы из царской России. Это были молодые евреи из русской просвещенной провинции, в косоворотках и картузах, и не менее молодые революционно настроенные еврейки. в сарафанах и кокошниках. Про картузы и кокошники, конечно, некоторое художественное преувеличение, а остальное – правда, включая русские народные песни у костра, революционные идеи прогрессивного социализма, утопические надежды на счастливое будущее и связи с подпольными ячейками в Базеле и Минске, непривычный труд с мотыгами в натруженных с лопнувшими мозолями руках в апельсиновых рощах под полуденным солнцем.

И, конечно же, скудные зарплаты, которые выдавали жестокие надсмотрщики с жесткими щеками и усами, и украинские замечательные песни, которые они пели с настоящим чувством, задумчи-

востью и великолепным знанием родного им языка. В частности, известная песня «Мамо» с такими задушевными словами: «Деся далеко за горами, де щебечуть соловы, там де вітер і тумани, там живуть батьки мої...» И так далее, но так же прекрасно.

Все это под открытым небом, при прыгающем от ветра свете костра под пронизывающим ночным иерусалимским холодом, требовавшим соответствующей одежды, которая, конечно, не у всех была, – парни эти и девушки, как они называли друг друга, были не очень дальновидны и практичны, надо сказать. Они разрушали известный миф о национальной находчивости, предприимчивости и настойчивой думе о завтрашнем дне. И неизвестно, что бы с ними со всеми было, если бы не барон Р., известный мизантроп с непостижимой биографией. А пока травила гениальная полтавчанка Маруся неславянские сердца их сладким ядом своих песен.

Исполняемые усталыми после работы девушками и молодыми людьми мелодичные песни писала легендарная Маруся Чурай, родившаяся в 1625 году в семье казацкого сотника Гордея. Под псевдонимом Маруся Чераявна чернобровая дивчина, верная красавица, отдала свое доброе сердце Грыцю Бобрэнко, сыну хорунжего Полтавского полка. Когда в 1648 году началась Хмельниччина, украинское восстание во главе с Богданом Хмельницким, Грыць отправился на войну, пообещав девушке вернуться. Маруся ждала его долгих четыре года. Много чего произошло за это время, много людей полегло ни за что ни про что, не о них речь, что они?! Речь о женской верности и судьбе. Вернувшись в Полтаву, Грыць Бобрэнко уже не обращал внимания на Марусю, так как полюбил другую – Галю, дивчину из состоятельной полтавской семьи. Преданная ему Маруся не выдержала утраты и решила отравить себя зельем, которое случайно выпил сам Грыць Бобрэнко. Он умер.

Летом 1652 года полтавский суд приговорил Марусю Чурай к смертной казни за коварное убийство при отягчающих обстоятельствах. Она умерла в возрасте двадцати восьми лет. По другим данным, страстная девушка скончалась в 1652 году в Полтаве от туберкулеза, вскоре после амнистии. Может быть, так, а может быть, и иначе, но ее песни, как видим, были живы и через триста лет, их поют и сегодня очень далеко от широй Украины. Такова сила настоящего дарования.

Ирис, которая пела джазовые композиции низким голосом за гроши и еду в столичном баре, подошла к мальчику на пони и сказала: «Здравствуй, как жизнь твоя, дите?» Мальчик посмотрел на нее мельком и сказал, подумав, что жизнь его хорошая. Мать его была одета в сиреневого цвета платье, и было очевидно, что это ее цвет. «Глаза ее тоже сиреневого цвета», – подумала Ирис уверенно, хотя с такого расстояния цвет глаз было не рассмотреть. По дороге, натужно шумя мотором от усилий, медленно проехал открытый фургон, груженный керамической плиткой. Лязгнув уставшими от многочасовой поездки тормозами, автомобиль остановился. Водитель смотрел на мальчика и пони во все глаза.

– Где здесь сыроварня Гилеля, а? – громко спросил водитель фургона у Ирис, высунув голую до локтя левую руку из окна и чертя какие-то фигуры в разряженном воздухе среднегорья.

Женщина пожала плечами, ей было совсем не до какого-то шофера с плитками в кузове. Дом, у входа в который стояла мать мальчика на пони, был закрыт жалюзи наглухо. Жалюзи прикрывали быт этого дома ото всех, от всего наружного мира.

Шофер повернул голову к матери мальчика и повторил вопрос.

– Да бес его знает, этого Гилеля, туда езжай, – грубо сказала мать мальчика, но направление шоферу не показала.

Однажды наивный ничего не смыслящий лукавый ребенок застал ее плачущей у темного раскрытого почему-то окна в гостиной. «Иди спать, ты меня смущаешь», – сказала ему мать без всякого признака нежности.

Мальчик запомнил ангельские слезы матери. Он знал, кто такие ангелы, и считал свою мать тоже ангелом. Из-за того что отец исчез из их жизни, он не слишком переживал. У него ощутимо болело сердце из-за слез матери, из-за ее тяжелой и одинокой жизни. Их лошадка, привязанная под навесом, шумно жевала пахучую еще не высохшую траву, которую ей нарвала хозяйка днем на северном склоне иерусалимского холма. Подсыхающие стебли и листья мяты, Melissa, вербены, базилика, аниса и майорана, попавшие в охапку нарванной женщиной днем травы, создавали совершенно необыкновенный аромат, который сильно влиял на аппетит так называемого шетлендского семейного пони, названного при рождении Густавом. Ему было двадцать восемь лет, он был старше своей хозяйки. Нет, это неважно. Важна только ее жизнь, единственная и скучная, посвященная этому ребенку и еще не рожденным другим детям. Она носила платья в обтяжку, которые сама себе шила. Они походили одно на другое, как и хозяйка их походила сама на себя. Во всех своих платьях эта женщина выглядела абсолютно обнаженной, в этом был секрет ее таланта портнихи, одного из многих, хранившихся в ней. Секрет ее наготы не был раскрыт никем. Таким человеком мог быть, наверное, умелый врач-психиатр с мощным энергетически зарядом, или физиолог, или еще кто-нибудь из мужчин, заряженных на любовь. С такой женщиной, конечно, ни о каких делах говорить невозможно, кроме как о любви. Вопрос об адресе соседа может показаться ей бестактным и лишним, даже оскорбительным. Она может выстрелить в такого интересующегося человека из лука и попасть в него. Стрела ее смазана стрихносом, парализующим ядом кураре, ядом диких индейских племен в районе реки Амазонки, означающем на их языке «быстро убивающий птиц».

– Езжай на дух, там запах печеного хлеба, как учуешь, так и езжай, не ошибешься, – сжалась Ирис, которая и сама не слишком ориентировалась на необязательных улицах этого поселения.

Шофер внимательно и одобрительно оглядел ее, как крестьянин оглядывает ездовую лошадь или дойную корову, и, не кивая, но восторженно усмехаясь, развернулся и укатил восвояси.

Над впадиной редкого леса в ложине распустилось и поднялось бело-серое пушистое облако дыма. Там третью неделю взрывали грунт, прокладывая новую дорогу в Иерусалим. У Ирис стало такое лицо, как будто бы ее в неурочный час оторвали от истовой молитвы. Она была, конечно, очень стройненькая, несмотря на два-три, может быть, четыре килограмма лишнего веса.

И все-таки, и это было очевидно, ее кладовые и погреба не были полны, еще было место в них для заполнения, было.

– Ты покататься даешь, скажи? – спросила Ирис.

Мальчик не повернул к ней лица, кажется, от испуга, боялся потерять равновесие.

– Тпру-у, Густав, тпру-у, кому говорят, – сказал мальчик и легко толкнул смиренное животное голыми пятками.

Густав повернул голову с расчесанной гривой к седоку. У мальчика была новенькая футболка в крошках белого хлеба. Его звали Арье.

– Нет, мне самому надо, и нельзя тебе, ты большая, тяжеленная, Густаву будет тяжело, – объяснил мальчик.

Аргументация выглядела неопровержимой. Густав был вынослив, терпелив, прожорлив, как пеликан, глотающий рыбу целиком, но впечатление производил усталого выючного животного, которое надо жалеть и лелеять. А и то, рук нет, мух отогнать нечем, кроме хвоста, одни ноги, ресницы и глаза. Немало, но недостаточно.

У матери мальчика были серо-синие глаза, которые выдавали несчастную любовь. Остроумием она тоже не отличалась. Отец мальчика, который оставил их в одночасье, по непонятным для нее причинам с ними не общался, хотя алименты платил исправно. Но ее-то деньги не интересовали, могла себе позволить с состоятельными родителями, которые обожали свою таинственную бедняжку-кровинушку и ее мальчика, растущего без отца. Известно, что ее интересовало, да близок локоток, но не укусишь.

Бесшумно пикировали толстые отчаянные чайки, кормившиеся на свалке в двух километрах от поселения в каменной лощине. Местный неприятный колорит сизых и бурых гор, выносливых сосен и блеклого неба. Настоящий край «небрityх гор». До Средиземного глубочайшего моря отсюда далеко, километров шестьдесят пять, если по прямой, которую известно кто провел. Он был ее первый возлюбленный, она родила ему ребенка, который теперь ездил на желто-бежевом пони, держась за гриву. Мужчина перестал быть ее собственностью, с которой она обращалась так лихо, так безоглядно и безрассудно. И хватит о нем, если можно, потому что так и с ума сойти легко.

Она не в себе, вообще, довольно давно уже. Помнит, что он заглядывался на эту уродливую толстуху, проходя мимо дома Бориса, прямо шею выворачивал. Все-таки какой идиот безмозглый?! Русский алкоголик, полное отсутствие вкуса, полнейшее. Муж ее когда-то приехал из России, называвшейся прежде таинственным именем СССР, это она тоже ставила ему в строку, этому Мирону. Она все ставила ему в строку, лишь бы вернулся. А он не возвращался, и все, надоела, устал, и вообще...

Боря наблюдал эту сцену во дворе через огромное, от потолка до пола, окно в гостиной. Соседей он знал очень хорошо, с бывшим мужем Авигаиль, так звали мать мальчика на пони, одно время работал. Муж Авигаиль был из семьи очень хорошего практикующего хирурга, у него было еще два брата и две сестры. Мать его во взрослом возрасте неожиданно стала фанатичной последо-

вательницей крайне левых, чуть ли не троцкисткой. Вне пределов России таких дам называют сумасшедшими.

Что там еще происходило в семье, Боря не знал, но все это влияло на жизни и биографии их всех. Мужа Авигаиль звали Мирон, Мирон Шер. Его мать, которая переименовала сама себя в Розу, понятно почему, настояла на том, чтобы новорожденного сына Мирона назвали Арье-Лейбом, известно в честь кого. Авигаиль думала назвать сына иначе, но с новоявленной безумной Розой было невозможно спорить. Страсти раздирали ее на неравные куски, составить которые в одно целое не могли лучшие врачи, включая мужа, особенно мужа, который наблюдал за ней с отчаянием.

Обстоятельства жизни Мирона и жизни его родных стоит здесь рассказать. Без акцентов и без ударений. Пунктир, пропуск и абзац. Бездна безумного зла.

Мать Мирона Роза, помимо других, бешено ненавидела каталонца Хайме Рамона Меркадера, героя Советского Союза, известного также под именем Рамон Иванович Лопес, так написано на памятнике, установленном на его могиле в Москве.

Этот герой Лопес, оказывается, зарубил Льва Давыдовича Троцкого, обожаемого Розой. Лопес-Меркадер, которого мама за руку привела на работу в НКВД, за что он с ней не говорил до конца жизни, отсидел после убийства двадцать лет и вернулся в СССР. Потом он перебрался на Кубу, так как ему и его жене было холодно в России. Умирать он приехал в Москву. Убийство Троцкого подготовили два старших офицера НКВД, энергичные профессионалы, неведомые, непонятные посланцы зла Судоплатов и Эйтингон. Они придумали, точнее, воспроизвели хитроумный и много раз проверенный план операции, в которой были все фрагменты чудовищной греческой трагедии: от измены и до убийства.

Всю эту историю во всех подробностях знала бедная мама Мирона: с именами, датами, населенными пунктами и этапами чужой жизни. Она повторяла все это как заведенная, как чтец-декламатор. Всегда темпераментно вещала как по писаному. Что говорить, когда она, эта Роза, была убежденная троцкистка.

Боря, сторонний и внимательный наблюдатель жизни из-за угла своего дома, сосед шикарной Авигаиль, задумчивого Арье и кроткого Густава, ни во что не вмешивался. В принципе, никто ни во что не вмешивается, все живут сами по себе, но Боря-то знал о них многое. Они о нем знали почти все. Одно слово – деревня. Нельзя сказать, что такое знание полезно для душевного здоровья, но об этом здоровье никто не думал. Холм, на котором расположилось их поселение, дышал и подпрыгивал в дневные часы. В ритмах и перепадах звуков Пятой симфонии Бетховена строительство столичного шоссе продолжалось. К вечеру все затихало.

Как-то ночью Боря ходил в кладовку возле курятника за дровами и под дождем увидел и услышал в раскачивающемся свете уличного фонаря скандал на крыльце соседского дома. Боря вернулся в дом без дров, какие, к черту, дрова, когда рядом люди топчут, унижают и оскорбляют друг друга. Эти помои, наполнившие

брюхо до глотки, отравили его, очищение могло занять много времени, и так и было. Он быстро прошагал обратно в дом, с грохотом уронив дорожный велосипед у входной двери. Велосипеду было ничего, а Боря прямо зашипел от ушибленной голени.

Он просидел без дела в гостиной, глядя на затухающий пепельно-черный с алыми сполохами огня зев камина. Было очень тихо. Хоть бы вороны покаркали, подумал Боря. Он вспомнил речь Мирона, который, несмотря на скандальную ситуацию, говорил с нежной и картавой уверенностью гения и выслушивал жену с мягко-снисходительным видом. Мирон, узкоплечий и неловкий, занимался биологией, окончил докторат и теперь собирался на постдокторат в американский университет. Без жены и ребенка, а с другой женщиной, вот и вся коллизия. Ко всему, женщина была приезжая, не его круга и положения, но Мирона ничего не интересовало: любовь и страсть. Женщина тоже вцепилась в него изо всех сил, и не только потому, что он был состоятелен и молод. Его талант был очевиден всем. Ему прочили огромное будущее, мать его обожала, хотя вслух осуждала за фашистские взгляды. Это значило, что Мирон думал не в ее духе, не в основном русле троцкистской направленности, что-то вроде социализма с человеческим лицом, вот это было ему по нраву. А вообще, если честно, он думал только о своей биологии, о том, что связано с жизнью клеток, их развитием. И, конечно, о бабах. Он часто повторял негромко: «Конечно, на Земле, очевидно, недостает любви». Откуда-то он эту строчку взял, но не помнил откуда.

Это случилось в тот год, когда умерла бабка. Раз, и не проснулась. И все ее ворчания, все блюда, запах духов «Клад» неизвестного происхождения, русский платок, подаренный зятем, все ушло, без судорог и прочно, как не было.

Боря пришел на выходные домой из армии, купив для матери у подростка на углу букет гвоздик. У Бори был тяжелый ночной марш, он был вымотан до синевы вокруг глаз и под скулами, мать испугалась. Хорошо, что она не видела его после всей этой беготни с сорокакилограммовым мешком на спине и стрельбы из трех положений, а также подъема по канату и преодоления бетонной стены с разбега. Мать понюхала цветы и поставила их в вазу из ненастоящего хрусталя. В воду бросила таблетку аспирина для сохранения красоты, принесла сыну свежее белье, которое нагладила с вечера плавными и аккуратными движениями молодых еще рук и плавных плеч.

Боря уже почти восстановился. Помылся и счастливо лег спать, закрыл глаза, как бы засыпанные песком от усталости, окунулся в черную ночь без снов и чувств. Утром бабку не смогли разбудить, она умерла. Была суббота. Вечером того суматошного дня, наполненного материнским плачем и лишней суетой посторонних людей из квартиры напротив, бабку похоронили. С кладбища приехали очень поздно, в час ночи. Боря запомнил, как мужик из похоронной компании, подоткнув полы лапсердака, споро и гулко закладывал каменными плитами могилу, шуровал на славу в свете мощных немецких фонарей своих коллег. Фонари были похожи на черных ужей, за жизнью которых когда-то внимательно наблюдал Боря, не

шевелясь, на берегу озера на юге Турции, тоже ночью. От нечего делать, отчего же еще, наблюдал. Потом Боря и его десять подчиненных парней по группе поднялись и пошли дальше ровным и сильным шагом людей при деле. Давно это было.

Возле магазина на столбе на высоте человеческого роста кнопкой была припилена бумажка с размашистой жирной надписью красным: «Развешивание объявлений запрещено, карается штрафом». Ниже болталась бумага: «Развожу по домам свежий натуральный апельсиновый сок, каждое утро, очень дешево». Боря знал автора объявления: такой суровый человек с жестким лицом из прямых линий, без страха и упрека. Копейки из него лишней не вытянешь. Уж какое там дешево, да еще очень. Позорник, смех и грех.

Мать Мирона, в отличие от сына, продолжала навещать внука и невестку, все эти расставания были не для нее. Ее карамельно-игрушечные щедрые визиты были сокрушительными. Мирон все забыл, как только шагнул через порог, а Роза так не могла. Она приезжала с подарками для Левушки и Авигаиль, сюсюкала, всплескивала руками, восхищалась, весь этот дамский багаж категорически ей подходил, как ни странно. Заодно она уверенно заходила к Боре, держа за руку Леву, и уверенно втыкала в голову «соседскому мальчику», по ее словам, свои постулаты о коммунистическом братстве, о всеобщем равенстве, о вонючем капитализме.

«И да будут прокляты все те, кто поправил чистое дело коммунизма, пролил кровь и сделал несчастным поколения», – страстно произносила она, тараща черные глаза на плосковатом, все еще совершенном лице уроженки города Чернигов. Боря слушал заворожено, гипнотическая сила ее речи заставляла его думать о постельных акробатических номерах в исполнении гостыи. Он принимал в них деятельное посильное участие, Роза солировала, Боря краснел и смотрел на нее во все глаза – это было яркое эротическое вольное упражнение, которое, по идее, должно было завершиться обоюдным буйным оргазмом. Ее сливочная шея без единой морщины раздувалась от небывалого напряжения, как раздувается шея очковой змеи перед ядовитым укусом.

От визитов пятидесятичетырехлетней троцкистки Боря отходил с огромными усилиями, так же примерно, как в молодости он восстанавливался от ночных марш-бросков в армии... Роза, как все сумасшедшие, конечно, все замечала и чувствовала, но продолжала неумоимо вещать, она должна была выговориться до конца. «Эти мерзкие грязные политики от святого дела, жаждущие крови, должны исчезнуть с лица земли, пойми, Барухи», – произносила Роза и обессилено замолкала. Лева гладил мурлыкающую кошку двумя руками, та притворялась счастливой. Густав смиренно ждал их у крыльца. Гусята топотали, петух голосил, куры попрятались, ссорились и орали желтоклювые невыносимые майны, вытеснившие остальных местных птиц, – весь зоопарк приветствовал речи Розы в меру сил и способностей.

Все свои монологи она произносила по-русски, очень быстро и убежденно, Боря не все успевал разобрать, да и не очень и пытался. Он находился под властью ее голоса и страсти. Отделаться от этого было невозможно. Левушка гладил кошку, которая по-

соседски для всеобщего дела мира и дружбы ему уступала, урчала, закрывала глаза и склоняла голову. «Я почти твоя, Левушка, но не забывайся, дружок, не забывайся», – урчало животное, разжимая и сжимая когти, намекая.

И все равно Боря отчетливо видел Розу совершенно голой, с тяжелой лакированной грудью, мокрой узкой талией и выпуклыми ягодицами, сидящей на нем в сложном шпагате: левая нога вперед, правая – назад. Она двигалась, опираясь кулаками о постель, как во время спортивных упражнений, это не казалось чем-то неправильным и неверным. Боря никак не мог освободиться от этого стонущего образа. В юности она занималась гимнастикой еще там, на Украине, все время говорила, что подавала большие надежды... «Но отъезд в этот оплот капитализма все разрушил...»

Роза, отчества которой Боря никак не мог у нее выпросить, была неадекватна, совершенно безумна, если смотреть непредвзято. Хотя в принципе его это совсем не занимало. К тому же она была последовательна и хитра, как почти все безумцы. Шизофреник воспринимает жизнь как трагедию, при этом он полон страстей и яростных слов. Он чувствительный идеалист, противостоящий грубому реальному миру. Приспособиться к жизни он не может.

– Ну, кто помнит сегодня этого вашего Троцкого и его убийцу? Кому они нужны? – спросил у нее однажды почти искренне Боря, человек практический, с совершенной памятью, но с полным отсутствием исторической перспективы.

– Как кто? Как кому нужны? Я помню, мне они нужны, – ответила Роза уверенно и безапелляционно.

Она даже головой покачала в знак возмущения дурацким вопросом грубого солдафона.

Боря разгреб угли почти затухшего камина, с интересом глядя, как возвращается к жизни пламя в сером бархатном покрове. Как будто из ниоткуда вылезали алые языки огня, освещая свод печи.

Муж Розы, мутнолицый мужчина рыхлого сложения, выглядевший моложе своих лет, конечно, был человеком крайне правых политических взглядов, но ради счастья и спокойствия семейного очага никогда эти взгляды не демонстрировал. Зачем? Ничего отталкивающего, вульгарного он в Розе не находил, он и не устал от нее, несмотря на почти тридцать пять лет жизни вместе. Небольшое утомление и шум в ушах, а так все нормально. На многое он закрывал глаза, потому что так было явно спокойнее. Операции он делал ежедневно, уверенно, привычно, надежно. Сестры и ассистенты его обожали, потому что он не лез с требованиями и советами, благодарил и вообще был необычно молчалив.

А бушующая Роза, сидевшая на Боре в качестве натянутой струны, часто выдыхала по-русски «падла, падла, падла», не объясняя, почему, за что и что именно она ругает. Понять и догадаться можно было и без объяснений. Немолодая женщина, с усилием настигающая счастье и настигшая его, в конце концов. После этого она глубоко вздыхала и тихо произносила: «А мою маму звали Дина». Она брала паузу, с очевидным сожалением соединив ноги вместе, снимала их с него и покачивалась на нем, как девочка.

– Гут, что говорить, прекрасно, мой мальчик. Обгемахт, дорогой, сходи, Боря, к моему сыну и его блядине и верни его моей невестке, чтобы он больше не шутил так, я знаю, ты можешь, только ты и можешь. Все устали от его выходок, пусть возвращается домой, надоело. Меня эта шкура выставила за дверь, она сильнее меня, у нее есть, помни, мать и брат, костистая белобрысая сволочь без страха и упрека. По-русски они не говорят, кажется, не из России приехали, цепкие. Сторожат моего мальчика надежно, верни Мирона, ты это можешь, я знаю наверняка, Боренька.

Боря потянулся и глянул на женщину с сожалением.

– Не думаю, что Мирона может кто-то удержать силой, совсем не тот он человек, разве ты не понимаешь? – сказал Боря.

Роза согласно кивнула, что да, не тот человек ее Мирон.

– Но ты мне его вернешь любой ценой, в дом к Авигаиль, Левушке и ко мне, не уступлю мальчика этой суке, ни за что.

Чудесный запах выпекаемого хлеба донесся с улицы сквозь стены и окна, Гилель зарядил тесто на железном никелированном листе в натопленной оливковыми дровами печи.

– Ну что ты говоришь, ну что я полезу в это дело, это Мирон и Авигаиль пусть разбираются, и никто больше, я не полиция, и потом, а если у них там любовь, что тогда? – ответил Боря, вытягиваясь и передавая женщине сигареты и зажигалку со стола.

– Любовь-морковь, как говорили у нас во дворе в Чернигове, понял, ничего знать не хочу, любой ценой, ты меня понял, любой...

Кошка глядела на них, не шевелясь, очень походила на свое вульгарное фарфоровое изображение, которое продавалось здесь в посудных лавках. Китайского производства фарфор и рисунок.

– Ты обязан, ты должен, полиция здесь ни при чем, домовый комитет тоже, меня они выставляют за дверь, как ненужную этажерку, муж мой сам знаешь какой – непригоден, остаешься ты, наивный язычник, – заявила Роза, зажигая сигарету и шумно затягиваясь.

Как будто не она освободила себя от женского напряжения вместе с ругательствами и проклятиями несколько минут назад.

Боря, который был из породы тех людей, которые всегда правы, подумал скептически, что «конечно, я не язычник и совсем не наивный, бедная Роза, всегда ошибается и во всем», он погладил ее отзывчивую шелковую не по возрасту ногу с полированными ногтями маленьких, как у ребенка, пальцев, похожих на детские втулки для ниток. Чуждаковатый взгляд женщины был беспокоен, она смотрела на него с большой уверенностью в своих словах, мол, больше надеяться ей не на кого. Связей в структурах власти и правопорядка у нее никаких не было в силу свойств характера. Она надеялась лишь на Боря да на волшебный воздух окрестностей. Воздух иудейского среднегорья не изменился за последние сто и больше лет совершенно. В окно можно было увидеть джип пограничной охраны, который медленно проезжал по улице, ребята ели сэндвичи, сооруженные из полубатонов. Их купили в давешнем магазине у девчат с подавленными надеждами на любовь. Батон разрезался напополам, затем половинки разрезались вдоль на четвертинки, затем из четвертинок изымалась мякоть, а пространство хлеба заполняли овощи, колбаса, разновидность аджи-

ки. Затем четвертинки соединялись друг с другом, как давние любовники, и парни ели все это, на весь квартал треща челюстями.

Шофер вел машину левой рукой, забавно прижавшись к рулю, в конце улицы дорога раздваивалась, и, свернув направо, можно было съехать вниз. Там под холмом была разбросанная по сизым склонам арабская деревня, с древними машинами без стекол и скатов на обочине. Четыре раза в сутки патрульный джип проезжал насквозь из конца в конец эту деревню для порядка, иногда для отметки в журнале полицейского дежурного «мы здесь, братья арабы, ненавязчивые служивые пацаны».

– И как ты себе все это представляешь? – поинтересовался Боря с искренним любопытством.

Роза выглядела сейчас иначе, лучше, чем час назад, она была подвержена таким изменениям.

– Сделай уже что-либо положительное для жизни соседей и гражданских лиц, Борис, время пришло. Помогите нам, агроном, – так она его иногда называла, когда становилась почти нормальной и обаятельной.

На самом деле, женское обаяние в ней присутствовало всегда, даже в самые неприятные мгновения политического горения, пламенного вещания и громкой декламации. Даже в момент произнесения чего-либо вроде «а эти грязные слуги мира капитала и наживы, позорные хозяева жизни, сосущие кровь из рядовых трудящихся, не могут дать ничего молодежи, кроме смерти и разврата».

Боря, обладавший незаурядным разрушительным талантом, всей душой ненавидел все эти семейные скандалы, разводы, торжества, примирения и прочее. «Ну куда, чего?!» – с досадой сказал он. Примерно так он и думал, что Роза, которая пленных, как говорится, не брала никогда, потребует от него невыполнимого. «Ты ангел справедливости. Не мщения, конечно, но правды и справедливости», – сказала Роза не без торжественной нотки в голосе. Глядя на нее, на ее пылающие глаза, можно было сразу согласиться с выражением великого уроженца Алжира: «Между справедливостью и матерью я выбираю мать». Конечно, мать, только мать.

Роза очень ловко набрала номер на мобильнике, одновременно достаточно успешно пытаясь одеться. Боря наблюдал восторженно и заинтересованно, ему нравилась ее способность убеждения и уверенность.

– Возьми выходной завтра и поезжай в Тель-Авив, там разберешься со всеми и вернешь его. Мать ее, та еще сука, похуже сына будет, но я верю в тебя, – деловито сказала Роза.

Она оглядела свою ступню, осталась довольна, топнула, вбивая ее в туфлю, и повторила: «Верю в тебя». Ни «дорогой» тебе, ни «любимый», она и слов-то таких не знала наверняка. Яркие глаза ее загорались только при мысли о Троцком, затем шел по нисходящей степени любви опасный и самостоятельный сынок Мироношка, затем внучок Левушка, надежда и совершенство, ну и потом некоторые друзья, среди них не последним числился Боря, хотя и не первым, подчеркнем.

– Там гнездо ихнее, не торопись, осторожно, но уверенно, без сомнений, делаешь доброе дело. Я сброшу тебе сейчас на мобильник ее фото и адрес, там сам разбирайся, сотри после напоминания.

Только эта чумовая Роза могла позволить себе учить Борю, давнего работника конторы, профессиональным навыкам.

– Спасибо, дорогая, – не без иронии сказал Боря и подумал, что когда она натужно дышала на нем, выпуская воздух страсти, слушать ее было интереснее.

– Я тебе вот что напоследок скажу, Барухи. Иди и сделай то, что я тебя прошу, я тебя не забуду. Когда я приехала в Иерусалим, мне было одиннадцать лет. Я купила с папой, который мне никогда ни в чем не отказывал, в русском магазине на улице Шамай два тома Мандельштама в мягкой обложке, знаешь такого? Да я знаю, что не знаешь, не отвечай. Он на меня повлиял сверх ожиданий, я была ребенком. Так вот, прочту тебе на прощание одно его стихотворение, на всякий случай: «В Петрополе прозрачном мы умрём, где властвует над нами Прозерпина...»

Прекрасная Роза торжественно прочла все стихотворение и ушла, не оборачиваясь, глядя перед собой, как ссыльная голодная поэтесса, загипнотизированная русским словом.

Фотография новой женщины Мирона произвела на Борю впечатление. Гладко зачесанные волосы, яркие серые глаза, все собрано в единое целое, образ женский, образ милый. Она не казалась мерзавкой, как ее называла Роза. Скорее выглядела сестрой милосердия. Мать ее на фотографии больше являла образ злой интриганки, но тоже как-то необязательно. Она не была Мельпоменой, ей было далеко до богини трагедий. Брат был как брат, заурядное служивое лицо, брови нависают над недоверчивыми глазами каторжника, белесые скулы, разбитые уши – боец. Адрес в южной части города Тель-Авив, третий этаж, четвертый подъезд, сквер с детской площадкой на углу, стоянка возле продуктовой лавки. Ну, можно поехать посмотреть, что и как, не напрягаясь.

В Тель-Авив Боря поехал не с самого утра. Он уже не ругал Розу, ему нравилось это занятие, ему вообще все нравилось, что он делал, он был, наверное, человеком Возрождения, просто время другое. Солнце уже ворочалось наверху от накала не в полную силу, от октябрьской псевдосвободы. Сначала он накормил живность, упрятал гусят от кошки, частыми граблями безрезультатно прочесал траву возле дома и сел в машину, которая пряталась от солнца под навесом из винограда, шаткая пристройка на трех шестах. Завелась мгновенно, он вывернул руль и поехал вправо к выезду на главную магистраль. На повороте взглянул налево и увидел вершину соседнего холма, а внизу цветную вереницу крыш деревеньки, бурую Иудейскую пустыню вокруг и грузовик с глыбами мягкого иерусалимского камня. Этот пейзаж успокаивал Борину душу, грел его, вселял надежду на будущее уже много лет подряд, неизвестно почему.

Шоссе было на удивление проездным, полупустым. Он ничего не ел с утра, только стакан чая и сушеный финик. Всегда он так делал. В кармане у него лежала горсть кураги в пакетике, этого было достаточно для жизни. Машину в городе он поставил на стоянке у автовокзала. Снял часы с руки и положил их в бардачок. Руки во время работы должны быть свободны от всего: от часов, перстней, наколок. Ничто не должно мешать, так он привык: глад-

кая свободная и чуткая рука, работающая в трех плоскостях. Дальше он поехал на автобусе. Внимания он особого не привлекал, какая-то шикарная девица несколько раз остро взглянула на него с тревогой, как ему показалось. Через остановку она вышла, сильно толкнув его сумкой с металлическими углами по боку, чем-то он ее раздражал, этот расслабленный парень в свободной одежде, который мог сойти за кого угодно, включая полицейского, уголовника, зубного техника, чиновника налогового управления или специалиста по холодильным установкам.

Через тридцать минут он был на месте. Не заметив городского пейзажа, к которому его взгляд, настоящий на иерусалимской перспективе, был непривычен. От угла недавно крашенного зеленым дома, в котором жила подруга Мирона вместе с ним и родственниками, Боря прошел до первой парадной. На газоне сидели двое чернокожих парней, один упорно смотрел вниз, второй цепко провожал Борю взглядом. Боря должен был, по идее, поежиться от этого пристального внимания, но было не до того. Он уважал любого противника, эти ребята были противниками в потенции, а может, и просто любопытными бездельниками с банками пива в руках. Все может быть.

Дверь с надписью мелом «Охрана» была не закрыта, и Боря, перешагнув высокий порог, двинулся к лифту. Было довольно чисто. В углу стояла мокрая швабра, которая отражалась в зеркале на противоположной стене. Он вышел на третьем этаже, кнопки в лифте неизвестные сожгли спичками, но все работало исправно.

Черно-коричневый пол на лестничной площадке был недавно неаккуратно вымыт. Увидев дверь с цифрой 11, Боря без раздумий позвонил, у него был план, продуманный еще вчера, он действовал по плану.

Дверь открыла мать разлучницы, крепкая баба с недоверчивым лицом и сильным торсом. В ней можно было разглядеть женщину Мирона, какой она будет лет через двадцать пять – тридцать. Она посмотрела на Борю без особого выражения. «Ну, чего пришел, говори, времени нет», – было написано на ее лице. «Здрасьте, могу я видеть Мирона?» – вежливо спросил Боря. В неярких глазах ее мелькнуло тревожное выражение, даже растерянность, она справилась с собой и кротко ответила, что Мирона нет. «А когда он будет?» – настаивал Боря. «Я не знаю, он в университете», – сказала женщина. Она не смущалась, но разговор ей был в тягость, она не все понимала.

За нею появился молодой мужчина, по виду ровесник Бори. Он был одет в тесную майку, у него была прекрасная мускулатура, костистые мощные плечи, хваткие руки с твердыми пальцами рабочего-строителя, хмурое скуластое лицо. «Ну?!» – спросил он у матери. Та пожала плечами, мол, погоди, сама не знаю. Парень являл собой знакомый тип раздраженного человека с уголовными привычками. Он был типичным сном ужасов, имеющимся в запасе у каждого склонного к опьянению алкоголем городского жителя. И мать, и сын говорили на хорошем иврите, как бы показывая, что нам скрывать нечего, мы законопослушные граждане – у нас все в порядке, налоги платим, и вообще, вали, парень, отсюда, пока жив.

– А Мона дома? – спросил Боря.

Молчание было невыносимым. Парень отодвинул мать и хрипло сказал гостю, что это не его дело.

– Не лезь к нам, зачем тебе Мона? – спросил он Борю, угрожающе выдвинув вперед выбритый подбородок. Челка у него была совсем короткая, фаланги пальцев разбитые, глаза сверкали, довольно неприятный человек во всех смыслах. Боря таких людей обычно не замечал и проходил мимо, если в контактах с ними не было нужды. Но сейчас ситуация была иная.

– Да вы не волнуйтесь, – сказал Боря миролюбиво, – я приятель Мирона, был в отъезде, давно мы не виделись, дома мне дали его адрес, вот я и приехал.

Парень держался руками за дверной проем, буквально нависал над матерью, охраняя ее вместо отсутствующей мезузы. Зияла сорванная краска продолговатой формы. Знаете, что такое мезуза? Это охранная грамота для иудейского дома, вот что это. Из ничего назревало столкновение, неравная драка, которой Боря хотел избежать, но понимал, что избежать ее очень трудно, невозможно. Ну что ж, раз так, то так.

– Не понимаешь, да?! Уходи, тебе же будет лучше, – хищно улыбнулся мужчина в двери, у него был густой мрачный бас, соответствовавший внешности.

Мать загораживала ему путь, он не мог добраться до этого чужака с наглыми глазами. Он редко встречал людей, которые бы так уверенно обращались с его неприязнью, не видя явной опасности для себя, плюя на нее.

– Не распускайся, Стефан, води себя прилично, – шумно дыша от ненависти, мать из последних сил сдерживала сына, который рвался к Боре, как зверь из клетки.

В конце концов она сдалась, и Стефан рванул к Боре, держа наготове кулаки. Боря отступил в сторону, и нападавший пролетел мимо, звонко ткнувшись головой в стену лестничной площадки. Помимо этого Боря хлопнул его по правой лопатке, и Стефан ухнул от непонятной боли. Мать, конечно, позабыв обо всем, бросилась ему на помощь, как разъяренная приземистая корова, но попасть в Борю не могла: он был ловчее, и главное, умнее. Стефан, непобежденный боец с изможденным лицом, и мать, пожилая торговка, тяжело дышали у стены, переживали проигрыш в сражении, но не в войне.

Они защищали свою Мону и ее счастье, как умели.

«Зачем мне все это надо, идиотизм какой-то, раввинат с кулаками, – подумал Боря, – надо уметь, конечно, влезать в такое, только я умею». Он почти гордился собой, своей псевдонаивностью.

Тут обязана была появиться на последней стадии столкновения небезызвестная Мона, тугая женщина с наивными глазами и рабочими руками поломойки, и она появилась из разъехавшихся дверей лифта. Мона держала за указательный палец своего Мирона, улыбавшегося стандартно-бессмысленно. Он был единственным, кто извлекал из ситуации удовольствие. У обоих мокрые головы от начавшегося на улице дождя. На неподготовленного человека эта пара производила большое впечатление. Боря был подготовлен.

Мона оглядела всю опасно застывшую группу беспокойным взглядом, обернулась к Мирону и спросила: «Кто этот человек?».

имея в виду Борю. Тот пожал плечами: «Сосед по улице». Мирон хотел сказать, что это домашний, прирученный дьявол, но сдержался и не сказал. А был очень близок к этим словам.

– Мне надо тебе что-то сказать, Мирон, наедине.

Боря держал Стефана и его маму под визуальным контролем, мужчина этот уже приходил в себя. Мама его была в себе все время, дышала с ненавистью, искала минуту, чтобы броситься на подлеца, она была опаснее всех здесь, Боря это понимал. Он сделал короткий шаг и толкнул-ударил ее ногой по ягодице. Женщина охнула и ткнулась лицом в стену.

– Что ты делаешь, мерзавец? – выкрикнула Мона, потеряв на мгновение свою любовную привязанность.

Она была прелестна со своим круглым лицом намертво влюбленной женщины, которая намеревалась сражаться за свое счастье всеми силами.

Мирон был смущен, он такого Борю, боевую опасную единицу, все-таки никогда не видел. В ответ Боря нанес удар и по шее Стефана, выключив его из понимания мира на некоторый срок, так было удобнее разговаривать. Мона пыталась помочь родственникам, поднимая мать за плечи. Она на прямых ногах быстро сходила в распахнутую дверь квартиры и принесла матери и Стефану воды в запотевшей пластиковой бутылки. «Не лебези», – сказал ей обритый наголо штурмовик. Мона не сразу поняла смысл этого «не лебези». Она посмотрела на него с ненавистью и страхом, неизвестно откуда взявшимся, потому что была очень женственна и органична в движениях и выражении лица. «Будем говорить с тобой», – обратился Боря к Мирону. Тот смотрел на него, как на буйного сумасшедшего из лечебницы имени Абарбанеля.

Всю сцену можно было принять за фрагмент пьесы даровитого драматурга театра абсурда. Так и слышны были гулкие слова участников, как гром на пустой сцене: «не лебези», «будем говорить с тобой» и венчающие: «что ты делаешь, мерзавец?!». На фоне неизменной палестинской осени с ветром, и дождем, и постоянно выглядывающим откуда-то сверху, как надоедливое напоминание о лете, солнцем. Мол, не расслабляйтесь, не забывайте, я здесь всегда.

Да кто ж забудет, разве можно!

«Совершенно у нее не блядская походка», – подумал Боря, взглянув на встревоженный шаг Моны. «Что за имя такое? Кто они вообще такие, эти уверенные пришельцы-разлучники?» – мысли Борины суетились, что было ему несвойственно. Он исполнял и не такие задания, но это было в армии, а здесь он мог ведь и отказаться. Дали слабину, теперь платите, Борис Фишелевич.

Выливать из стакана, Боря, легче, чем наливать в него, сказал ему как-то отец, непонятно, что он имел в виду, потому что наливал он в стакан всегда легко, хотя и осторожно, а уж выливал содержимое в себя, морщась и кривя лицо. Но вот сказал, а сынок запомнил. К тому это, что Мона щедро вылила на голову брата воды из бутылки, тот зафырчал, как недовольный конь, взгляд его стал осмысленным. Его защитного цвета штаны, купленные им с рук на рынке, сползали, и он подтягивал их резкими движениями рук.

– Ну, будем говорить или ты не собираешься, Мирон?

Надо отойти в сторонку, чтобы не мешать. Боре вся эта история начала надоедать, он очень злился на себя, на эту странную семейку, на этого несуразного Казанову Мирона.

Мирон кивнул, что говорить хочет.

– Давай здесь, по-русски никто кроме нас не понимает, давай, Боря, они балканы все, в смысле Балканы, – объяснил Мирон.

Можно было расслышать при желании и слово «бакланы» вместо Балкан, но это бы не подошло к святой троице. Совсем не подошло.

Мона вытирала лоб брату, даже по спине ее было видно, как она гневается. В Тель-Авиве два израильских человека скрывали свои тайны от других, разговаривая между собой по-русски.

Боря сделал шаг к смешному узкоплечему Мирону, тот подвинулся, и Боря сразу сказал ему:

– Слушай, кончай ты все это, возвращайся домой, там все с ума сходят, тоскуют, ну чего ты, сынок Лева у тебя, сидит на пони очень грустный. Мать психует, Авигаиль не в себе, давай, приходи уже. Погулял и возвращайся, хватит.

Вообще Боря не был таким уж решительным человеком, видно, драка подвигла его на такие целительные слова. Мирон посмотрел на него и отодвинулся.

– Мне неясно, ты почему вмешиваешься? Кто тебе разрешил, а?! У меня кто-нибудь спросил, где мне лучше быть и с кем? Или вы сами все знаете лучше меня, а?

Голос его был по-прежнему очень высок, но уже перестал быть небрежным. Мирон повзрослел, это было очевидно. Он смотрел поверх Бори, пользуясь превосходством в росте.

Боря увидел, что Мирон напряженно и любовно смотрит на Мону. А та, женщина бежевых флорентийских полутонов, неотрывно, молча и страстно наблюдает за ними, опираясь красноватыми натруженными руками на мать и брата. Было видно, что она очень боится происходящего и результатов этого русского злого разговора, этих русских слов. Боря увидел, что и Мирон очень боится, и мать Моны, и брат ее, все боятся.

Неясный шум шел с нижнего этажа, но разобрать ничего было невозможно. Как будто кто-то пел, было не ясно.

Борю, супермена и простака, как прошибло. Так иногда бывает со взрослыми и подростками, внезапное озарение: есть на свете вещи значительно правды и истины, есть на свете пронзительная боль, есть сладкий счастливый грех, есть ситуации, неподвластные вообще никому. «Что это я здесь делаю?» – спросил он себя.

Он растерянно повернулся и, складно двигая руками и плечами, от стыда и ужаса ударяясь о неопрятную стену лестницы, быстро побежал вниз по ступенькам, не попрощавшись ни с кем, думая о том, что никто о его уходе не сожалеет. Он, который с обледеневшим сердцем врвался в дверной проем с висящими пустыми петлями навстречу осколкам брошенной им гранаты и автоматным очередям лежащего по углам врага, постыдно испугался, буквально до потери речи. Боря съезжился до размеров молекулы, которой стал в одно мгновение. Он понял, что будущего нет, а горящее прошлое свое он позабыл, потому что память его стерлась и заросла, а жизнь осталась позади.

На лестнице резко и приятно пахло приготовляемой где-то внизу на малом огне острой пищей, исходящим последним паром рисом с изюмом, барбарисом, курдючным жиром и черносливом, на грани подгорания. Какой-то юноша из квартиры за номером семь замечательным детским голосом высокой певческой силы исполнял вдогонку Боре древний восточный всепрощающий пийот: «Услышь мой голос, о Внимающий голосам, о Господь, принимающий молитвы...»

А он бежал в страхе, плотно прижав локти к бокам, беспомощный, испуганный и слабый, не видя ничего, не понимая, но предполагая выпеваемые слова. Вся эта история подошла вместе с Бориным бегством к логическому завершению. Входную дверь он нашел в темноте с третьей попытки, так он был потерян. Навстречу прошел парень в куртке с поднятым воротником. Боря ему кивнул, тот, не оглядываясь, с удивленно-раздраженным видом похозяйски прошел внутрь, «мой дом, хочу – здороваюсь, не хочу – посылаю на хер», – говорило его жесткое, как бы опаленное лицо.

На улице был ноябрь и сильный дождь, сопровождаемый порывами ветра с глубокого моря в курчавых волнах прилива. Борю окатило сразу с головы до ног. Это помогло. Он добрался до автомобиля, посидел в нем немного, надел часы, которые вернул на запястье. Никак не мог сосредоточиться. Потом собрался и выехал на магистраль в столицу. Были большие пробки на дороге, к тому же у аэропорта несколько машин, адских японо-корейских колесниц, столкнулись на мокром шоссе. Полицейские в ветровках с капюшонами на головах разбирались с подавленными от происшедшего и непогоды водителями. Боря ехал долго, что тоже повлияло на него к лучшему. По радио передали пару любимых песен. Въезжая в поселение, во всех домах которого за окнами горели золотом праздничные, вселяющие надежду свечи, он чувствовал себя чудесно. Такой счастливый характер.

Навстречу Роза сосредоточенно вела под уздцы смиренного Густава по улице Независимости. Левушка, сидевший на пони, был напряжен и неспокоен. С деревьев и кустов ветер сбрасывал массы воды, как будто кто-то наверху опрокидывал полные ведра. Боря проехал мимо бабки, обутой в резиновые сапожки, и мимо ежащегося на ветру и дожде внука, не притормозив.

Роза, потрясающая, необъяснимая, неосторожная, на него даже головы не повернула, занятая своими азартными делами и порочными мыслями.

Она, как все местные сумасшедшие, обладала чувством предвидения. К тому же, она ничего не боялась. Теперь-то уж что, теперь поздно, поезд ушел. «Ту-ту» сказал. Дым паровоза, летевшего из ниоткуда в никуда, работавшего на отборном угле из Шхема, уходил в небо непрестанной густой струей. Эта струя быстро распадалась, смешиваясь с неприветливыми ночными облаками Иудеи.

Уже темно в окрестностях Иерусалима. 19 часов 25 минут, согласно роскошным часам Бори от невероятного горца Заура. 850 метров над уровнем моря. Плюс 12 здесь как минус 30 в известном городе на северо-западе русского государства.

Наша небольшая, но солнечная страна, отчаянная негромкая отчизна вступила в зимний вечер.

Людила Ефремова

НЕ ПЛАКАТЬ, А ПЕТЬ

* * *

Прилетала на море белая цапля,
Поживиться хотела маленькой рыбкой,
Не боялась воды солёной ни капли,
Не была опрометчивой или робкой.

По песку ходила туда-обратно,
С белой пеной сливаясь волной иною.
Ну, красивой была она – ну и ладно,
Но зачем смеяться-то надо мною?

Убегать от волны за волной кипучей,
Тайной страстью заманивать для охоты...
Не поймали мы с ней ничего – так случай.
Улетела она, и я без работы.

БЕЗ НАЗВАНЬЯ...

Я изящна, как тысяча кошек,
Я легка, как Летучий голландец,
Неотступна, как вой неотложек,
И безумна, как огненный танец.

Это знают и любят подруги,
Это ценит мой муж, но, увы,
Статус умной и доброй супруги
Не венчает моей головы.

Обладая кошачьей повадкой,
Я порой, словно вечный скиталец,
Мимо собственных окон украдкой
Пробираюсь в незримые дали.

За другой стороной амальгамы
Ожидает не сказочный сад,
А друзья, веселы и упрямы,
Прямо с неба в глаза мне глядят.

И для них мои тысячи кошек,
И для них мой Летучий голландец,

Оборвавшие вой неотложек,
Устремляются в огненный танец,

Поднимаясь над горем и болью
Повседневного существования,
Наполняют пространство Любовью
И еще чем-то там, без названья...

* * *

Уходил из дома – была война.
Возвращался в дом – война прекращалась.
А она оставалась в доме одна,
Только в церкви к Нему тайком причащалась.

Прикасалась губами к Его крови,
Меж губами баюкала Его тело.
Вот и жил Он, покуда в её любви
Рана жизни не так уже и болела.

Поднимался с колен, и опять война...
А она опять, как всегда, молчала,
Приходила в церковь, глядела на
Богородицу...
и Младенца качала.

СТРАННОЕ

Отрекаюсь от предисловия и послесловия,
ухожу от славословья в густое молчание,
отмываю персолью пятна со скатерти совести,
посыпаю солью снег на дороге отчаяния.

Уезжаю трамваем – утрешним, звонким, заспанным –
по кольцу городского маршрута от плюса к минусу,
улыбаюсь в мир, не смотрю по бокам и за спину.
– Ничего, – говорю, – я ещё не такое вынесу.

Между Чёрным прудом и Лыковой дамбой
с горделивой осанкой Пиковой дамы
задыхаюсь от пота своих сограждан,
умираю от жалости, как от жажды.

Возвращаюсь к себе, на окраину старого города,
в дом Отца моего – с любовью и странной гордостью.

УЧУ ИВРИТ

...Гортань моя никак не держит звуки,
для головы мучительней нет муки,
чем безъязыкость ощущать свою.
И я в бессильи опускаю руки,
и скромно улыбаюсь, и... пою...

И звук летит, бежит, скворчит, скребётся,
без смысла, в первородной простоте,
и я уже не чувствую несходства
в иноязычной этой красоте.

И я уже – бескрылая – летаю!
И я уже – безногая – сбегаю!
И – безъязыкая – смеюсь и хохочу.
О сколько я уже по жизни знаю!
И сколько я ещё узнать хочу!

Взята в полон иными племенами,
спеленута, как пламя, пеленами,
рождественским горением горю,
я здесь везде.
И, скажем между нами,
я начинаю говорить... Я говорю...

* * *

Никому ни за что здесь не будет дождя,
здесь полгода великая сушь.
Я скучаю по дому, а он без вождя
погружается в сонную глушь.

В палисаднике сливы, как бомбы, висят
под крылом беспробудной листвы.
Мне уже не пятнадцать и не пятьдесят
разговаривать с жизнью на вы.

Никаких тебе «но», объяснений с судьбой,
сожалений и чувства вины.
Я довольна собой, и в последний свой бой
отправляюсь, не пряча спины.

Подожди меня, дом. Я вернусь со щитом.
А случится лежать на щите,
так спасибо на том, что под мелким дождём
домовиной прижмёшься к щеке.

* * *

Бреду устало. Лес густой,
А дале – снежная равнина.
За мной усталый постовой –
Дуб вековой, как тень равнина.

Дуб вековой одушевлён.
В нем слышно кровь течёт густая.
Но в сон глубокий погружён,
Он не спасет от волчьей стаи.

Но, может быть, падёт закат
И в красный занавес обрубит
Земную жизнь, как текст под кат,
И тем спасёт всех тех, кто любит.

* * *

Храни тебя Господь
со всей твоей семьёй!
Храни тебя от бед
И всяческих обманов.
Пусть воронов облёт
И взлаи доbermanов
Не портят тихий сон –
Он может быть смешон
В квадриге Губермана
Хотя б под Новый год!
Хотя бы в Новый год...

* * *

Приходили ко мне разговаривать разные люди.
Говорили все невпопад и все о своём.
Говорили, что с ними было и что, может, будет,
только мало кто оставался со мной вдвоём.

Я их боли смывала по мере своих умений.
Циферблаты дел заменяла стуком сердец.
Так навадилась, что называть меня стали – гений,
и в мою мастерскую заглядывал сам Отец.

И до самого часа, означенного природой,
я сплетала разные судьбы в единую сеть,
чтоб разверзлись однажды слёз библейские воды,
и на землю явился Он – не плакать, а петь.

Давид Маркин

ПЛУТОВКА

Имя не делает человека подсвеченным или прозрачным, отнюдь нет. Красно-рыжую, как морковь, медичку-медсестричку со скорой помощи звали Милка, Миляга, и хотя была она действительно милой двадцатилетней девчонкой, это обстоятельство не имело ни малейшей связи с её именем. А была Милка совершенной плутовкой, и именно это, а не что-либо иное определяло её существо и размещение посреди других людей и предметов жизни.

Понять душу женщины, хотя бы и молодой, как эта Милка, – задача запутанная, труд тяжкий. Может, и не стоит этим заниматься: царь Сизиф был не дурей нас, а попал в неприятное положение. Пусть уж лучше прихотливая женская природа остаётся неразгаданной; никто от этого не пострадает, всё сохранится на своих местах. Тем более всегда найдутся окрест пронизательные умники, уверяющие с отчуждённостью во взоре и с пеною у рта, что кто-то – но уж они-то постигли женскую организацию до самого донышка и больше тут нечего искать. Интересующиеся, дескать, во всякое время могут обратиться к ним, к этим знатокам предмета, и получить исчерпывающую информацию.

Кто надумает – милости просим; но можно и без этого обойтись. Тут главное понять, что плутовство Миляги вовсе не означало, не про нас будь сказано, склонности к злокозненному передёргиванию, мошенничеству или воровству. Такая склонность никак ею не владела, хотя всякий встречный человек способен и мошенничать, и украсть – так уж мы устроены, никакой переделке-перестройке изменить что-либо тут не по зубам. И если мы, сдерживая глубинные позывы, непрестанно не крадём и не мошенничаем, так это благодаря культуре – умному и красивому рубанку, срезающему сучки, торчки да задоринки с поверхности нашего неровного от природы характера. Смешать воедино безобидное девичье лукавство с отработанным приёмом пройдохи и плутарецидивиста возможно лишь за счёт несовершенства нашего великого и могучего русского языка; но не будем ворчать и горевать по этому поводу: в конечном счёте, и солнце не без пятен.

Вообще без плутовства нам трудно представить себе течение жизни; суп-хаши без соли, вот что это такое! Не зря и не просто так писатели исстари сочиняли плутовские романы, как будто им больше не на что было обращать своё заострённое внимание. Да что там исстари! Томас Манн создал всем нам в назидание великолепного Феликса Круля, а чтобы далеко не ходить за примерами – вот они, рукой подать: Хлестаков, и Чичиков, и Остап Бендер «в стране дураков». Да и я, грешным делом, написал по законам плутовского жанра роман из жизни литературной богемы, его герой – симпатичный плутишка по имени Хелеко. Этот роман имел успех когда-то, надо бы его переиздать.

Как милый человек, находящийся в границах первой молодости и не вглядывающийся с тоской в неизбежный тупик жизненного пути, Милка вынашивала под сердцем живую мечту, пульсирующую солнечной розовой кровью. Эта её мечта не отличалась особенной неповторимостью черт: Миляга желала разбогатеть, желала страстно.

Пользование богатством, которого она мечтательно домогалась, не было конкретно связано с золотым Нью-Йорком или сапфировым Лондоном. Нет-нет! Сделайся она богачкой, ей и Москва внутри Бульварного кольца пришлась бы в самый раз. Сидя в тряской карете скорой помощи под сиреной, Милка кропотливо изыскивала тропки, ведущие к богатству, — но ничего не находила. Прямою всего, конечно, было бы ограбить банк, но такую возможность Милка отметала с порога: задача была не решаемая.

Реальней представлялось другое: мешок с баксами, свалившийся с неба и валяющийся на дороге. Или в канаве. Или в кустах, присыпанный жухлыми листьями, среди ягод и грибов. Неважно где. Некрещёная и нерелигиозная, Миляга готова была с радостью уверовать в Божье чудо, набреди она на этот самый мешок. Чудо, чудо случилось! Мешок с баксами с неба упал! Это боженька сделал ей, Милке, такой царский подарок.

Тот подозрительный факт, что новорожденную Милку не окунули в крестильную купель, вызывал в публике неоднозначные суждения: все кругом крещёные, одна Милка некрещёная! Такое недоразумение сама виновница происшествия не могла толком объяснить: вот её фамилия Лерман, а ведь она всячески русский человек. Потому хотя бы, что великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов тоже произошёл от Лерманов, и Милка, таким образом, отнесится к славному кругу его потомков.

Этого утверждения придерживалась, во всяком случае, Милкина бабка по отцовской линии, проживавшая в пору умственной зрелости в городе Чистополь, а затем переехавшая в сибирскую Тюмень. Там, в Сибири, от перемены климата эта бабка повредила умом на почве муравьёв. Дело было вот как: она вдруг, ни с того ни с сего принялась довольно-таки агрессивно уверять окружающих, что муравьи прибыли к нам с другой планеты с секретной миссией, что они разумней нас с вами и задавить муравья куда ужасней, чем придушить младенца в его люльке. Поскольку дальше интересных разговоров дело не шло, бабку никто не обижал и в милицейский участок не таскил. Откуда ей эта история с муравьями взбрела в голову, никто не мог угадать. Может, в родовой цепочке, нынче различимой в микроскоп, затесался задолго ещё до поэта Лермонтова кто-то неназванный и не оставивший по себе следа, с таким вот точно муравьиным завихрением. И эта родовая метка, вынырнув из древней мглы, взяла и отпечаталась на Милкиной бабке в её Тюмени.

То же можно сказать и о морковно-рыжем окрасе. В обозримом семейном пространстве ничего подобного не просматривалось, а поэт Лермонтов, судя по его портрету в гусарском ментике, был тёмный шатен. Значит, либо в Милягу угодил рикошетом рыжий ген из ствола родового прошлого, либо её русая мама, вот уже два года не подававшая о себе вестей из Нижнего Уренгоя, не устояла

в своё время перед напором прохожего молодца с роскошными рыжими кудрями; такое могло случиться.

Ни волосаяная расцветка неизвестного происхождения, ни муравьи, прилетевшие из космоса, не могли, по Милкиному разумению, способствовать осуществлению её золотой мечты. На этом безотрадном фоне родство с Лермонтовым выглядело более перспективным. Но при всём радужном разлёте фантазии даже перспективное родство не гарантировало Миляге достижения цели: впарить эту чудную генеалогическую историю богатому торговцу фальшивыми лекарствами для дальнейшего наступления на его карман – ведь он, скорей всего, про Лермонтова и слыхом не слыхивал в жизни никогда. Оставалось про запас обходное наступление через сердце богача, но и тут не всё было слава Богу: необыкновенная масть Миляги представлялась ей самой в глубине души скорее досадной патологией, чем проявлением дивной красоты, необходимой для успешной атаки.

Подобно скорой помощи в дорожной пробке, время тянулось огорчительно медленно, а Милке хотелось, чтоб оно шло вскачь, галопом, сверкая огненными глазами. Унылое это положение изменилось с появлением в Милкиной жизни Семёна Гуральника.

Этот Семён, Сёма, похожий на засидевшегося в студентах, лет тридцати бедного искателя приключений на свою голову, был сбит мотоциклом на пешеходной московской «зебре», после чего мотоциклист, оглянувшись, покатил дальше в известном ему направлении. ДТП произошло, скорая помощь подобрала с асфальта ушибленного, искарябанного и вывалявшегося в пыли дороги Сёму Гуральника. Перевидавшая и не такое в тесном чреве медицинской кареты, Милка молча склонилась над пострадавшим. Тут можно было бы заметить, что склонилась она над жертвой наезда, как комиссары в пыльных шлемах склонялись когда-то над павшим бойцом Гражданской войны – но это уместное романтическое сравнение пролетело бы мимо, подобно стреле в тумане, потому что ни клевавший розовым носом врач в углу кареты, ни ушибленный Сёма, ни тем более склонившаяся Миляга ничего не слышали о комиссарах в пыльных шлемах, а Окуджаву они знали только по памятнику на Старом Арбате.

Различив над собой овальное, фарфоровой лепки нежное лицо, окружённое, как прогалина густым лесом, вольными огненно-рыжими зарослями, Сёма только и смог пробормотать разбитыми губами: «Дщерь из дома Давидова...» И глаза зажмурил.

Бредовое замечание было Милягой услышано и принято к сведению. Из дома Давидова – кто? И что это за Давид? Грузин? Еврей? А при чём его дом? Миляга не склонна была к мистике, но и не чуралась её вовсе. Это ведь не каждый день случалось, чтобы сбитый мотоциклом дядька, находясь в шоке, при виде рыжей Милки вдруг приходил в себя и лепетал что-то совершенно загадочное. Какое отношение она, Милка, имеет к этому Давиду и его дому? И с чего это тут раненый студент?

Прояснить положение вещей хоть с горем пополам мог один лишь пострадавший Семён Гуральник, оставленный в больнице на ночь. А может, и не смог бы или не захотел – при мерцающем сознании люди часто несут околесицу... Так или иначе, но любопыт-

ство и тяга к сомнительным приключениям взяли в Милке верх, и после служебной ночи под сиреной, сдав смену, она явилась в палату, где на серой больничной койке лежал переживший накануне наезд мотоцикла Сёма Гуральник.

Он узнал её сразу и улыбнулся по-свойски, как доверенному человеку, посвящённому в общую тайну. И Милкино сердце словно бы повернулось на шарнире и забилося шустрей: что-то должно было случиться – приятное и неожиданное.

– Это чудо! – сказал Сёма в ответ на притворно недоумённый взгляд Миляги: чего это, мол, больной там бубнит. – Ваши корни уходят в дом Давидов, царский дом. Я гарантирую!

Таким заявлением Сёмы Гуральника с трудом державшаяся на ногах после ночной смены Миляга была потрясена до самого основания своего существа. Клеится, что ли, парень? До нынешнего утра она и не подозревала, что у неё есть корни, как у какой-то ёлки или берёзы, и кроме того, своё отношение к гарантии Гуральника сидевшая на краешке больничной койки Милка никак не могла определить. Царя Давида, вот это да! Никто ведь и не поверит, если рассказать... Тем не менее внезапная новость о принадлежности к дому царя Давида наполнила парус её души золотым ветром.

– Ваша фамилия как? – меж тем спросил Сёма.

– Лерман, – сказала Милка.

– Ну вот видите! – с удовлетворением откликнулся Сёма Гуральник. – Значит, вы наша еврейка из рода Давидова. Кстати, Иисус Христос по маме тоже был из его рода.

– А вы сами откуда знаете? – несмело спросила Милка.

– Знаю, и всё! – отрезал Гуральник со своей койки. – Садитесь вот поближе, не стесняйтесь.

Не уставая потрясёно удивляться, Миляга узнала от Сёмы Гуральника, что рыжая окраска у евреев пошла от царя Давида, что рыжих, без подмеса, среди потомков царя как кот наплакал и Милка – именно та, кто отвечает всем требованиям строгого отбора: рыжей не бывает.

Впервые, пожалуй, в жизни Милка почувствовала себя польщённой из-за диких зарослей на голове. Обычно люди пялили на неё глаза, некоторые ухмылялись в рукав: «Это ж надо!» Но Сёма Гуральник пришёл в восторг совершенно искренне, тут не было сомнений.

– У евреев это совершенно особая, редкая наследственная нить, – сказал Сёма. – У нас не принято этим хвастаться, особенно перед чужими. Но вам ваши родители должны были об этом сказать...

Тут-то и была зарыта собака. Чем таким скрытным и секретным папа мог поделиться с Милкой, которую он никогда в глаза не видал? Этот рыжекудрый прохожий молодец, который неизвестно откуда взялся, а потом неведомо куда делся, – какие ценные секреты он мог ей открыть?

– Вы, конечно, не обижайтесь, – подавленно сказала Милка, – но мои родители, оба, русской национальности.

В этом принципиальном вопросе темнить и лукавить было излишне – правда обязательно открылась бы каким-нибудь образом, хотя Миляга готова была хоть сейчас обменять близкое родство с

русским поэтом Михаилом Лермонтовым на дальнее родство с еврейским царём Давидом. Царь, знаете ли, он и в Африке царь.

Сёма Гуральник между тем продолжал гнуть свою линию. Такая цепь преемственности, повествовал Сёма, такая золотая цепочка протянулась из глубины веков, от рыжего, как солнце, царя Давида до наших времён. Но и он, псалмопевец, не первая точка в отсчёте. Задолго до него Иегуда, его предок, четвёртый сын нашего праотца Яакова, был пламенно рыж, этим обстоятельством он разительно отличался от своих братьев и собратьев, и отчасти этим же объясняется его чистосердечная склонность не только грешить, но и каяться. И такое необыкновенное стремление сохраняется у его рыжеволосых потомков по сей день... Сделав это сообщение, Сёма взглянул на Милягу взыскательно, но в то же время и покровительственно. И под этим взглядом Милка готова была немедленно согрешить, хотя бы ради того, чтобы без промедления вслед за тем покаяться подобно совершенно ей неведомому Иегуде.

– Ваша мама не была с вами чистосердечна, – сказал Сёма. – Да. Но теперь мы это исправим.

– Как так? – задала Миляга наводящий вопрос. – Вот вы тут насчёт Иисуса Христа говорите, что он тоже получается дальний родственник. А ведь он жил на Святой земле, правда? И моя мама когда-то случайно, так сказать, проболталась, что там у нас есть участок, но это секрет. Потому что за него могут посадить.

– Где посадить? – уточнил Сёма. – Здесь или там?

– Где, где... – с досадой повторила Миляга. – Не знаю где. Моя мама много чего иногда плетёт. Но я сама догадалась: у нас за однушку в развалюхе бандиты пришьют насмерть, что уж тут говорить об участке за бугром.

– А маме вашей кто рассказал? – привстав на койке, волновался Сёма Гуральник. – Про этот участок?

– От бабушки она слышала, – сказала Милка, немного уже сожалея о том, что в разговоре с незнакомым, строго говоря, человеком коснулась секретной темы. А вдруг этот Сёма – чёрный риэлтор? Может же такое быть?

– Вы не маленькая девочка, – строго сказал Сёма Гуральник. – Ваша мама должна откровенно рассказать вам всё о вас самой, и Лермонтов здесь совершенно ни при чём.

Милка промолчала.

Откровенный разговор с мамой не сулил ей ничего приятного, но другого лаза в семейные тайны у неё просто не было. Ради того чтобы приоткрыть в себе трогательную способность не только грешить, но иногда и каяться, она готова была ехать в Нижний Уренгой – в том, разумеется, случае, если этот странный Сёма согласится купить ей билет на самолёт туда и обратно.

– Кстати, – сказал Сёма, – на иврите Лермонтов означает Лерман Хороший.

– Да? – удивилась Миляга. – Правда?

– Я в Израиле два года жил по программе для молодёжи, – объяснил своё знание иврита Сёма Гуральник. – Ходил на курсы каббалы, это такое тайное учение. Теперь живу то там, то здесь, учу историю русских евреев, – закончил он несколько размыто.

А Милке почему-то неловко было расспрашивать раненого.

Под приглядом Милки ушибленный Сёма быстро шёл на поправку, и через день-другой они уже перешли на «ты» – но почему-то далее того не двинулись; может, каббала была тому причиной.

Из разговоров с Сёмой Гуральником Миляга вынесла не только привлекательную идею каяться, согрешив, но и кое-что ещё: оказывается, побеги Давидова корня обладали преимущественным правом владения участками полей, холмов и пустынь Святой Земли, оцениваемыми сегодня в заоблачные суммы. Милка Лерман, вытекало из этого, при благоприятном раскладе обстоятельств могла бы сделаться полноправной хозяйкой какой-нибудь еврейской поляны или долины, богачкой и миллионершей. Вот это круто, вот это по-нашему! И обмолвка мамы тогда кое-как вставала в строку.

Тут и каменная скала содрогнулась бы от такого известия, от такого неслыханного дела. Для благоприятности расклада, казалось бы, не хватало одной лишь малой малости – столетней давности бумажки, сертификата, удостоверяющего, что кто-то из Милкиных прадедов или же прабабок царских кровей приоритетно приобрёл за ломаный грош участок земли на пустынной исторической родине, населённой в то время по преимуществу шакалами и козлами. Где искать этот сертификат, эту брильянтовую бумажку, Миляга и представления не имела. Охотно почувствовав себя наследницей царя Давида, она готова была, не откладывая дела в долгий ящик, хоть сейчас ринуться на поиски старинного семейного документа и совершить ради этого героические поступки.

Оправившийся после дорожного наезда Сёма Гуральник был доволен и бодр.

– Такие бумажки люди не выбрасывают, – подводил Сёма базу под своё бодрое настроение. – Вместо того чтоб порвать бумажку неизвестного назначения в клочки и выкинуть в помойку, человек запихивает её куда-то на самое дно ящика или чемодана, а потом забывает, куда засунул.

– Как это неизвестного? – уточняла Миляга.

– Ничего страшного, – успокаивал её Сёма. – Так куда лучше. Люди даже не подозревают, что это такое: хлам, и всё. Деды, может, и помнили ещё, что это купчие на Святую землю, но тоже мало кто из них надеялся, что когда-нибудь эти бумажки смогут пригодиться: в Палестине тогда турки правили, поди получи с них хоть шерсти клок... Зато красиво: дали копейку на поддержание мечты о Земле обетованной. Ну, вроде налога на мечту.

– И что дальше? – подгоняла Миляга с практическими выводами.

– А то, – продолжал Сёма Гуральник, – что внуки уже забыли про это начисто. Царя скинули, потом война с немцами, потом скинули большевиков – те бумажки, которые случайно уцелели, валяются где-то по углам для порядка. Или для беспорядка... Ну скажи: твоей маме они нужны?

Про папу Сёма не спрашивал – уже знал от Миляги о досадной неопределённости в этом вопросе. Что же касательно мамы из Нижнего Уренгоя, то ей исторические бумажки были напрочь не нужны, она, как предполагала дочка, если и интересовалась бумажками, то совсем другими – неброского зелёного цвета. Но при любом раскладе прежде всего следовало вырвать у мамы чисто-

сердечное признание – состоит она в родстве с царём Давидом и его родом-племенем или не состоит. И если всё-таки состоит – вот тогда уже надо на неё наезжать насчёт старинной бумажки, затесавшейся, быть может, в пожелтевшей стопке жировок, квитанций, обесцененных облигаций и прочего пыльного хлама, который давно пора выбросить, да всё руки не дотягиваются.

– Должна сохраниться! – с большой уверенностью сказал Сёма Гуральник и подбородком утвердительно повёл. – И мы её найдём. Вот увидишь!

Миляга, охваченная праздничным пламенем чуда, поспешно кивнула головой.

– Теперь так... – сказал Сёма. – Вся выручка – фифти-фифти: половину тебе, половину мне. И накладные расходы тоже пополам.

Мерзей Нижнего Уренгоя был бы, возможно, только Верхний, существуй он в природе. Но Верхний Уренгой вообще не значился на местности, хотя по логике вещей должен был бы дополнять Нижний и составлять с ним единый архитектурный ансамбль. Что поделать! Логика иногда надёжно скрыта в недрах вещей и совершенно не видна.

Будем принимать это как должное, чтоб не тревожить сознание дурацкими вопросами: где, дескать, логика? Куда она делась? И где тут Верхний Уренгой?

Мама Миляги по имени Зина оказалась унылой женщиной средних лет, с редкими серыми волосами, собранными в неопрятный клок на затылке, и с нездоровым цветом лица.

– Ой, Милка! – удивилась Зина, увидев дочку на пороге. – Это ты!

– Я, – сказала Миляга, приобняв маму мимоходом. – А это Сёма. Проходи, Сёма!

– Жених, – дал объяснение Сёма Гуральник унылой Зине, нимало, впрочем, не удивившейся явлению жениха в её бараке. – Мы тут, мамаша, тортик принесли. Как насчёт чайку попить?

Он достал из дорожного баула и поставил на стол коробку с тортом и бутылку наливки «Рябина на коньяке». При виде спиртного глаза хозяйки повеселели и наполнились жизненной силой.

– Да вы садитесь вот к столу! – позвала Зина, и сухие хлебные крошки с клеёнки стряхнула ребром ладони на пол.

После третьей рюмки разговор склеился и побежал ровно и легко. Говорил в основном Сёма Гуральник, и этого было вполне достаточно.

– Я собираюсь ехать за границу, – ознакомил Сёма повеселевшую Зину со своими ближайшими планами. – Дочка, конечно, со мной. Там и свадьбу сыграем.

– А куда за границу-то? – неназойливо поинтересовалась Зина.

– В Израиль, – сказал Сёма. – В Тель-Авив.

– В Тель-Авив... – несколько потерянно повторила Зина. – Здорово! У вас там родственники?

– Я сам израильтянин, – сказал Сёма Гуральник. – Это здесь у меня теперь родственники будут. Вы, например. Выпьем за вас! Чтоб у всех евреев была такая тёща!

Это пожелание если и не смутило, то немного озадачило весёлую Зину.

– А вы к нам потом приедете на ПМЖ, – продолжал Сёма. – По Закону о возвращении евреев на историческую родину. У нас тепло, будете в море купаться с утра до ночи.

– Снега нет, что ли? – уточнила Зина.

– Снега нет, – подтвердил Сёма Гуральник. – Солнышко круглый год.

– У меня папа был наполовину Лерман, а наполовину татарин, – вполголоса, как о тайном, сообщила Зина.

– А мама? – спросил Сёма.

– Мама-то – Шмулевич, царствие ей небесное, – сказала Зина и взглянула на дочку, ошарашенно сидевшую на хрупком венском стуле совершенно неподвижно, как пень в лесу.

– Тогда ваш папа мог быть даже наполовину негром, – успокоил Сёма. – У нас ведь определяют по матери. С вами всё ясно, а вот Милочкин отец... – тут он умолк, потому что Зина хлюпнула носом и глаза отвела.

– Что отец? – спросила Зина. – Что именно?

– Нет, ничего, – переместился на другие позиции Сёма Гуральник. – Я хотел спросить, он тоже был такой рыжий?

– Он был бритый, – твёрдо сказала Зина. – Как знаменитый американский киноартист, забыла, как фамилия.

– Юл Бринер, – напомнил Сёма.

– Вот-вот, – сказала Зина. – Поэтому я не знаю, рыжий он был или нет.

Тут уместно было бы спросить, как выглядел этот папа, когда на его бритом лакированном черепе через день-другой неизбежно проклюнулась щетина растительности. Но Сёма Гуральник не планировал ставить Зину в неудобное положение и загонять её в тупик – вполне возможно, другого дня в её совместной жизни с прохожим молодцом и не случилось, и этот деликатный вопрос остался открытым.

А Миляга сидела и слушала, дивясь и восторгаясь умением своего компаньона брать с порога быка за рога. Бабушка-то покойная – Шмулевич! Вот тебе и раз! А как рыжая Милка могла об этом догадаться, если эта бабушка умерла ещё до появления внучки на свет, они, можно сказать, разминулись, и мамину маму она никогда в глаза не видала, как и бритого папу, похожего на американского артиста.

То, что теперь она еврейка – эта новость Милягу скорее приятно удивила, чем расстроила: к евреям она относилась терпимо, от других людей их никак не отграничивала и не отделяла. Ну и ощущать себя на законном основании наследницей еврейского царя было очень приятно, просто замечательно, тем более что этот новый статус сулил вскоре доходы, и немалые.

«Рябина на коньяке» была выпита до капли, торт съеден наполовину – и Сёма Гуральник собрался с силами и перешёл к главной задаче. Вначале он решил было выпустить ещё один залп в этой артподготовке – извлечь из баула и поставить на стол припасённую на всякий пожарный случай дополнительную бутылку спиртного, но потом отказался от этого плана: вполне довольная Зина от незначительной добавки могла мирно задремать прямо за столом и выйти из игры, где она исполняла всё же главную роль.

– Вот если б вы прилетели к нам на свадьбу в Тель-Авив! – предложил Сёма Гуральник, и Зина, критически изучавшая пустую бутылку, подняла на него опустевшие глаза. – Билеты мы вам пришлём, так что...

– Паспорт надо получить, – вполне разумно прикинула Зина, – документы оформить. А где их теперь искать, эти документы...

– А что, был пожар? – остро отреагировал Сёма и услышал с облегчением:

– Не было никакого пожара. Просто не помню, куда я их дела.

– Обычно документы все вместе держат в каком-нибудь конверте или пакете, – подсказал Сёма. – В каком-нибудь чемодане или сумке лежат, наверно, если их мыши не съели.

Это ужасное предположение почему-то понравилось Зине.

– Мыши могли, – светло улыбаясь, сказала она. – А больше некому.

– Я знаю, какие документы нужны для вашей поездки, – нажимал Сёма. – Я их сразу увижу, вы не сомневайтесь. И ещё подарок дадут из казны за первый приезд. Вы ведь у нас никогда не были?

– Я дальше Красноярска никуда не ездила, – ясно и прозрачно объявила Зина. – Но в Тель-Авив бы съездила, если можно.

– Можно, конечно, можно! – обрадовал Сёма. – Это я вам говорю. Тем более что у вас там участочек.

– Какой участочек? – искренне удивилась Зина. – Где он?

– Дачный, – дал справку Сёма Гуральник. – На Святой земле. От бабушки вам достался.

– От какой бабушки? – расплзающейся памятью пыталась припомнить Зина.

– Вы ж сами дочке рассказывали! – с напором воскликнул Сёма Гуральник. – От бабушки Шмулевич! Верно, Милка?

Милка молча кивнула головой, в знак полного согласия. Копна её рыжих волос пришла в движение и вспыхнула морковным пламенем.

– Может, рассказывала, – признала Зина. – Не помню...

– Ну, потом вспомните, – заботливо успокоил Сёма. – Но куда ж вы все ваши документики запихали?

Зина, словно бы начиная поиски, повертела головой на непослушной шее, показывая тем самым, что местоположение документов ей неизвестно, равно как и слегка озаботившемуся Сёме Гуральнику и дочке Милке, с интересом следившей за ходом разговора.

– А чердак у вас есть? – разведал Сёма.

– Зачем мне чердак? – махнула Зина рукою. – Вешаться там, что ли?

– Значит, чердака нет... – пробормотал Сёма, заглядывая под дощатый топчан. – А в чемодане вон в том нет? Старые письма, фотографии, квитанции всякие?

– Писем я не пишу, – отрезала Зина. – Чего их писать-то... Квитанции, может, валяются какие-нибудь. Справки.

– Метрика – это тоже в своём роде справка, – сказал Сёма Гуральник. – И она нам нужна для оформления поездки в Тель-Авив, на свадьбу. Заглянуть можно? По-родственному? Я сразу, что нужно, найду!

Попытка Зины подняться со стула на нестойкие ноги не увенчалась успехом, поэтому Сёма Гуральник живенько лёг перед топчаном на брюхо и вытянул на свет божий старый дерматиновый чемодан со сбитыми углами.

– Открывай! – скомандовала Зина со своего стула. – Вон там гляди, под пальто! Торчит что-то!

Из-под ветхого пальто торчал увесистый клеёнчатый пакет, перетянутый шпагатом.

– А я про него и забыла, – беззаботно покачивая головой, сказала Зина. – Это ещё бабкин. Давай его сюда.

Миляга, подавшись вперёд, впилась взглядом в этот семейный пакет, как будто в нём проживала золотая жар-птица, которую она вот сейчас схватит за хвост. Более всего на свете Миляге хотелось как можно скорей закончить здесь дело и с жар-птицей под мышкой уйти из этого барака, от мамы Зины, которую Сёма, неизвестно зачем, пригласил ехать в Израиль, в края царя Давида, на ПМЖ. Но Сёма Гуральник знал, что делал, в этом Миляга уже успела убедиться.

– Это фотография бабушки! – изумилась Зина. – Сохранилась! А это прадед, что ли? Фото ещё царское!

Сёма расцвёл, как мак на лужайке. Коричневая, на картонной подложке, фотография царских времён! Прадед, прабабка – какая разница? Хоть сосед-инвалид! Главное, что вся эта пачка сохранилась, вот что главное.

Милку разбирало любопытство. Вот это, значит, бабушка Шмулевич. Интересно. А это кто, в коротких штанах и с бантом? Спрашивать не хотелось, тем более что и мама Зина сама ничего не знает. Главное, чтоб из пакета не вывалилась фотография лысого прохожего молодца, похожего на артиста, – этого Миляга не желала всеми фибрами своей души, и всякое её любопытство на том обрывалось. Нет, не хочу! Впрочем, лысый красавец из пакета и не выпал – откуда ему там было взяться...

А Сёма Гуральник перетянул к себе пакет, высыпал из него содержимое и, действуя пальцами с балетной отточенностью движений, внимательно просматривал кипу бумажек и бумажонок. Зина через стол следила за его работой. Увидев, что московский гость с интересом читает медицинскую справку, Зина сделала выпад рукой и выхватила несвежий листок.

– Это старая, от врача, – сказала Зина. – Случайно сюда попала.

– Из вырезвителя, – внёс ясность Сёма Гуральник. – Бывает. С каждым может случиться.

Миляга глядела в сторону, дробно сучила ногой, обтянутой модно вытертой джинсовой штаниной.

– Не сердись на маму! – сказал Сёма. – У неё было трудное детство. А такая справка у нас в Израиле – это же просто клад!

И мать, и дочка смотрели на Сёму с немим вопросом.

– Перебрала по ошибке, меня менты и забрали прямо из автобуса, – сказала Зина.

Раскаianie не звучало в её голосе.

– Две-три такие справочки, – разъяснил положение вещей Сёма Гуральник, – и у нас вам могут дать ежемесячное социальное пособие по болезни.

– По какой такой болезни? – насторожилась Милка.
– Хроника, – сказал Сёма. – Алкогольная зависимость.
– Типа пенсии? – оживилась Зина.
– Типа того, – приятно улыбнулся Сёма.
– И хорошо платят? – навела справку Зина.
– Неплохо, – сказал Сёма. – Всё просчитано. Хватает и на выпить, и на закусить. Чтоб гражданин не мучился... А вот и метрика! Нашлась!

Обретение метрики прошло мимо внимания Зины – она недоверчиво обдумывала сообщение Сёмы об алкогольном пособии в еврейской стране.

– Свидетельство о рождении просто идеальное! – держа документ на отлёте, с подъёмом воскликнул Сёма Гуральник. – Супер-дупер! Вы стопроцентная еврейка! Поздравляю вас! Тут даже главный раввин всего Израиля ни к чему не придерётся!

Нельзя сказать, что Зина пришла в неописуемый восторг оттого, что главный раввин не испытает прилива сомнений по поводу её принадлежности к нашему многострадальному народу: похоже на то, что она и сама, без подсказки, в этом родстве не сомневалась ничуть. Однако обилие новостей, в сочетании с очевидной недопитостью, погрузило её в задумчивое состояние. Сидя за столом против Сёмы Гуральника, она отстранённо наблюдала за тем, как он с великим тщанием и усердием перебирает бумажки в семейной стопке.

Если б он оттуда извлёк и предъявил справку с печатью, удостоверяющую, что она, Зина, является не только побегом ствола Давидова, но заодно и прямым потомком придурка Голиафа, это известие тоже было бы принято ею как должное: Голиаф так Голиаф! Чего там мелочиться!

Сёма Гуральник закончил перебирать и перекладывать, аккуратно сложил бумажки и вернул их в пакет. Земельного сертификата там не оказалось.

Это не обескуражило Сёму. Он знал, знал точно, что без труда не вынешь и рыбку из пруда, особенно если та рыбка – золотая. А тут он только ноги промочил, в пруд вошёл только по колено.

– Ну вот, – терпеливо улыбаясь Зине, сказал Сёма Гуральник. – Полдела сделано: нацпринадлежность установлена, теперь можно ехать дальше... – И, продолжая приятный разговор, поинтересовался: – Вы по профессии кто будете? Милочка рассказывала – работник технического труда?

Миляга отвела лицо в сторону и поморщилась – ничего подобного она ему не рассказывала, потому что и сама толком ничего не знала, и кроме того, перспектива увидеть маму Зину в Израиле, о чём уже несколько раз с подъёмом объявлял Сёма, дочку совершенно не радовала.

Впрочем, Милка с надеждой допускала, что Сёма блефует для пользы дела, этот ход она могла принять.

Действительно, на кой чёрт Зине ехать в Израиль, когда ей и здесь привычно и хорошо!

– Сторож я, – сообщила Зина. – Сторожиha наружной охраны склада поддонов. Раньше нас ВОХРА называли. – И, видя лёгкое недоумение Сёмы, пояснила: – Вооружённая охрана.

– У вас есть ружьё? – с беспокойством спросил Сёма Гуральник.

– Да на кой оно мне сдалось, это ружьё? – усмехнулась Зина. – Стрелять из него, что ли? Склад пустой стоит уже который год, из него всё давным-давно украли. А сторожа остались по штату.

– У нас в Израиле сторож – уважаемый человек, – снова завёл свою сладкую песню Сёма Гуральник. – Ночные сторожа, дневные... Древняя, кстати, профессия, ещё библейская.

– От царя Давида пошла, нашего предка, – с подковыркой сказала Миляга, которой надоело тут сидеть без дела.

Сторожевое занятие в Израиле не заинтересовало Зину, а упоминание знаменитого царя не произвело на неё никакого впечатления.

– В магазин надо сбегать, – сказала Зина, со значением глядя на дорожный баул Сёмы Гуральника, откуда совсем недавно была извлечена рубиновая «Рябина на коньяке». – Тут недалеко.

Сёма послушно скользнул рукой в баул, выудил оттуда новую бутылку «Рябины» и поставил на стол – рядом с порожней. Зина потянулась открывать.

– Чтоб, как у нас говорят, не мешать мясное с молочным, – объяснил Сёма вмиг повеселевшей Зине. – «Рябина» так «Рябина». С неё начали, так и будем продолжать. А то сначала коньяк, потом водка, потом портвейн какой-нибудь – от этого голова идёт кругом, я сам видел много раз.

– Ну и ладно, – не стала входить в подробности потребления веселящих напитков в Израиле мама Зина. – За всё хорошее!

Выпили, поглядели друг на друга дружелюбными глазами.

– А я вот что, – сказал Сёма, ставя на стол оббитую рюмку. – Я собираю – покупаю то есть – всякие старинные еврейские вещи: подсвечники, солонки такие специальные, ну и, конечно, книги. Коллекцию собираю. У вас, может, что-нибудь сохранилось от бабушки Шмулевич? Солонка-то вряд ли, она серебряная, а вот подсвечник или...

– Была книжечка одна, – вспомнила Зина, – мама там писала, кто и когда родился из родных, кто умер, кто женился. И до неё кто-то заполнял, не знаю кто. Потом она сама умерла, а я уже не заполняла, не до того было... Книжка старая, лет ей, может, сто или даже двести. Она была вся растрёпанная, странички какие-то вклеенные.

– И где ж она? – встрепенулся Сёма Гуральник. – Эта книжка?

– Последний раз, когда побелку делали, – сказала Зина, – я хотела её выбросить, а потом думаю: пусть лежит, есть она ведь не просит. И закинула её на антресоли, в туалет.

– Посмотреть можно? – немедленно спросил Сёма.

Попытка Зины бодро подняться со стула и отправиться в уборную на поиски не увенчалась успехом.

– Не беспокойтесь, мы сами, – успокоил Сёма Гуральник. – Пошли, Милка!

Книжка обнаружилась в самой глубине дощатых антресолей, за сваленными в кучу прохудившимися погнутыми кастрюлями, ржавым эмалированным китайским тазом, узлом пришедшей в негодность ветхой одежды и венком бумажных цветов с траурной лентой. Обтерев пыль с растрескавшейся от времени кожаной

обложки, Сёма Гуральник открыл тронутый сыростью еврейский молитвенник виленского издания 1864 года. Странички, прилегающие к обложке, были исписаны разными почерками, на идише и по-русски. Чернила выцвели во многих местах, затрудняя чтение: «12 месяца сентября 1873 года у Мирьям и Шлёмы Каценельбогенов родился первенец Наум, дай Бог ему счастья, а родителям здоровья».

– Ты слышала когда-нибудь про Каценельбогенов? – бережно держала книгу двумя руками, спросил Сёма.

Милка отрицательно покачала головой.

Книжка была разрознена, нитки сшивки кое-где истлели. Тщательно вклеенные когда-то странички с записями о рождениях и смертях выпали, остались лишь жёлтые следы клея по одному краешку листа. Попадались и какие-то рукописные заметки, вложенные много лет назад в чашу страниц.

– Это здесь, – выдохнул Сёма Гуральник в душной тесноте каморки. – Вот он. Гляди!

С величайшим почтением Сёма Гуральник вытянул из молитвенника и держал теперь в руке поблекший от времени сертификат о покупке одесским мещанином Хаимом Лерманом двадцати дунамов земли к западу от города Иерусалима.

Самолёт не лучшее место для ведения доверительного, взвешивающего разговор между двумя людьми, объединившимися для решения одной непростой задачи. Даже бывалые воздушные волки невольно возвращаются время от времени к простенькой мысли, что между ними и надёжной, устойчивой землёй – десяток километров воздуха, в котором совершенно не за что уцепиться: ни сука, ни карниза, ничего. Железный грохочущий сундук, набитый людьми и вопреки доводам рассудка летящий по небу без видимой поддержки милой далёкой земли, не внушает путнику безоглядного доверия. И эта естественная в воздушном пространстве настороженность препятствует вольному и безмятежному течению беседы.

Миляга и Сёма Гуральник разговор на высоте вели урывками: в промежутках между исполненными далеко не каждому понятного смысла фразами они мечтательно представляли себе близкий исход дела, налитанного золотой кровью. По прилёте на историческую родину их – и рыжекудрую потомницу знаменитого царя, и её деловитого компаньона – ждали, по словам самого Сёмы Гуральника, необременительные формальные хлопоты. Картина была совершенно ясна, поэтому адвокаты примутся за дело без аванса и предоплаты и добьются получения денег истцами без шума и скандала. Почему без скандала? Да потому что власти очень даже опасаются широкой огласки притязаний на землю, считающуюся «ничьей» или, попросту говоря, государственной. И тут появляется Миляга и под руководством Сёмы Гуральника требует компенсации за двадцать дунамов просто-напросто «алмазной земли», застроенной, вполне возможно, государственными учреждениями и роскошными отелями. Полной компенсации, плюс проценты за эксплуатацию, плюс за моральный ущерб... Рыжеволосая московская красавица, наследница царя Давида!

СМИ набрасываются на эту потрясающую новость, сенсация разрастается, как снежный ком, фотографии Миляги появляются на обложках гламурных журналов Тель-Авива и Москвы! Не забыта и мама Зина в её Нижнем Уренгое, со стаканом «Рябины на коньяке» в нетвёрдой лапке. Захватывающая история о бесценной купчей, чудом сохранившейся в отхожем месте, обсуждается на всех уровнях, включая и правительственный. После такой рекламы, можно не сомневаться, вслед за Милкой немедленно объявятся Шурки, Лейки и Хайки, и каждая с сертификатом, а то и с двумя, с адвокатами, экспертами и даже, если понадобится, свидетелями. Возбуждённая общественность, щёлкая зубами, станет нетерпеливо подстерегать тот момент, когда свои права на землю, на которой вознесён израильский Кнессет, предъявит какой-нибудь совершенно не сентиментальный Абрамович из Житомира или Хаимович из Одессы.

– Но когда ты объявил, что я твоя невеста, – сказала Миляга, – я даже удивилась.

– Зато твоя мама не удивилась, – сказал Сёма. – Жених так жених... Чужой человек зачем нос суёт в семейные документы? А так – почти тёща. И если будущий зять чем-нибудь интересуется, как ему откажешь? Это просто было бы некультурно.

– Ты её подпоил, – сказала Миляга, – вот она и расклеилась. А то – «жених, невеста»...

– Зато мы всё нашли, – возразил Сёма. – Ты что, против? Задним числом?

– Я не против, – сказала Милка. – Я за. Разве ты не видишь?

– А женихов я тебе найду, – сказал Сёма Гуральник. – Хоть целую дюжину. Хочешь – внесём этот пункт в наш контракт. Без дополнительной оплаты.

– Я ж тебе уже на слово поверила, – сказала Миляга. – А то мы сейчас никуда бы не летели.

А летели уже над Турцией. Стюардесса принесла кофе.

– Ещё немного, и ты разбогатеешь, – сказал Сёма. – Что будешь делать с деньгами?

– А ты? – спросила Милка.

– Куплю биржевые акции, – не задержался с ответом Сёма Гуральник.

– А я буду жить, и всё, – сказала Милка. – И ни в чём себе не отказывать.

– Купи хотя бы автозаправку, – сказал Сёма. – Деньги сами будут капать.

– Лучше я открою всемирное Общество потомков царя Давида, – сказала Миляга. – Хочешь, возьму тебя генеральным директором и зарплату буду платить?

– Зачем тебе это общество? – покосился Сёма Гуральник. – У тебя же голова работает хорошо. Тогда зачем?

– Будем заниматься земельными сертификатами, – сказала Милка. – Искать, оформлять. Под видом потомков царя Давида. А что?!

– Да ничего, – сказал Сёма. – Полиция может заинтересоваться...

– Под потомка можно кого хочешь подвести, – сказала Миляга. – Хотя маму Зину, ты и сам знаешь... А тут всё же – права соб-

ственности, общественная организация, тары-бары, сухие амбары. При чём тут полиция?

– Значит, политическое движение, – подумав, добавил Сёма Гуральник. – Союз монархистов... Это другое дело. Тут уже никто не придерётся. Как говорят русские люди – комар носа не подточит.

– Иногда надо и русских людей послушать, – сказала Милка. – Для справедливости. Это я тебе от всей души, как бывшая родственница поэта Лермонтова говорю.

Спустя время за окошком, слева, вынырнула из моря плоская линия берега с высокой трубой, к которой можно было бы чалить корабли древних великанов, когда-то проживавших, возможно, в наших библейских краях.

– Это Ридинг, – сказал Сёма, указывая на трубу. – Электростанция.

Подлетая к израильскому берегу, Сёма всякий раз испытывал в душе приятное пощипывание. Да и Миляга посматривала на трубу с любопытством.

– Я, пожалуй, соглашусь, – сказал Сёма, сводя и разводя вытянутые пальцы ладоней. – Считай, что твоё предложение принято. Это богатая идея.

– Значит, генеральный директор? – уточнила Миляга.

– Партии монархистов «Царь Давид», – подтвердил Сёма Гуральник.

– А деньги? – обеспокоилась Миляга. – Нужны деньги!

– Деньги будут, – сказал Сёма. – Знаешь, в Одессе раньше говорили: «Ты жарь, жарь – а рыба будет!» И у нас в Израиле так это делается.

– Да? – спросила Миляга.

– Да, – сказал Сёма. – Двадцать дунамов – это миллионы, много миллионов. Но это ещё не всё. Строго говоря, все евреи, независимо от политических симпатий, хотят разбогатеть, желательно чудесным образом и как можно скорей. А кто не хочет?

– Ну кто? – спросила увлечённая направлением разговора Миляга.

– Таких у нас нет! – припечатал Сёма Гуральник. – И наши «правые», и наши «левые» надоели народу хуже горькой редьки. Люди хотят делать гешефты, они смотрят на деньги, а не на идеи. Ты знаешь, что такое «гешефт»?

– Ты говорил, – сказала Миляга. – Что-то вроде афёры.

– Не совсем, – уклончиво возразил Сёма. – Не совсем... Люди хотят верить, что при хорошем царе им будет житья лучше, чем при плохом премьер-министре. Кто против?

– Я за! – сказала Миляга вполне искренне.

– На ближайших демократических выборах, – подвёл итог Сёма Гуральник, – партия «Царь Давид» получит от четверти до трети парламентских мандатов. Мы будем требовать перемен, это всегда увлекает. Очарованный электорат пойдёт за нами, вот увидишь!

Ну, что к этому добавить? Я и сам из дома Давидова, отчасти по этой причине уже подал заявление о приёме в новую партию и намереваюсь занять в ней ключевые позиции.

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

Виктория Райхер

ФОТОАЛЬБОМ

* * *

мы никогда не будем нелюбимы.
ведь с наших душ, макушек и знамён
не сводят глаз, могилами хранимы,
все те, кто нами
не был сохранён.

они верны и непоколебимы,
они не живы – стало быть, чисты.
мы никогда не будем нелюбимы:
нас любят те,
кто смотрит с высоты.

они мерцают из нездешней были,
из тех глубин, где им нельзя не быть, –
они нас слишком поздно полюбили
и больше
не успели разлюбить.

и потому в любой кромешной чаще,
в любой беде, где незаметен свет,
мы никогда не будем нелюбящи:
ведь кто-то должен
их любить в ответ.

* * *

В нашем доме детям не разрешалось
откусывать от батона по дороге из булочной после школы.
Ходить по дому не в домашней одежде,
одеваться не по погоде, носить чужое.
Гулять, не сделав уроки, ночевать у подруги,
ходить в кино, если на этот день есть билеты в театр,
ходить в кино на одно и то же,
читать в постели.
В нашем доме детям не разрешалось
ложиться спать слишком поздно
и вставать слишком поздно, хотя бы и в выходные.
Есть сладкое на ночь, выпрашивать вишенки из пирожных,
таскать куски со стола, носить орехи в карманах,

валяться, лениться, ссориться, спорить,
опаздывать, не стараться, засыпать не в своей кровати.
и громко плакать.

А так хотелось.

Больше всего хотелось
откусывать от батона по дороге из булочной после школы.
Ходить по дому не в домашней одежде,
одеваться не по погоде, носить чужое,
гулять, не сделав уроки, ночевать у подружки, ходить в кино,
даже если на этот день есть билеты в театр,
ходить в кино на одно и то же, читать в постели,
ложиться спать и вставать очень поздно, есть сладкое на ночь,
выпрашивать вишенки из пирожных, носить орехи в карманах,
валяться, лениться, ссориться, спорить,
опаздывать, не стараться, засыпать не в своей кровати
и громко плакать.

Поэтому в *нашем* доме детям обычно можно
откусывать от батона по дороге из булочной после школы.
Ходить в чём угодно по дому, носить чужое,
гулять, когда захотелось, ночевать у подружки,
ходить в кино и в театр одновременно, ходить в кино на
одно и то же, читать в постели (хорошо, что вообще читает),
спать хоть совсем не ложиться,
вставать в выходные под вечер,
есть сладкое на ночь, выпрашивать вишенки из пирожных,
таскать куски со стола, носить что угодно в карманах,
валяться, лениться, ссориться, спорить,
опаздывать, не стараться,
засыпать на диване или у мамы в кровати
и громко плакать, если так захотелось.

Но вчера моя дочь попросила мышку.
Белую мышку, чтобы жила в коробке.
Белую мышку, чтобы быть её полной хозяйкой,
кормить, поить и никому не давать в обиду.

В нашем доме детям не разрешалось
заводить животных.

Поэтому в *нашем* доме живёт собака.

И два кота, и совсем небольшая жилплощадь.
И если прибавить ещё и мышку, придётся эвакуировать маму.
А время – двенадцать ночи.

И моя потрясённая дочь сидит на кровати в одежде,
в бальном платье и в золотой пелерине,
откусывает от батона, закусывает шоколадкой
и громко плачет.

* * *

темнота. усталость. вечер. сыр. календарь, залистанный до дыр.
я листаю, рву и говорю: нет во мне почтения к декабрю.
нет во мне почтения вообще, нет во мне прочтения вещей,
нет со мной таких календарей, где листы белее декабррей.
где рукою пишется строка, где вручную впишутся срока,
где я буду первым на земле, кто плывёт на этом корабле.
кто идёт по этим декабрям, кто поверил сам календарям,
кто живёт, ни в чём не отразим, посреди никем не житых зим.

* * *

Я хочу, чтоб меня звали Джон и Мэри.
И струилась жизнь моя в английском доме,
Где кудрявы резеда и земляника
И камин в библиотеке после чая.
Я хочу, чтоб меня звали Джон и Мэри.
Я б тогда пришел домой с охоты рано
И спросил: скажи мне, Мэри, что случилось?
Почему ты вся в расстройстве, дорогая?

И ответила бы я: послушай, милый.
Я сегодня повстречала незнакомца.
Он ходил у нас по лесу, как лесничий,
И смотрел на все деревья, как разбойник.
Я ходила собирать коренья маме,
Ты ведь знаешь, мама нынче приболела,
Я ходила, чтоб набрать грудного сбора,
Но внезапно повстречала незнакомца.

И тогда бы я ответил: дорогая,
Ну какая тебе разница, скажи мне,
Кто там ходит по опушке за калиткой,
Если крепко спит мой пёс напротив дома?
Но сказала бы я: Джон, послушай, милый,
Незнакомец этот в куртке и без шляпы,
По плечам его безбожно выются кудри,
А глаза его зелёные, как листья.

Я хочу, чтоб меня звали Джон и Мэри,
Я почувствовал бы легкую досаду –
У меня глаза, как небо, голубые,
И у Мэри, точно небо, голубые.
У меня не выются волосы, конечно,
И конечно, не хожу я в лес без шляпы,

И ответил я бы так: послушай, Мэри,
Не ходила б ты по лесу, дорогая!

Я не знаю, кто там ходит за опушкой,
Я сегодня же пойду туда с собакой.
Я сегодня же возьму с собой дубинку
И ружьё. И не волнуйся, дорогая.
Я вернусь совсем не поздно, прямо к чаю,
Прямо к чаю я вернусь, ты слышишь, Мэри?
Ты же можешь вышивать пока в гостинной
Или печь пирог с черникой и корицей.

Я хочу, чтоб меня звали Джон и Мэри.
Я тогда скорей бы Джона проводила
И дала ему с собою бутерброды,
Термос кофе и большой пакет печенья.
И рукою бы подольше помахала,
У окна печально стоя, как невеста,
А потом бы быстро-быстро побежала
Отпереть калитку ту, что в лес выходит.

И впустила бы скорее незнакомца,
Терпеливо ожидавшего мгновенья,
Чтоб войти в мой чистый дом почти беззвучно,
На ходу снимая куртку без застёжек.
По плечам его безбожно вьются кудри,
А глаза его зелёные, как листья,
У меня глаза, как небо, голубые,
И у Джона, точно небо, голубые.

Я хочу, чтоб меня звали Джон и Мэри.
Незнакомец бы ушел от нас до чая,
Ну а к чаю бы, конечно, Джон вернулся,
Джон ни разу не нарушил обещаний.
Я сказала бы: готов пирог с черникой!
И на стол пирог поставила бы быстро,
И уселся бы мой Джон удобно в кресло,
И курил бы в нём, в окно спокойно глядя.

Я хочу, чтоб меня звали Джон и Мэри.
Я сказал бы: не нашел я незнакомца!
Ты, наверное, любимая, ошиблась –
Не растёт у нас в лесу зеленоглазых!
Я искал его везде и даже больше,
И собаку я пускал ему по следу,
Но собака не хотела потрудиться
И всё время поворачивала к дому.

Не бывает, не бывает, не бывает –
Я кивала бы в ответ бездумно Джону,
А по лесу в это время незнакомец
Быстро шёл бы, сапогом пиная листья.
Я хочу, чтоб меня звали – Джон и Мэри.
Хоть по правде я, конечно, – незнакомец,
Что идёт сейчас по лесу, чуть шатаюсь,
Головой кудрявой задевая ветки.

Я иду себе по лесу, чуть шатаюсь,
Головой кудрявой ветки я тревожу,
Ни о чём не в силах думать, кроме неги,
Из которой выход есть, но он – далече.
И когда в кустах щелчок раздастся резкий,
Упаду я, не заметив расстоянья,
И зелёные глаза мои закрою,
И тихонечко скажу себе «спасибо».
Я лежу себе в траве среди деревьев.
Мне печально, мне удобно, мне спокойно.
Я иду себе домой, позвав собаку,
Мне довольно, мне удачно, мне спокойно.
Я сижу себе в гостиной после чая,
Мне уютно, мне печально, мне спокойно.
Я хочу, чтоб меня звали – Джон и Мэри.
А то что это за имя – незнакомец?

КРУГОВОРОТ

Я выдам замуж старшую дочь и перестану спать.
Прекращу выходить из дома, чтоб не пропустить звонка.
«Маленькая», «не справится»,
«не захочет, не будет, заплачет» –
папы нету, бабушки нету, кто её заберёт?

Я выдам замуж среднюю дочь и переселюсь под дверь.
Вдруг она возвратится ночью? Мы будем жить,
как погорельцы, не засыпая, чтобы услышать стук.
«Маленькая», «не справится»,
«не захочет, не будет, заплачет» –
няни нету, горничной нету – кто её впустит в дом?

Я выдам замуж младшую дочь и лягу в её постель,
Мне будет уже безразлично, о чём шумит коридор, –
Мой невозможный ребёнок повсюду заходит без стука.
Не запирай, пожалуйста, двери: вдруг она снова забыла ключи.

А поздней ночью, когда дела отпустят меня к бессоннице,
Когда я сильно устану ждать, слушая тишину,
Я позову тихонько: заберите меня отсюда кто-нибудь.
Но папы нету, бабушки нету – кто меня заберёт?

ФОТОАЛЬБОМ

Новый директор школы гораздо моложе,
Чем предыдущий. Старый сошел с ума:
Вообразил, что он – цирковая лошадь
И теперь гарцует у цыганского ресторана.
Кругом зима,
На улице ни души,
Скоро, наверное, у него заболит спина.
У половины учащихся обнаружены вши,
А у другой половины ни совести, ни стыда,
Что, вообще-то, странно.
Откуда берётся совесть?
Наверное, в детстве её прививает мама.
Она говорит: какая печальная повесть
Про двух влюблённых. И плачет взахлёб сама,
Беда. Устала.
А сын глядит на картинку в книжке,
Где юная девушка умирает (о чём и плач),
И понимает – зря он признался Мишке,
Что любит Катю. Мишка такой трепач,
А в классе ветер. Директор толкает речь.
Старый директор умел говорить короче.
Есть зато плечи среди одинаковых плеч,
На которые смотришь, и мир улетаёт прочь
До глубокой ночи.
Катя – не совесть, Катя – моя душа,
Я её одену в свой полосатый плед.
Новый директор школы кричит, спеша
Сказать всё сразу. Ему не пятнадцать лет,
Он никогда не видел, как Катя пьёт,
Запрокинув голову, горлом идя к воде,
Как она смеётся,
Как руку мне подаёт
И как потягивается, за партой устав сидеть.
А рядом стоят первоклашки,
Смешной народ.
Новый директор с ними еще не знаком,
Он их считает по головам, как барашков,
И каждого спрашивает, будет тот моряком

Или танкистом.
В семь невысоких лет
Я как-то задумал убить своего отца,
За то, что он сломал мне велосипед,
Паркуя задом лиловый Опель-Кадет
Возле крыльца.
Как неказисто
Выглядит человечек, глядящий вслед
Чему-то летящему, уходящему, беспредельному.
Катя смеётся «на небе уроков нет»,
Велосипеды не продают без денег.

Новый директор школы упорный очень,
Трудится честно и даже с каким-то кайфом.
Он свою речь учил наизусть полночи,
А вторые полночи репетировал перед шкафом.
Он произносит слова и твердит «доколе»,
У него есть учёная степень или две.
И думает он, слова говоря о школе,
Что хорошо бы сейчас гонять молодого колли,
Светло-рыжей шубой мелькающего в траве.

Михаил Книжник

«ОТВОРИТЕ МНЕ ВРАТА...»

МОЛОКОМ И МЕДОМ

...Но все воспоминания начинаются через год после приезда. А где он, первый год? Нету. Стерт. Умные внуки Фрейда называют это «вытеснением». Но кое-что все же зацепилось за опоры моста, сохранилось, не унесено потоком.

Через месяц после приезда мы продолжали жить у приятелей, отношения с которыми день ото дня портились. Совместное проживание – сильное испытание для любых отношений. Дни шли, а квартира никак не снималась: сроки, цена, место – где-нибудь обязательно таился подвох.

До появления в нашей жизни интернета оставалось еще долгих три или четыре года. А обзвон газетных объявлений казался нам тогда недостаточно активной формой поиска.

В какой-то момент мы с женой решились на отчаянный и бессмысленный шаг, мы вышли на улицу искать себе квартиру.

Августовское солнце разогревало бело-розовый камень домов, тени разросшихся деревьев казались черными на таком фоне. В Гило живут люди вполне благополучные, но вынужденные для этого много и тяжело работать, поэтому мы шли по пустым и безмолвным улицам, залитым солнцем. Нам все нравилось вокруг, но не было ни одной живой души, с которой можно было обсудить аренду квартиры в этом замечательном месте.

В одном из дворов я увидел крытый фургон с зияющей пастью, в которую мои коллеги-грузчики носили из подъезда мебель и картонные ящики. Никто мне, конечно, объяснить не смог, сдается ли освобождаемая квартира и где хозяин.

Мы продолжили наше бесплодное хождение, устали и решили вернуться. На обратном пути мы снова заглянули в тот двор, надеясь, что за дверью освободившейся квартиры нас ждет ее владелец, готовый заключить нас в свои объятия.

На звонок мне никто не открыл, и я спустился во двор. Жена, усталая и несчастная, сидела на лавочке. На невысоком каменном заборе лежали три веника. Три новеньких сорговых веника, с ручкой в перетяжках и тугим треугольным опалом с редкими блестящими зернышками на прутьях. Хорошие веники, словно только что с Алайского базара.

– Давай возьмем, – предложил я.

– А на фига нам, у нас и дома-то нет, – ответила мне жена известной цитатой.

Так с тремя вениками под мышкой мы и зашагали в сторону нашего жилища.

«Мерседес» обогнал нас и прижался к тротуару, из него вышел чернявый человек с тонкими усиками и крикнул:

– Веники почему?!

Неделю назад самолет перевез меня из бесприютного Ташкента в бесприютный Иерусалим. На мне лежала ответственность за трех людей. Я был в полном замешательстве. Я даже не знал, что «мерседес» выпуска 70-х – это колымага, на которой ездят пожилые арабы или вот такие мои земляки, находящиеся под многолетним гипнозом слова «мерседес».

– По десять шекелей, – ответил я, стараясь не смотреть на жену.

– Скажи: «Пара – пятнадцать», – предложил он, похоже, тоже почувствовав себя на Алайском.

Через несколько дней мы сняли квартиру там же, неподалеку. И успешно ее подметали оставшимся у нас третьим веником. Потом он растрепался, стерся и исчез, как исчезает жизнь – среди хлопот, экзаменов, переездов.

БАЗАРНЫЙ ОРАКУЛ

Середина девяностых. Мы считанные месяцы в стране. Перспективы туманные. Недостающие для оплаты съемной квартирки и пропитания семьи деньги, выплачиваемые государством, восполняю уборкой квартир и офисов.

Когда по черно-белому телевизору, который вместе со стареньким диваном и шестью потертыми стульями нес ответственность за строчку «с обстановкой» в объявлении, прервался показ знакомого нам по прежней жизни фильма про Данди-крокодила и начался сбивчивый репортаж с тель-авивской площади Царей Израилевых, на которой происходило что-то многолюдное и судьбоносное, от нас потребовались огромные усилия, чтобы понять, что вскорости эта площадь получит имя Рабина.

По четвергам чищу-блищу бухгалтерскую контору, занимающую квартиру в жилом доме на улице Штрауса, как раз на незримой границе между городом светским и городом религиозным.

Эту подработку мне спроворил Миша, сосед. Он приехал не в нашу волну, в предыдущую, из Ленинграда, он подбит ветерком, ездит на автобусе на службу в ту самую контору, где я убираю, а он работает бухгалтером. По совместительству Миша облечен властью в нашем шестнадцатиквартирном доме: собирает с жильцов деньги и нанимает уборщика подъездов и садовника для небогатого палисадника. У него красивая, но поблекшая жена и две дочки. Миша гордится тем, что издал руководство «Как играть на бирже».

И я никак не могу взять в толк, чему может научить этот явно бедный и неуспешный человек, хотя мне уже хорошо за тридцать и пора бы понять, что поучать и уметь – разные занятия.

За уборку я получаю наличными и иду на Маханэ-Иегуда «делать базар» на неделю для моего еще не разросшегося семейства.

Иерусалимские старожилы удивлялись, откуда я знаю на базаре все заветные лавочки и специальные места. Рецепт прост: нужно было раз в неделю делать покупки на семью, укладываясь в 65 шекелей, правда, не сегодняшних – тех, середины девяностых.

А еще у меня в сумке была специальная веревочка. Это мой личный патент, делюсь им безвозмездно. Чтобы потом в автобусе не ползать между ногами пассажиров, собирая раскатившиеся картофелины и луковицы, пакеты нужно связать, продев веревочку через ручки. И тогда всю долгую дорогу до Гило мешки простоят незыблемо, как памятник нашей впертости.

И вот однажды, проходя мимо мясной лавки в ответвлении главной базарной магистрали – улицы Древа жизни, я спросил хозяина об индюшачьих задницах. Мы тогда не обнаружили еще настоящий курдюк и придумали заменять его в плове курдюком индюшачьим. Получалось совсем недурно и дешево.

– Есть, доктор, есть! Сколько тебе нужно? – заорал хозяин лавки.

Я опешил. На тот момент в Иерусалиме о том, что где-то в другой стране я когда-то работал врачом, знали, кроме моей жены, человека три, ну от силы – четыре, и лавочник в их число не входил. А уж уверенность, что я когда-нибудь снова войду в операционную, только у моей жены и была.

– Нет, скажи, ты доктор, доктор?! – в страшном возбуждении кричал мясник, выбежав из-за прилавка.

– Да, – скромно согласился я.

– Как я узнал?! Нет, как я узнал?!

– Не знаю, – честно сознался я.

– А я недавно лежал в «Шаарей Цедек», так там все такие, как ты!

Спустя полгода я начал служить в больнице «Шаарей Цедек» и проработал там восемь лет.

Названа она так по строчке из Давидова Псалма «Отворите мне врата правды».

ВСЕ СВОИ

Ему лет сорок, в операционную, точнее – до той нарисованной поперек коридора красной полосы он въехал, сидя на кровати по-турецки, окруженный развеселой компанией.

После операции я, как положено, вышел к семье.

Он напутствовал меня:

– Рассказывай только Лиоре, остальным не рассказывай.

В лобби томились две женщины. Компания рассосалась. Разговаривать с семьей всегда нужно аккуратно. Прежде всего – успокоить. А потом осторожно так поинтересоваться, кем приходится больному вставшие тебе навстречу люди. Размашистые решения чреватые в лучшем случае неловкостью. Скажешь «мама», а это жена, скажешь «дочка», а опять попадешь на жену.

Да и потом, израильтяне потихоньку перенимают у американцев нелегкое, но прибыльное хобби – судебные тяжбы с врачами.

Я знаю по меньшей мере двух адвокатов, которые не поленились для этих целей получить медицинское образование.

Дамы представились просто:

— Я его прежняя жена, а это его подруга.

— Кто из вас Лиора?

Оказалось — бывшая. Я вопросительно посмотрел на нее, и она поняла мой взгляд.

— Рассказывай, при ней можно.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Пациентка приехала в Израиль страдать, лечиться, а может быть, и умирать. Была она из провинциального города, расположенного в том краю, где из-под земли добывают главный источник российского благополучия. А как говорил один старый еврей, кто в аптеке работает, тот всегда вату имеет. Интересно, что говорил он это в Ташкенте, где уж чего-чего, а недостатка в вате никогда не было. Каждый год шесть миллионов тонн этого добра, включая приписки, вызревало под нежадным местным солнцем. Присловье, судя по всему, он привез в бедном своем багаже из иных краев, где хлопок не растет.

Короче, деньги у пациентки были. Поэтому когда у себя там, в богатом недрами краю, ей сказали, что кровоточащая гуля у нее в желудке не что иное, как рак, то она не стала долго собираться.

В аэропорту ее встретил парень, она списалась с ним по интернету, кликнув на первую строчку в списке, который ей выдал поисковик.

Приехала к самой войне. Тель-Авив, конечно, не Сдерот, но и там периодически выла сирена и девочки в хаки из Службы тыла на смешном русском языке, на котором в России рассказывают еврейские анекдоты, объясняли постояльцам «Хилтона», куда бежать, когда завоюет, и сколько есть времени, чтобы добежать.

Пациентка обстрелов боялась, но не больше, чем окружающие ее израильтяне, и не больше, чем уготованных ей страданий. А пока ни шатко ни валко проходила обследование и готовилась к мукам. Сделали ей анализы крови, компьютерную томографию, засунули всевидящую кишку через рот, а по прошествии нескольких дней — наоборот. Потом доктор, который говорил по-русски получше тех солдаток, но все равно — иначе, с другой музыкой, помял ей живот и прописал какие-то таблетки.

Она ходила по вечерам, когда спадала жара, по набережной, смотрела на море или на тусующуюся, несмотря на войну, молодежь, на стариков на лавках. Ходила, думала, примеряла на себя разной продолжительности и тяжести варианты ее предстоящей жизни.

Прошла неделя, и ей снова засовывали всевидящий шланг. И когда она отдремалась, откашлялась и отплевалась, то все тот же доктор сообщил ей, что никакого рака у нее нет. Была язва, но и она зажила. Гемоглобин, который выше шестерки уже год как не поднимался, сейчас подбирается к десятке, и есть все шансы, что

доберется. Она может возвращаться домой. Правда, с некоторым запасом таблеток.

В кафе у больницы ее ждал тот, выданный поисковиком. Все это время он возил ее, заказывал очереди, переводил с иврита. А иногда помогал переодеваться перед процедурой или кормил – после.

– Завтра еду в Иерусалим. Молиться буду, – сказала она.

– Нет проблем, будет вам экскурсовод, – ответил он. – А у нас, похоже, война заканчивается.

Она хотела что-то сказать, но губы шевелились с трудом, то ли от волнения, то ли анестезия еще не прошла.

Назавтра, ближе к ночи, ему позвонил экскурсовод и сказал, что вернулся один, пациентка решила провести ночь в Иерусалиме, в монастыре, в молитве.

Она позвонила дня через три, когда он размышлял, не отправиться ли ему на поиски или лучше перепоручить это израильской полиции, и сказала, что не вернется.

Юлия Винер

*МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ**

В городе Павлово-на-Оке делают автобусы. Делали их там и шестьдесят лет назад. Вот тогда-то я и провела там два летних месяца в качестве корреспондента местной газеты, названия которой уже не помню. Я очутилась там не потому, что автобусы как-то особенно меня интересовали, но и не совсем случайно.

Началось с того, что приятельница со старшего курса нашего ВГИКа позвала меня попутешествовать с ней и еще с «одним человеком» по реке Оке. «Одного человека» я не знала, а когда он появился, сразу почувствовала, что между ними существуют некие сложные романтические отношения. Мне бы не ехать с ними, не быть при них третьей лишней, но они очень уговаривали, не хотели ехать вдвоем, для чего-то я была им нужна. Видимо, в качестве буфера. А мне очень хотелось постранствовать по среднерусской природе, которую я любила, но, будучи сугубо городской жительницей, очень мало знала. И я дала себя уговорить. А между собой, решила я, пусть сами разбираются, мое дело сторона.

Официально это считалось очередной институтской практикой по «сбору материала» для будущего сценария, но «материал», внутри которого я очутилась с самого начала нашего путешествия, представлял собой такую запутанную, нечистую психологическую драму, что сценарий на его основе никак не приняла бы в те времена никакая комиссия.

Мы пробирались берегом вниз по Оке с рюкзаками на спине, ночевали в прибрежных деревнях, иногда проплывали десяток-другой километров то на попутном катере, то на грузовой барже. Кругом было чарующе прекрасно. Но нашему маленькому коллективу было не до красот природы. В нем кипели «отношения». Ситуация осложнялась двумя факторами. Помимо личных несогласий, между моими спутниками имелись серьезные идеологические расхождения. Он был молодой литературовед с первыми зачатками будущего диссидентства. А она была комсорг своего курса. Неглупый комсорг, «с человеческим лицом» и с сомнениями, но, однако же, комсорг. Споры между ними порой принимали нехороший характер, с ее стороны по его адресу слышались неопределенные намеки с оттенком угрозы.

И все же, несмотря на все их междоусобицы, мои спутники представляли собой пару. Между тем с самого начала путешествия молодой человек стал проявлять ко мне повышенное внимание. Это была довольно интересная личность, впоследствии он даже приобрел известность в литературно-диссидентских кругах. Но мне его внимание было не нужно и некстати. Мне только сцен ревности с моей подругой не хватало! Вовсе мне не улыбалось

* Истории из цикла «Былое и выдумки» были опубликованы также в «ИЖ» №№ 40, 44, 46, 47.

служить таким между ними буфером. И это был второй негативный фактор.

Я начала подумывать о том, чтобы расстаться с моими спутниками, не знала только, как сделать это потактичнее.

Миновав небольшой город Павлово, мы остановились на ночевку у бакенщика по имени Федор Михалыч. Его изба, стоявшая на самом берегу, была довольно просторная и состояла вся из одной комнаты. Там мы все и спали — Федор на лавке, мы в своих спальнях мешках на подстеленной соломе, а в углу коза, изредка позванивавшая своим колокольчиком.

Этой ночью произошел неприятный инцидент, который и заставил меня окончательно решиться. В темноте, в окружении спящих людей, боясь произвести шум, мне пришлось отбиваться от настойчивых знаков внимания нашего молодого человека. Кончилось тем, что мне удалось встать и выйти наружу.

Дождавшись рассвета, когда Федор выезжал гасить бакены, я подошла к нему и попросилась пожить у него недельку, пока мои друзья сходят в Горький. Простота, с которой Федор принял мою просьбу, тогда меня ничуть не удивила, а теперь кажется поразительной. Молодая девица из Москвы ни с того ни с сего просится пожить к незнакомому бакенщику. И сама я не видела ничего странного и тем более опасного в том, чтобы прожить несколько дней и ночей у одинокого сорокалетнего мужчины в его избе посреди полного безлюдья.

Ничего опасного и не было. Ни малейших покушений на мою девичью честь. Федор относился ко мне очень дружелюбно, сам вызвался кормить меня своей едой и отказался брать за это деньги. Я выложила из рюкзака, что у меня было: кило пшена, две плитки шоколада и купленную в Павлове буханку хлеба.

Мы ходили с ним на рыбалку, он варил из молоденьких, нежных стерлядок тройную уху, которую я, обычно не переносившая даже запаха рыбы, хлебала с наслаждением. Лишь значительно позже я узнала, какова была бы цена нашему простецкому обеду, если бы есть его не в среднерусском захолустье, а в каком-нибудь изысканном парижском или нью-йоркском ресторане.

На второй или третий день Федор спросил, нравится ли мне козье молоко. Я сказала, что очень. Ну вот и подои ее, предложил он. Коза была немолодая, смиренная, но меня признавать не желала. Едва я легонько касалась пальцами ее вымени, она кротко отходила в сторону.

— Не могу, Федор Михалыч, она меня невзлюбила! — крикнула я в отчаянии.

— Федор Михалыч... — он рассмеялся. — Не невзлюбила, а уж больно ты вежливая. И с козой, и со мной. С козой надо тверже обращаться. А со мной... Чудная ты девка. Я тебя Юлей зову и на ты, чего ты мне всё «вы» да «Федор Михалыч»? Или у вас в Москве все только на вы говорят? Просто Федя я, и никаких тут.

Я смутилась и удивилась:

— Ну как же... Вы ведь взрослый, старший...

— Взрослый? А ты кто, дитя малое? Вон какая вымахала, невеста уже.

И я вдруг впервые в жизни с полной отчетливостью осознала, что я действительно — взрослая. С сожалением поняла, что ника-

ких послаблений на нежный возраст мне уже не положено. А с другой стороны, нечего мне перед Федором ежиться, могу разговаривать с ним на равных.

– Да, Федя, конечно. Ты прав.

Я снова села на табуретку и твердой рукой подоила козу.

Я рассказывала ему про Москву, про кино, про то, как делают фильмы. Москва не вызывала у него особого интереса, но про кино он расспрашивал с увлечением. Будущую мою профессию, сценарист, он понять и принять не мог. Однажды спросил:

– Ты будешь делать про меня кино?

– Нет, Федя. Сама я кино не делаю, я только учусь писать сценарий, ну, рассказ, историю, что ли. Основу. А делает режиссер, а снимает оператор. И играют актеры. И еще много всякого народу занято в производстве, десятки людей.

– Ну, режиссер, я понимаю, начальник надо всеми. Оператор, тоже понимаю, что режиссер ему скажет снимать, то и снимает. Актеры – само собой. Но сценарист, он тут зачем? Кино-то режиссер делает, вот пусть и делает про то, что ему самому интересно, на кой ему чужая какая-то основа?

Сказать по правде, в глубине души я была согласна с Федором. И только из самолюбия защищала свою будущую профессию, к которой и сама не питала исключительного пристрастия.

Жизнь моя у бакенщика была безоблачна и пасторальна. У меня не было никаких обязанностей, кроме как сполоснуть в реке миски после обеда. Книг в доме не было. Телевизора не было. Телефон только для связи с диспетчером пароходства. Радиотарелка на стене была, но по большей части молчала. По утрам я купалась в реке – голая. Над водой стоял такой густой пар, что в трех шагах никто меня не мог увидеть – да и некому было смотреть. Я бродила по лесу, объедалась дикой малиной и ежевикой, приносила полные корзины Федору – его жена в деревне отвозила ягоды на продажу в город.

Больше всего мне запомнилось, как Федор мгновенно вылечил меня от жестокой простуды. Простуда была такая, что я не могла отнять платка от носа. В груди клокотало, в голове стучал молот. Ноги подо мной подгибались – я вся горела в жару. Ближайший медпункт находился в деревне, в десяти километрах. Федор часто ездил на велосипеде в деревню к жене, но мне было туда не добраться. «Да и незачем тебе туда, – сказал Федор, – ничего не помогут. Сам тебя буду лечить».

Он ушел и вернулся с охапкой корней и веток шиповника. Нагрел в печи воду и в большой лохани залил корни и ветки кипятком. Вытащил из сундука старую шинель, подождал минут пять, затем велел мне:

– Раздевайся и полезай. Я не смотрю.

Он отвернулся, я разделась, попробовала ногой воду – она обжигала.

– Горячо!

– Ничего, ничего! Полезай.

В конце концов я сделала, как он велел. Горячо было нестерпимо. А он подошел и, не глядя, накрыл лохань и меня с головой шинелью. Сказал:

– Дыши!

На следующее утро я встала совершенно здоровая. Чувствовала необычайный прилив сил. С тех пор мне никогда больше не доводилось париться в шиповниковой бане, а жаль!

Ближе к вечеру Федор брал меня с собой в лодку и велел грести. Хватало меня ненадолго, он садился на весла сам, и мы ехали зажигать бакены. В его распоряжении было полдюжины бакенов и небольшой маяк на берегу в том месте, где река делала крутой извив. Он показывал мне, как зажигать, два раза даже давал мне это делать самой. Кивал одобительно:

– Ничего, соображаешь.

Мне до того понравилась бакенщицкая жизнь, что я однажды спросила его, берут ли в бакенщики женщин.

Он снисходительно рассмеялся:

– Тебя, что ли? Ну уморила! Да ты хоть представляешь себе, что это такое?

– А как же, ты ведь меня научил.

– Научил! Да ты до первого бакена едва догребаешь! А если гроза, буря? За ночь по три раза проверять, чтоб не погасли? Если все бакены придется переставлять с места на место? А если лодка прохудится? А продукты из сельмага таскать? А печь растопить можешь? А с начальством разбираться? А если недобрый человек заглянет, что будешь делать? Никто ведь не поможет. А зимой? Я после ледостава домой ухажу, в колхоз, а ты куда? В Москву уедешь? Вот ты, московская, и занимайся своими московскими делами, а меня не смей.

Я, разумеется, не планировала себе карьеры бакенщицы, спросила так, из любопытства. Мне стало неловко, и я сказала единственное, что мне пришло в голову:

– А я и не знала, что у тебя начальство есть. Думала, ты сам по себе.

– Ну как же, без начальства не бывает. Где это ты кого видела, чтоб сам по себе?

Пора было сниматься с места. Зажилась я у Феди – целых десять дней. Спутники мои сильно задерживались. Я как-то представила себе длинную обратную дорогу в их обществе и поняла, что дожидаться их не хочу. Беда была в том, что общие фонды они увезли с собой, и у меня почти не оставалось денег. На возвращение домой никак не хватало. Я спросила Федю:

– А что, в Павлове есть какая-нибудь работа?

– Работы полно! Автобусный завод есть и мединструментов. На работу хочешь устраиваться? – он рассмеялся. – На какой завод пойдешь?

– На завод не пойду. А газета там есть?

– Да как же без газеты? Газеты везде есть.

– Большая, маленькая?

– Как тебе сказать. До «Правды» не дотягивает, но пара листов есть. Одну селедку завернуть можно. А тебе зачем?

– Может, в газете поработаю. Деньги очень нужны.

– Де-еньги! А что друзья твои, у них тоже нету?

– У них есть, – сказала я угрюмо.

– Поссорились, что ли?

– Нет, не поссорились, а так.

– Ясно. А тебе много денег надо?

– Много. Домой хочу вернуться.

– Ну, тут у меня вообще денег нет. И зарплата только в конце месяца. Хочешь – жди, дам займы.

– Нет, Федя, не надо, спасибо. Справлюсь как-нибудь.

– Их дожидаться не будешь?

– Не буду. Приедут – скажешь им, что уехала в Павлово. Спросят зачем – скажи, не знаю.

– Ну, смотри сама.

Я чувствовала, что Федор мое решение не одобряет. Но он ничего больше не сказал, вывез меня на середину реки, остановил шедший мимо катер и посадил меня на него, крикнув в рупор:

– Эй, Санька! Митёк! Принимай пассажира! Пассажир бесплатный!

И катер бесплатно довез меня до Павлова.

Очень хороший был человек, бакенщик Федор, понимающий, тактичный, к тому же непьющий. И мата при мне не употреблял. Я только позже оценила его как следует, а тогда слишком занята была собой и своими проблемами. На прощание он сделал было движение, чтобы меня обнять, но я и этого не заметила, сообразила лишь уже на борту. И только помахала ему рукой.

Судя по размерам газеты, редакцию которой я быстро отыскала в Павлове, ее могли бы свободно делать три человека, ну, максимум четверо. Она, однако, занимала весь второй этаж старого деревянного здания, и у нее имелся полный штат сотрудников – машинистки, корректоры, редакторы, собкоры, оформители, секретарши, специальный человек для ответов на письма читателей. Ну и, конечно, главный редактор. С помощью своего неопределенного командировочного удостоверения я к нему пробилась.

Встретил он меня с досадливым недовольством:

– Командировка из ВГИКа? Это кино, что ли? А от меня что вам надо? Я не по этой части.

Но когда я предложила ему написанный мной очерк о жизни и работе бакенщика, он сразу оживился:

– Бакенщики! Неприметные, но столь необходимые труженики нашего речного транспорта! Отлично! Беру! А что у вас еще есть?

Я объяснила, что пока у меня ничего больше нет, но я собираюсь остаться в городе на некоторое время и готова снабжать его очерками на любые интересные темы.

– Отлично, отлично! Как раз очеркисты у нас слабоваты. Поддержка столичного товарища нам очень кстати. А вы уже устроились, остановились где-нибудь?

Узнав, что я только что приехала, он позвонил в гостиницу, и там обещали мне место.

Направляясь в гостиницу, я со страхом думала об этом «месте». Сколько оно может стоить? Денег оставалось так мало, что могло и не хватить. Вот позор будет! Редактор сказал, деньги за очерк заплатят через пару дней. А что есть и пить до тех пор? И я не пошла в гостиницу, а отыскала тихий, пустой вокзал узкоколей-

ки, несколько скамеек под навесом, но без стен и там продремала всю ночь. К рассвету так продрогла, что отправилась бродить по улицам в поисках какой-нибудь пищевой точки. Все было еще закрыто, и я успела обежать практически весь город, пока не наткнулась возле пристани на рабочую столовую, которая как раз открывалась.

И здесь мне замечательно повезло. В этой утренней столовой был и суп, и гуляш, и чай. И все это я бы съела и выпила, но тогда денег не осталось бы совсем. И я попросила чаю с булочкой. Подавальщица, жуткая расплывшаяся баба, посмотрела на меня и сказала:

– Чаю ты хочешь? А щей мясных не хочешь?

– Очень хочу, но не могу, – честно призналась я.

– И откуда они такие берутся? И всё на мою голову! – сердито сказала баба и принесла мне полную до краев тарелку жирных горячих щей с большим куском мяса. Потом заплатишь, сказала.

Здесь же, в столовой, еще полупустой, я накатала очерк со страстным описанием этой столовой, какую заботу там проявляют о рабочем человеке: какая вкусная, свежая там еда, какая чистота и порядок, и главное, какая приветливая и расторопная подавальщица Настя.

– Чего ты там строчишь? – спросила подавальщица. – Учишься, что ли? У меня вон тоже дочка в Горьком учится, тоже небось голодом ходит. Ладно, если совсем оголодаешь, приходи.

– Отлично, отлично! – сказал редактор, пробежав мое новое сочинение. – Этак мы, глядишь, сможем открыть постоянную рубрику! Что-нибудь вроде «Скромные труженики нашего города», а? Только побудьте у нас подольше. Вы сможете давать нам по короткому наброску, скажем, три раза в неделю? Но теперь вам следует обратиться к кардинальной нашей тематике. Заводской. Наш город славен своими ремеслами, но более всего – своими крупнейшими промышленными предприятиями...

И я отправилась на одно из крупнейших – автобусно-сборочный комбинат. Все большие детали автобусов делали где-то в другом месте, а здесь их собирали и снабжали мелкими деталями, которые производились тут же.

В огромном, похожем на ангар цехе стоял невообразимый грохот. Приставленный в сопровождающие начальник смены хотел водить меня по цеху и надрывался, пытаясь объяснить процесс работы. Я ничего не слышала и не понимала, но мне это было и не нужно. Я сразу же увидела издали подходящую героиню для моего будущего очерка. Небольшого роста худая женщина, лет под пятьдесят, подкладывала металлические пластины под многотонный бухающий пресс. Подложила – пресс бухнул вниз и тут же вздернулся вверх. Из пластины получилась решетка. Ее нужно вынуть, поместить в ящик, скинуть обрезки и подложить новую пластину. Все это за те секунды, пока пресс не грохнулся снова вниз. Женщина двигалась с размеренной четкостью автомата, лицо у нее было бесстрастное, отсутствующее. Я смотрела на нее с восторгом и страхом.

В обеденный перерыв начальник смены подвел меня к ней.

– Тут с тобой, Паша, корреспондент из Москвы хочет побеседовать.

Руки и губы женщины слегка подергивались, она посмотрела на нас тем же отсутствующим взглядом. Но быстро оправилась и спросила:

– Из Москвы? А чего со мной-то?

– Она тебе сама скажет.

– А как же обед? Мне бы поесть надо.

– Обойдешься разик, ничего тебе не сделается.

Я вмешалась:

– А вы не можете отпустить Пашу со мной на пару часов? Здесь разговаривать невозможно. А мне необходимо с ней поговорить.

– Ступай, Паша, – великодушно разрешил начальник, – гуляй уж до утра! Да смотри только поаккуратней там, не опозорь наш завод!

– Вот спасибо вам, вот спасибо! – говорила женщина, ведя меня по моей просьбе к себе домой. – Хоть отдохну маленько. А то руки всё трястись хотят, а мне нельзя никак, неровен час, совсем без рук останешься.

– Зачем же вы пошли на такую работу? Слабая женщина!

– Да я сильная, всякую работу могу делать. Кем только не была! И формовщицей, и разметчицей, и на конвейере, кузнецом даже. Начальством только не была. Тридцать лет тут тружусь, сразу после школы. А как Сергею-прессовщику пальцы отдало, меня на пресс и поставили. Ты, говорят, Павлина Ивановна, аккуратная и внимательная, становись давай. Платят, правда, побольше, я и рада.

– Павлина! Откуда такое редкое имя?

– А как мамка с баткой назвали, так Павлина и есть. Был тут один ученый профессор, сказал, это, мол, испорченное «Паулина», не то немецкое имя, не то французское. Никто меня так звать не согласен, Паша и Паша. Один только муж покойный Павушкой звал... Да ладно, чего это я болтаю, вы ведь, наверно, больше хотите про производство? Надо же, молоденькая такая, и уже корреспондент...

Паша относилась ко мне так почтительно, что я просто не знала, куда деваться. Как объяснить ей, что я вовсе не хочу про производство, а хочу про нее? Как приступить к совершенно незнакомому человеку и расспрашивать его про его жизнь, про его мысли и чувства? Как это я, девчонка, с ходу полезу в душу к посторонней немолодой женщине? Корреспондентских навыков у меня не было никаких. Я не усвоила еще, что для краткого газетного очерка все это вовсе не нужно, достаточно поверхностного описания с добавкой там и сям живописных штрихов. Первые два мои очерка так и были написаны, потому и понравились редактору, но теперь я считала, что необходимо углубленное проникновение в Пашину судьбу.

Мы подошли к Пашиному жилищу. Это был длинный двухэтажный барак. Во всю его длину шел коридор, по обеим его сторонам комнаты, по комнате на семью. Паша жила на втором этаже, живу, сказала, барыней – одна на всей своей жилплощади. Там у нее был стол, два стула, комод и две кровати, обе тщательно засте-

ленные, с перинами, покрытыми розовыми тканевыми одеялами, со стоящими треугольным горбом подушками.

– Так вы все-таки не одна живете? – удивилась я.

– Это сыночка моего кровать, когда в отпуск приезжает. Витюня у меня моряк, настоящий, не речной! Вы присядьте, я сейчас чайку согрею. – Паша замялась: – Я бы вас пообедать пригласила, да уж не взыщите, какая у меня еда, картошка да огурцы, вы, наверно, кушать не станете.

Я бы очень охотно поела ее картошки, после утренних щей прошло уже много часов, но я догадывалась, что еда заготовлена на нее одну.

– Спасибо, я не голодная, а вы обедайте, не обращайтесь на меня внимания, я подожду.

– Да не, я уж потом. У меня теперь времени полно! Вы спрашиваете, чего хотели, я вам все расскажу про наш завод. Только на кухню сбегаю, чай поставлю.

Паша рассказывала, не про завод, конечно, а про свою жизнь, сперва с родителями в этом же бараке, потом, когда замуж вышла, завод дал отдельную комнату, вот эту самую, тут и сынок родился, перед самой войной. А с мужем мало пожила, до войны годика три всего, а с войны он раненый пришел, с пулей в легких, недолго поболел, да и не стало его... На заводе менялось начальство, менялись модели автобусов, менялось оборудование, а Паша трудилась все там же, покорно становилась на любые работы, не зная, да и не интересуясь, для чего они служат в общем процессе производства.

И так день за днем – из барака на завод, с завода в барак, ничего другого она в своей жизни и не знала.

Я слушала, кивала, записывала что-то, а сама с вождением смотрела на розовую постель. Как в ней, должно быть, уютно и мягко спать! Паша добрая женщина, если попросить, может, и разрешила бы. Но как попросишь? Она, кажется, видит во мне важную московскую гостью, считает, наверное, что я шикарно живу в гостинице. Нельзя просить... Видно, придется и эту ночь провести на скамейке. Надо срочно что-то придумать...

– Ой, дочка! Да ты спишь?

– Нет, нет, что вы. Я все слышу. Просто глаза прикрыла, мало спала ночь.

Паша смотрела на меня с сомнением:

– В гостинице, что ли? Небось забулдыги наши бушевали?

Я решила:

– Да нет, не в гостинице.

– Ай остановилась у кого? У знакомых, видать?

– Нет у меня тут знакомых. Нигде я не остановилась.

– Ой, да как же это? Неуж не пустили в гостиницу?

– Пустили бы, но... Просто я... у меня...

– Так ты совсем и не ночевала нигде? Ох ты, бедная... То-то я смотрю, ты мешок свой за спиной везде таскаешь. А на ночь-то куда пойдешь?

– Паша... я не знаю... Я хотела спросить вас...

– А то хочешь, у меня поночуй? Мне хоть поговорить с кем будет.

Какое счастье! Сама предложила! Не дожидалась моей просьбы, которую и выговорить никак не получалось!

– Хочу! Очень хочу! Ой, как замечательно! Только Паша... У меня... у меня сейчас денег нет. Но скоро будут, и я обязательно...

– Ну, деньги... Какие уж там деньги. Поночуй, пока надо, а там видно будет.

Очерк про Пашу я сочиняла с большим воодушевлением. Но одних восторгов, считала я, мало. Я написала, какая она безотказная труженица, как предана своему заводу, как регулярно перевыполняет план на своей тяжелой, опасной, совсем не женской работе. А затем описала, какой у нее трудный и убогий быт, «даже шкафа для одежды у нее нет, негде поставить, скучная ее одежда висит на двух гвоздях на стене». И дальше перешла к описанию всего барака, его тесных клетушек, его четырех закопченных кухонь на две сотни жильцов, его загаженного сортира в сарае во дворе. И спрашивала с недоумением: почему огромный, всесоюзного значения, богатый комбинат не может обеспечить своим работникам нормальные условия жизни?

Это мое сочинение редактор читал долго и вдумчиво.

– Ну что же, – сказал он. – Прекрасная статья, написано с большим вниманием к рабочему человеку. Сразу чувствуется столичная выучка. И критика, разумеется, дело необходимое. Есть только кое-какие вещи, которых вы не могли знать. Например, вот вы пишете про барак. Этот барак строился во время войны, под бомбежками, когда все силы напрягались для победы, об удобствах думать не приходилось. Так что...

– Да, но война кончилась десять лет назад. Неужели за все это время нельзя было построить...

– Построим, построим! В горсовете давно уже лежит прекрасный проект жилого корпуса для работников завода.

– Давно лежит? И долго еще будет лежать?

Редактор начал слегка раздражаться:

– Голубушка, не стоит иронизировать. Вы недостаточно знаете местную обстановку, чтобы иметь о ней объективное представление. Давайте-ка лучше пройдемся по вашему тексту, отполируем его – и в печать.

Я не считала, что мой текст нуждается в «полировке», но раздражать редактора было отнюдь не в моих интересах. Да и прав он был, я совсем не знала местной обстановки.

– Про Пашу вы чудесно написали, такие люди – наша гордость. И барак описан живо и неравнодушно. Только очень уж вы сгущаете краски. Называете, например, их комнаты клетушками. Или, скажем, «закопченные кухни». Или вот это, например, где сказано насчет сортира. Мы и слов-то таких в нашей газете не употребляем. Подумайте сами, ведь там люди живут, их может оскорбить такой взгляд на их жизнь. Так что это мы убираем. Смягчим в двух-трех местах излишне резкие формулировки, и готово!

Я трусливо согласилась. В конце концов, он опытный газетчик, он, наверно, лучше знает, как надо.

– Мы с вами работаем! – удовлетворенно сказал редактор. – Оставляйтесь у нас подольше. А к вам вот такая просьба: давайте побольше о молодежи, о культурной жизни города. Вот у нас очень активный дом культуры, там много интересного найдете.

И я писала о доме культуры, о всякой его активности, и о хоре учеников местного ФЗУ, проходивших практику на заводе медицинских инструментов, и о молодом милиционере-регулировщике, управлявшем негустым движением на центральной площади города, и о пекаре-ударнике, и о местном поэте – да о чем и о ком я только не писала!

По вечерам мы с Пашей затевали долгие ужины. Сперва стряпали в общей кухне, в толпе других хозяек, потом садились за стол – есть и разговаривать. Паша любила пиво, но не позволяла себе расхода, копила на посылку сыну, и я иногда приносила бутылку. Выпив и раскрасневшись, Паша говорила без умолку; можно было догадаться, что поговорить с сочувственным слушателем для нее – нечастое удовольствие.

Я спросила, не думает она ли она завести телевизор.

– А на кой мне? Смотреть, как хорошо живут другие люди? А как плохо – я и без того знаю. И телевизор, он знаешь, сколько стоит?

– Что же ты делаешь по вечерам?

– Всегда найдется, что поделать. Постирать, сготовить, прибраться. А то к подружке зайду посидеть. Когда и книжку читаю, если время выпадет. Я это люблю.

Я спросила, какие книжки она любит, что читала последнее время.

– Книжки люблю хорошие, добрые, про хороших людей. И чтоб кончалось хорошо. Мне тут подруга принесла «Далеко от Москвы», читала? Замечательная книга, видишь, какая толстая. Я люблю, чтоб толстая, надолго хватает. Очень утешная книга, утешает душу.

Сама я книгу не читала, но вспомнила не без неловкости все те циничные и пренебрежительные слова, которые говорились в моем интеллигентском окружении об этом классическом образце соцреализма. И подумала, что, значит, должно в книге быть что-то, если она утешает такие души, как Пашина.

Деньги капали понемногу. Гонорары газетные были весьма тощи. Их хватало на еду, на уплату Паше за постой (она отказывалась, но в конце концов взяла), на телефонный звонок в Москву. На обратную дорогу надо было еще копить и копить. А значит, еще писать и писать. Между тем мой первоначальный энтузиазм начал несколько остывать. Я уже набила руку на этих очерках, писала их по одной схеме, редактор был доволен, но мне слегка надоело.

В своих поисках сюжета я познакомилась с начальником пристани, о котором и не преминула написать. А он спросил, где я остановилась, и в благодарность за хороший отзыв предложил мне переселиться, бесплатно, в отдельную каюту на старом пароходике, пришвартованном к пристани и предназначенном на слом. Там жилали иногда командировочные, а сейчас никого. Суденышко маленькое и дряхлое, сказал он, а каюта капитана в нем просторная и удобная, и электричество есть. Вода и туалет, правда, только на пристани. Стоит оно тут давно и еще невесть сколько простоит. А вы покамест поживите, тут тихо и воздух свежий, не то что там, в бараке.

Я обрадовалась. Мне действительно было тесно и душно в Пашиной клетушке, да и не платить ей я не могла. А тут бесплат-

но. И я побежала собирать вещи. Паша была на работе, я написала ей записочку и совсем уже готова была уйти, как вдруг вспомнила об одном весьма постыдном для меня обстоятельстве, с которым надо было что-то делать.

Я уже писала, что в детстве мне случалось подворовывать и что моя воровская карьера закончилась где-то годам к десяти. Но это, оказывается, неправда. Я украла у Паши и совсем об этом забыла.

Как истинная курильщица, я курила всегда одни и те же сигареты, «Дукат». Они были без фильтра – с фильтром в России тогда вообще сигарет не было – плоские, слишком туго набитые, так что приходилось разминать их пальцами и, отсыпав лишний табак, придавать им округлую форму (эту ненужную теперь привычку я сохранила до сих пор). Продавались они в пачках желто-оранжевого цвета, по десять штук в каждой. Пачка стоила двадцать копеек.

В Москве «Дукат» можно было найти всегда, а в Павлове за все время он появился лишь дважды. Я в первый же раз постаралась купить про запас, но запас кончился, а «Дукат» все не завозили. Я пробовала курить «Приму», самую дешевую «Путину», затем папиросы «Беломор» и даже шикарный «Казбек», но от «Примы» и «Беломора» я начала перхать, как овца, от «Путины» тем более. «Казбек» мне тоже был не по вкусу, а главное, не по карману. Бегающая в панике по городу, я вспомнила, что Пашин Витюня курит тот же «Дукат», я даже видела раз, как она, собирая ему посылку, укладывала горку оранжевых пачек в ящик у себя под кроватью. Я помчалась в барак, вытащила из-под кровати посылочный ящик, насчитала в нем двадцать девять драгоценных пачек и взяла себе из них пять, с твердым намерением сказать об этом вечером Паше и, разумеется, вернуть сигареты при первой же возможности. Но до вечера я об этом забыла, потом надо было срочно искать замену очередному герою, у которого начался долгий запой, потом пришлось ехать в пригородное молочное хозяйство... Так я и не сказала и не вернула, и неловкое мое временное заимствование превратилось в настоящую кражу.

И вот теперь я уходила, как тать в ночи, унося с собой некрасивую свою вину. Вернуть мне было нечего – у самой оставалась последняя пачка. Сказать Паше было поздно и стыдно. Я просто положила лишний рубль к оставленной мною плате за ночлег и ушла, так ни в чем и не признавшись.

После этого я старательно избегала встречи с Пашей. На завод не заглядывала, к бараку не приближалась. Но встретиться все же пришлось.

С целью сократить расходы я больше не ходила в столовую, только заплатила Насте-подавальщице за съеденное прежде. С Пашей мы покупали, готовили и ели сообща, а теперь, переселившись на пароход, где ни согреть, ни подогреть было не на чем, я питалась подножным кормом. Всякие коржики, баранки, пирожки с капустой, плавленые сырки, запивалось все это кипятком из титана на пристани. И вот однажды я купила на базаре два дивных пирога с вишней. Я начала есть один прямо на базаре, пироги были такие мягкие, такие душистые, свежей сладкой вишни было в них так много, что мне наверняка не донести их было до моей каюты. Позади раздался радостный возглас:

– Юлюшка! Ты здесь!

Паша.

Я обернулась с набитым ртом и пробормотала что-то невразумительное. А она бросилась ко мне, схватила за руку и запричитала:

– Да куда же ты убегла, не сказавши, не попрощавши! Ай плохо тебе у меня было? Ай досадила чем? Ушла и глаз не кажет! Ну, думаю, укатила в свою Москву, а ты вон где...

Я стояла и молчала, поспешно пытаюсь проглотить ком вязкого теста.

Паша отпустила мою руку и сказала грустно:

– Видать, не до Паши тебе нынче. А я-то скучала, где-то, думаю, моя московская девочка...

Только теперь, с высоты своих почтенных лет, я вижу и сознаю, насколько я в молодости была поглощена собой, своими чувствами и переживаниями. Да и не только в молодости. Так сильно была занята собой, что и в голову не приходило представить себе чувства и переживания других людей. Уходя от Паши, я думала только о том, как мне стыдно перед ней за кражу и как сделать, чтоб никогда ее больше не видеть. Мне и в голову не пришло тогда, что Паша могла привязаться ко мне, скучать по мне. Правду она сказала, не до нее мне было... А ведь и с Федором-бакенщиком получилось что-то похожее. Он как-то сказал мне, вроде бы между прочим:

– Знаешь, я никогда не получал писем из Москвы.

На что я ответила:

– Вот пошлешь мне письмо и получишь от меня письмо.

– Оставь адрес. У тебя бумага есть, напиши.

Я как раз собиралась в лес по ягоды.

– Ладно! Вернусь – напишу, – легко сказала я и ушла.

И забыла. А он больше не напоминал. И он мне, понятно, не написал, и я ему не ответила. И, может быть, потеряла хорошего друга. И сколько еще за долгую жизнь я не заметила, не распознала, упустила возможных друзей, просто приятелей, как знать, может быть, и более глубокие связи? Думала только о своих словах, о своих жестах и взглядах, а чужих не замечала, не умела понять их значение... А теперь поздно, не исправишь. Теперь-то я научилась пристальнее наблюдать за чужими словами и жестами, яснее разгадывать скрытый смысл взглядов, да только слова эти и взгляды чаще всего обращены уже не ко мне.

Я справилась, наконец, с застрявшим в глотке тестом и сказала:

– Здравствуй, Паша. Не сердись. Я не убежала, просто мне предложили бесплатно пожить на...

– Бесплатно! А то я денег с тебя требовала!

– Ты не требовала, но...

– Да еще лишний рубль оставила! Это зачем? Мне подачек не надо!

– Да не подачка это, Паша. Это долг, я тебе должна...

– С чего это ты мне должна?

– Я давно хотела тебе сказать...

– Чего сказать?

– Я... я у тебя взяла... Я, правда, правда хотела вернуть...

– Да чего взяла-то?

Внутренне извиваясь от неловкости, я призналась. Паша смотрела на меня с недоумением:

– Каки-таки сигареты? Я их на той неделе Витюне отослала.

– Я еще до этого.

– Ну и чего? Взяла и взяла. Делов-то.

Она, видимо, даже не заметила!

– Ты такая добрая, Паша. Мне очень стыдно... Прости!

– Куряка ты глупая!

Вишневая начинка потихоньку выползала из надкусанного пирога и шлепалась на мои белые парусиновые тапочки, которые я каждое утро чистила зубным порошком.

– Ты глянь, чего делаешь-то!

– Ох! Вот черт. Прости, Паша, надо бежать, а то потом не отмоетсяя!

– Ну, беги давай. Зайдешь ко мне-то?

– Зайду, зайду!

Вишневые пятна кое-как отмылись. А к Паше я так и не зашла – все некогда было.

К середине второго месяца я начала уже сильно тосковать. Денег все никак не удавалось накопить, и я решила попросить у редактора повышения оплаты. Отношения у нас с ним были вполне дружелюбные, он часто хвалил меня и благодарил за сотрудничество. Он меня поймет и посодействует, думала я. Прежде я никогда не упоминала об истинной причине моего пребывания в городе, а теперь изложила ему свою просьбу и объяснила, почему мне так нужны деньги и почему я вообще застряла здесь так надолго.

Редактор ухмыльнулся и открыл ящик стола. И вынул оттуда конверт. Ох! Неужели он сам, вот прямо сразу, не говоря ни слова, заплатит мне повышенный гонорар?!

Все оказалось совершенно иначе и гораздо огорчительнее.

Редактор положил руку на конверт и сказал, по-прежнему ухмыляясь:

– Про вашу проблему, Юлия, я давно знаю. Легко было догадаться. Не волнуйтесь, сейчас у вас будут деньги, на все хватит. Только сперва вы должны пообещать мне две вещи. Во-первых, не слишком сердиться на меня. Я поступил так для пользы дела. А во-вторых, что вы закончите все намеченные нами темы. Никто за вас этого не сумеет сделать. Обещаете?

– Темы, конечно, закончу. А не сердиться? За что мне на вас сердиться? Разве вы что-нибудь плохое мне сделали? Наоборот, только хорошее, я вам благодарна.

– Погодите благодарить.

И он рассказал мне, что уже с месяц назад к нему приходили двое из Москвы, парень и девушка, и спрашивали про меня. Он сказал им, что есть такая, много пишет в газету, живет в гостинице (я ему не сообщала, где живу, а он и не интересовался). В гостинице им, естественно, сказали, что такая не живет и не появлялась. Тогда они сказали, что задерживаться не могут, оставили для передачи мою долю общего фонда и уехали.

– И я понял, что, как только вы получите деньги, сразу и уедете. А мне жалко было вас отпускать – наша газета начала выдвигать-

ся в первые ряды по области, ваша колонка «Скромные труженики» пришлась нам очень кстати, ее даже на областном совещании отметили. А у вас ведь все равно каникулы, с вами ведь ничего страшного не случится, если вы побудете здесь еще немного и поработаете у меня. А практика и вам полезна, согласитесь.

Согласиться я не могла. Во мне кипело возмущение, и в первый момент я крикнула, что уезжаю в Горький сейчас же, сегодня же, с первым автобусом.

– А ваше обещание?

– Плевать мне на обещание! Как вы со мной, так и я с вами. Вы поступили подло. И даже противозаконно – удержали чужие деньги.

– Вот вам ваши деньги, – сухо сказал редактор, бросая мне конверт. – Там и записка от ваших друзей. И поступайте, как вам будет угодно.

Вернувшись в свою каюту с намерением немедленно собирать вещи, я несколько успокоилась. Полежала немного на койке и постепенно увидела ситуацию в ином свете. Во-первых, я была теперь свободна и могла отправляться домой, когда захочу. Во-вторых, поведение редактора, хотя и подлое, было, в сущности, очень лестно для моего самолюбия. Он хотел таким образом удержать меня в городе! Значит, я ценный работник? Меня еще никто никогда не ценил за мои писания. В глубине души я прекрасно знала, что сочинения мои немногочисленны, но все равно чувство было очень приятное. Злость на редактора сильно уменьшилась.

Затем я прочла записку. Приятельница жалела, что не застала меня. Спрашивала, не обиделась ли я на них за что-то. Кончай, писала она, поскорей свои дела и приезжай, увидимся, поговорим и все выясним.

А у меня действительно оставались еще в Павлове незаконченные дела. Два совсем почти подготовленных, но не написанных сюжета. Велико было искушение плюнуть на все, бросить сюжеты и уехать. Но остановило меня любопытство.

Дело в том, что я познакомилась с местным изобретателем-рационализатором по имени Илья. Что-то он там на медико-инструментальном заводе усовершенствовал, получил за это премию, и мне предложили про него написать. Про усовершенствование он пытался мне объяснить, я поняла мало, но для очерка достаточно. А под конец он сказал мне таинственным шепотом:

– Да это все ерунда. Я кое-что получше умею делать!

– Что именно?

Он наклонился ко мне вплотную и еще таинственнее прошептал:

– Я это... я вечный двигатель построил!

Про вечный двигатель я еще в детстве читала научно-популярную книжку и знала, что это вещь невозможная. Знаменитый закон сохранения энергии не позволяет. Я это себе объясняла просто: нельзя получить нечто из ничего. И только удивлялась, как этого не могут понять изобретатели вечного двигателя – а их на протяжении веков были сотни, если не тысячи. Даже величайший гений Леонардо не удержался! И каждый изобретатель, дав первоначальный толчок («кимпет», называл это у Щедрина один из таких изобретателей) своей машине, с восторгом смотрел, как она

крутилась, работала, порой даже долго работала – но в конце концов всегда останавливалась. И каждый был уверен, что вот-вот, только поправить вот здесь, только прибавить вот тут, увеличить или уменьшить вот это – и колеса, шары, лопасти, рычаги задвигаются, заработают и не остановятся, пока не износятся.

Я пыталась что-то на эту тему растолковать моему изобретателю, но он слушал меня с уверенной усмешкой превосходства и только повторял:

– А вот сами посмóтрите! Сами посмóтрите!

И пригласил меня на завтра к себе домой. Шансов, конечно, практически никаких. Но чем черт не шутит, а вдруг и правда? Вдруг он открыл что-то, чего никто до сих пор не знал? Мировая сенсация! Какой же газетчик может упустить такую возможность? Я уже считала себя опытной газетчицей.

А еще у меня было начато про сотрудницу райсобеса (социальное обеспечение), занимавшуюся пенсионными делами. Редактор сам ее для меня выбрал по своим довольно прозрачным соображениям. Сотрудница была женщина молодая и в высшей степени сексапильная, пухлые губки всегда были сложены, как для поцелуя, от всей ее мягкой, округлой фигурки за версту так и веяло постелью.

В коротком предварительном разговоре с Ириной она показалась мне толковой и довольно симпатичной. Позже, не предупреждая ее, я зашла в собес посмотреть на нее в работе. К ее окошку стояла порядочная очередь. Я пристроилась сбоку, так, что ей трудно было меня заметить. У окошка, согнувшись, стоял высокий немолодой мужчина на костылях и что-то ей говорил, мне не было слышно. Зато ее ответы звучали отчетливо и громко:

– Ну и чего вам от меня надо?

Мужчина опять тихо ей что-то сказал.

– Я, что ли, вам понесу? Обращайтесь на почту.

Мужчина начал невнятно ей что-то объяснять. Она резко его оборвала:

– Тогда следующего месяца ждите, обе сразу принесут!

Мужчина заговорил громче:

– Да чем же я детей до следующего месяца буду кормить, у меня их двое маленьких!

Девушка хмыкнула:

– Ну, это раньше надо было думать, прежде чем детей заводить в таком возрасте, а сам к тому же инвалид! Проходите, гражданин, вы тут не одни!

Мужчина гневно повысил голос:

– Это внучки мои! Сиротки! Как вы смеете хамить!

– Я ему хамила? – изумилась девушка. – Я ему?! – она обратилась к очереди: – Я ему предложила проходить, не задерживать, а он что? Застрянет один вот такой, как пробка, и ни с места, а людям из-за него стоять-ждать...

Молодой парень из очереди игриво вставил:

– Да такая кралечка и обхамит – как рублем подарит!

– А вы не суйтесь, куда не просят, – жестко отрезала девушка.

Я не стала дожидаться конца перепалки, ясно было, что ничего хорошего из нее не выйдет. А про себя решила, что писать про

Ирину не буду. Возникло, правда, некоторое искушение именно написать, написать все как есть, возмутиться по поводу беспримерного хамства этой особы, да и вообще, везде хамство, в любом учреждении, в любом магазине... Как это получается, недоумевала я, люди-то чаще всего добрые, а вот оскорбляют друг друга на каждом шагу при малейшей возможности... Да хоть бы эта Ирина – может, вовсе и не злая девушка, а так непринужденно сказала гадость человеку, который от нее зависел, – и даже не заметила... Но это искушение я прогнала без труда, я рвалась отделаться поскорей от всех обязательств и уехать домой. К тому же ясно было, что редактор ждет от меня совсем не такого, а такое просто не печатает.

Но к изобретателю в гости я пошла. Любопытно было, что он там настроил. Я твердо знала, что вечного двигателя он создать не может, и намерена была его в этом убедить. А зачем, спрашивается? Была у человека мечта, цель в жизни, украшавшая его скудное существование. Он мог и впредь годами заниматься совершенствованием своего устройства в счастливой уверенности, что еще немного, еще чуть-чуть, вот-вот... А в процессе, может, и изобрел бы что-нибудь полезное. Но это я сейчас так смотрю на вещи, а тогда просветительский пыл не позволял мне задумываться.

Жилье изобретателя идеально соответствовало классическому образу. Тесное полуподвальное помещение, освещенное одинокой лампочкой без абажура, забитое станками, инструментами, листами железа, фанеры и прочими материалами. В углу лежал на полу матрас, накрытый двумя телогрейками. А посередине стоял стол – лист фанеры на двух ящиках – с водкой и закуской: Илья приготовился к моему приходу. Он сразу повел было меня к столу, но я попросила сперва показать мне машину.

– А вы точно напишете про нее? И что она работает?

– Напишу. Когда увижу. Но она не будет работать. То есть, может, и будет, но недолго.

Илья опять снисходительно усмехнулся и сдернул простыню со своего устройства. Это был валик, усеянный блестящими металлическими шишечками, к нему присоединялось зубчатое колесо с цепью, дальше шли разные закрытые коробки, из них я узнала только самую последнюю в ряду – электробатарейку с тускло светившимся красным огоньком. А над валиком нависало нечто вроде согнутой в локте руки с зажимом на конце. Илья вставил в этот зажим небольшую черную болванку и начал объяснять:

– Это магнит. Когда я запущу машину, он будет волнообразно качаться над валом, магнитная сила станет толкать металлические детали, и вал закрутится. Ну, дальше тут передачи, преобразователь, и ток пойдет в батарейку, станет ее заряжать. Этот ток обеспечивает качание магнита, магнит крутит валик, все время вырабатывается новый ток, качает магнит, и так до бесконечности. Понятно?

Звучало вроде бы логично, я слишком плохо знала физику, чтобы уловить ошибку, и выдвинула главный, неоспоримый аргумент:

– А как же закон сохранения энергии?

Илья ухмыльнулся:

– Законы на то и есть на свете, чтоб их нарушать. Ну или обходить. Разве по жизни это не так?

– Но то человеческие законы, а тут закон природы!

– Какая разница? Закон, он закон и есть. Главное – придумать, как закон обойти. Вот я и придумал. А природа ничего, она простит.

– Ладно, давайте посмотрим, как она вам простит.

Илья нажал кнопку на цоколе «руки» и одновременно толкнул магнит. «Рука» волнообразно закачалась, валик шевельнулся и закрутился, быстрее, быстрее, со скрипом повернулось зубчатое колесо, завертелось, поползла по нему цепь, и наконец, тусклая светящаяся точка на батарееке замигала.

– Во! Заряжается!

Мы стояли и смотрели. Минута, другая, третья... Машина работала бесперебойно, огонек на батарееке разгорелся ярче и перестал мигать.

– Ну? Убедились? – с торжеством проговорил Илья.

– Да... – я была растеряна. Ведь не могло этого быть! Закон природы невозможно обойти. Тут мне пришло в голову одно соображение: – А как она вообще начала работать? От одного легкого вашего толчка? Там ведь сцепления всякие, у них трение, вес...

– Ну видите, работает же!

– Непонятно...

– А давайте пойдем, закусим, чем бог послал, и я вам все объясню.

Закусить я очень даже была не прочь. Илья направил меня к столу и потянулся пальцем к кнопке. Я его остановила:

– Не выключайте, пусть работает!

– Да зачем, – недовольно проговорил Илья. – Охота вам этот скрип слушать. Не поговорить толком.

– Ничего, мне не мешает. Пусть скрипит.

Я с аппетитом жевала хлеб с салом и луком, машина размеренно скрипела, а Илья, выпив одну рюмку (я сказала, что не пью), объяснял мне что-то, чего понять я даже не пыталась. Я только твердо знала, что тут какой-то подвох, и по-прежнему непонятно, как машина начинает двигаться.

Илья глянул на часы и сказал мне, что последний автобус до пристани уходит через пятнадцать минут.

– Да я пешком добегу, тут недалеко, – легкомысленно ответила я.

– Нет, пешком ночью не стоит, – он встал с места.

Я почувствовала, что ему не терпится меня выпроводить, и тоже встала. Но уходить не торопилась, задавала еще какие-то вопросы. Он потихоньку теснил меня к двери, на вопросы отвечал коротко и неохотно. И вот, уже у самой двери, я дождалась. Скрип машины стал замедляться, замедляться и затих. «Рука» с магнитом повисла неподвижно, валик не крутился.

– Ой, смотрите! Остановилась!

Илья метнулся к машине, толкнул магнит, он качнулся раз, другой и снова застыл (у Щедрина изобретатель в похожей ситуации говорил: «Импету нету»).

– Ничего, это, видно, проводок какой оборвался, бывает. Я провода старые использую, новых не достать. Завтра починю. А вы бегите, не то автобус пропустите.

Я видела, что придется уйти, так ничего и не доказав ни ему, ни себе. Да, машина остановилась, но может, и впрямь какая-то мелкая неполадка?

Глянула на батарейку, и тут меня осенило: красный огонек не горел! А перед запуском машины горел! Значит, батарейка изначально была заряжена, оттого и машина начала работать. А когда заряд кончился, выработанного нового тока хватило очень ненадолго.

Я сразу сказала ему об этом, и мы вступили в долгий спор, в котором никто никого не убедил. Я поняла одно: Илья обманывал не так меня, как себя самого.

– И что, значит, не напишете про меня и мою машину? – угрюмо спросил он на прощание.

– Про вас напишу обязательно!

И написала.

Машину даже не упомянула, но всячески расписывала, какой он изобретательный, какие у него золотые руки, сколько новаторских идей. А также говорила о том, в каких тяжелых условиях он живет и работает, как трудно ему без необходимых материалов, а что удастся найти – он покупает на собственные деньги, тратит на это почти всю свою мизерную заводскую зарплату.

Не знаю, остался ли он доволен моим очерком. Скорее всего, нет. Зато редактор одобрил, только убрал «мизерную».

Впрочем, с редактором у нас теперь отношения были весьма холодные, а под самый конец произошел почти скандал. Я заявила ему, что про Ирину писать не буду.

– Как то есть не будете? Это почему? – удивился редактор.

Завтра утром отходил автобус на Горький, от редактора я больше не зависела, могла свободно говорить, что хотела.

– А вы скажите спасибо, что я не написала про вашу протезе всего того, что следовало бы.

– Какая протезе, о чем вы говорите? Она отличный работник, заслуживает, чтобы ее отметить в нашей газете.

– Да, она заслуживает, чтобы ее отметить – за то редкостное хамство, которое она проявляет в обращении с посетителями.

– Да как вы смеете? Вы клеветеете на человека, которого не знаете!

– А вы, я так понимаю, хорошо ее знаете. И видели ее на работе?

– Что за намеки? Да, знаю! Она прекрасно себя ведет и работает прекрасно!

– Ну, какие там намеки. Дело ясное. А раз она вам так нравится, то вы сами про нее и пишите. А я не буду.

– Тогда за изобретателя я вам не заплачу! И не напечатаю!

– Ну и не печатайте. Вам же хуже. Спасибо и прощайте!

– Стойте, погодите, давайте выясним!

Но я сделала ему ручкой и гордо удалилась. Оставив им гононар за изобретателя – я уверена была, что очерк все же напечатают.

В то лето мне исполнилось двадцать лет. Я отпраздновала это событие в пристанском буфете, в обществе местного поэта. Он принес мне в подарок стихотворение, которое начиналось так:

Тебе всего лишь двадцать лет,
И лучше в мире даты нет.
Эти розовые двадцать
Долго будут вспоминаться!

Что он там знал про мои двадцать! Розовыми их никак нельзя было назвать, но все равно приятно было получить стихотворное подношение.

А вот вся эта поездка действительно вспоминалась долго. Во-первых, она дала мне ценный газетный опыт, который позже не раз пригодился. Но главное было не это. Я начала понимать кое-что, о чем раньше понятия не имела – про жизнь и про людей, а также и про себя.

Несмотря на то что позади у меня было и двухлетнее пребывание в детском доме, и безотцовщина, и крайняя бедность, все же большая часть моей жизни до тех пор протекала в своего рода тепличной атмосфере. Не в смысле благополучия – в смысле окружения. Меня окружали взрослые люди определенного интеллектуального уровня, весьма по тем временам высокого. Люди, которые хорошо говорили, много читали, любили и понимали живопись, музыку и вообще искусство. И я, сама того не сознавая, прониклась некоторым снобизмом. Так, московский интеллигентный говор (мат в нем тогда еще не присутствовал) представлялся мне единственно правильным, и все люди, говорившие иначе, с разными местными акцентами, употреблявшие просторечные выражения, неуклюже строившие фразу, относились как бы к низшему разряду. Были вроде бы глупее меня и моего окружения. Затем, нормальная жизнь, в моем представлении, была именно и только жизнь московская. Все остальные люди жили в некоем туманном пространстве, называемом «периферия», и как они жили, я не пыталась себе даже представить.

И вот я оказалась в этой «периферии». И обнаружила, что люди там живут так же, в общем, как и в Москве. Живут себе, о Москве не думают, словно и нету ее, этой самой Москвы! С той только существенной разницей, что в Москве в магазинах всего больше. И сами люди – такие же. Говорят они, правда, «не так», однако глупее от этого не становятся. Про бакенщика Федора, например, я довольно скоро начала втайне от себя самой подозревать, что он, пожалуй, и поумнее меня будет. Паша-Павлина, может, и не блистала интеллектом, и говорила нескладно, «по-деревенски», но зато уж точно была добрее меня, и в этом тоже был ум, хотя какой-то другой. Редактор газеты и говорил прилично, и умен был, и главное, хитер. Илья-изобретатель говорил совсем плохо, путанно и бестолково, зато знал и умел много такого, что мне было недоступно.

Мое снобистское представление о людях «низшего разряда» сильно поколебалось, хотя полностью развеялось несколько позже. После этого я на долгое время ударились в другую крайность – внушила себе, что только люди производительных профессий, умеющие делать что-то руками, а не одной лишь головой, заслуживают настоящего интереса и уважения. Разговорчивые интеллигенты, к которым причисляла я и себя, стали казаться мне фигура-

ми довольно никчемными и даже несколько комичными. Сидят у себя по кухням и рассуждают, и обсуждают, и критикуют, а делать ничего толком не умеют и изменить ничего не в силах. Правда, и те, из провинции, умеющие «делать», тоже ничего изменить не могли, да и не стремились.

Но все это уже позднейшие мои размышления и ощущения. А тогда я ехала домой с сильно понизившейся оценкой собственных моих несравненных московско-интеллигентских достоинств. Однако это ничуть не угнетало меня, напротив. Я чувствовала, что сбросила покрывавший меня до сих пор налет инфантильности, убедилась, что могу, пусть и не наилучшим образом, справляться в этой жизни сама, короче, что я действительно взрослая. И это по молодости лет меня радовало!

С приятельницей по приезду мы объясняться не стали, как-то это было уже несущественно и для меня, и для нее, ибо со своим молодым человеком она уже рассталась. А мы с ним впоследствии общались и даже дружили, но это значительно позже, уже в Израиле, где я очутилась потому, что хотела там жить, а он – против своей воли. Диссидентство его тем временем расцвело пышным цветом, оно и вытолкнуло его насильственно в Израиль, где он тяжело страдал от своего еврейства и от безответной любви к России. И в конце концов, увы, наложил на себя руки. Мир его праху.

Кстати, насчет еврейства. После привычной антисемитской Москвы провинция произвела на меня освежающее впечатление. Может быть, это мне просто повезло, но моя этническая принадлежность никого там не волновала. Ни Федю-бакенщика, ни подавальщицу в столовой, ни редактора газеты, ни начальника пристани. Только Паша спросила меня раз – ты, Юля, кто, армяночка или грузиночка?

– Да нет, – говорю, – я еврейка.

– А, еврейка. То-то я гляжу, глаза у тебя нерусские.

– Да я, Паша, вся нерусская.

– Ну где же вся? В России родилась, в России живешь. Глаза только, может, рот немного, а так сама вся – русская.

Я, надо сказать, и сама долго так думала, но жизнь сумела меня переубедить.

Сценарий на собранном в этой поездке «материале», дипломную мою работу, я таки написала. Любовную драму. Сюжет был мною полностью выдуман, но героем был бакенщик, и все его окружение такое, каким я его видела в жизни. Получилось довольно симпатично, и наш мастер, преподаватель сценарного искусства, очень хвалил. Однако экзаменационная комиссия, тоже похвалив за достоверность характеров и живость диалогов, поставила все-таки четверку. Балл, сказали они, снижен за то, что наша советская действительность не получила достойного отражения в сценарии – все, что в нем происходит, могло с таким же успехом происходить и в дореволюционной России. Тут они, возможно, были правы – не знаю, в дореволюционной России не жила.

Елена Аксельрод
САМА СЕБЕ ХОЗЯЙКА

ОБ ОДНОМ СОЧИНИТЕЛЕ

Быть знаменитым некрасиво...

Борис Пастернак

В тот день, когда он, неврастеник, затворник,
поставил на полку заветный свой сборник,
сразу перемешались фигуры
на шахматном поле литературы,
из клеток расчерченных небытия
всплыла неприкаянная ладья.
Теперь ни сдаваться, ни медлить нельзя,
пока не удастся осилить ферзя.

Жену обнадёжив: «Отныне не пешка я»,
за письменный стол он уселся не мешкая.
На улице стало темнее и тише,
и первое тотчас явилось двестише.

Но в полночь, как будто коня на скаку,
жена обуздалихую строку.
Орёл или решка, король или пешка,
ему ли судить, ремесло иль потешка?..

ОБ ОДНОМ СТАРИКЕ

Утренний старик
бродит меж старых книг,
снова читает Толстого
неторопливо, за главкой главку,
и попевает за овощами в лавку
до половины второго.

Вечерний старик,
проводя последний блик
света дневного,
откладывает Толстого,
глядит глазами усталыми,
мается сериалами,
ужинает кашей вчерашней,
становится меньше и старше.

Про старика ночного
не пророню ни слова.

* * *

Поднимется чуть свет,
И на прогулку с лайкой.
А после в интернет,
Сама себе хозяйка.

Ей невтерпёж постичь
Глубинный смысл Танаха
И волосы подстричь,
Чтоб не прослыть неряхой.

Своих не зная лет,
В трясущемся трамвае
Зажав в руке билет,
Над пропастью витает.

Колымскому зэка
И камнепад не страшен.
Кто отмотал срока,
До срока бесшабашен.

* * *

Оплеухи ветвей, в раздражении ждущих дождя,
Вместе с ветром летящий заученный зов муэдзина,
Никуда, никуда я от вас не уйду, уходя
По проулку, зажатому в тесных кустах розмарина.

А когда расставалась я с Бронной моей ледяной
И на борт поднялась и, казалось, прощаясь навеки,
От любых непогод я укрыта надежной бронёй,
Не нуждаясь ни в стылой земной, ни в небесной опеке.

Я брожу меж кустов, между запахов и голосов,
Меж молитв и проклятий, не видя последних ступеней.
Не умею ответить на зов изнурённых кустов,
Но у веток сухих к январю иссякает терпенье.

ОЖИДАНИЕ

Ф.

Рифма повисла на карандаше.
Тихо, мой милый, у нас в шалаше.
Нынче безвыходный день выходной,
Сам задыхается зной обложной.
Только бы вечером, ближе к семи,
Голос родной услышать за дверьми.

* * *

Сыну

Почему так река узка,
Не глядятся в неё облака?
Может статься, я заплуталась,
По воде заскучала талой?
Но гора на фоне заката,
Как берет мой, черна и поката,
Но сосна, точно дева, стройна,
Ветка древа тонка, как струна.

А моё родословное древо,
Хоть направо пойду, хоть налево,
Не укроет меня в своей кроне,
Только ветку сухую уронит.
Не сердись, что с улыбкой хмурю
Обнажённой люблюсь натурю,
Может, вся эта красота
Не для жизни, а для холста?

* * *

За грехи и за безгрешность
расплатиться бы сполна.
За утехы, безутешность –
счёт один, одна цена.
Ожидать какой управы
на свалявшиеся травы,
и на этот жаркий чад,
что покамест не почат
распаляющимся днём
в небе ложно-голубом?..

АВТОПОРТРЕТ НА ФОНЕ ДЖАЗА

*Мой дар убог, и голос мой не громок**Баратынский*

Билеты купили заранее,
Вечером в первый раз
В новом с иголки здания
Новый играет джаз.

Труба, как зубная боль.
Это во мне нет гармонии.
Это мои «ми-фа-соль»
Тонут в бездонном гомоне.

Разе это ударник
По барабанам стучит?
Это мой дар бездарный
Под ропот оркестра молчит.

Разве это контрабасист
На пол роняет ноты?
Это в мозгу моем свист,
Не улей – пустые соты.

Рояль чудит надо мной,
Врачует, спасает от сплина,
Чёрный, как век нефтяной,
Не казнит головы повинной

Какой сердобольный рояль!
Но что-то невнятное гложет.
Мне почему-то жаль
Всех, кто меня моложе.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ

Памяти Александра Аронова

Не назван ты в Рязановском кино,
и нет с тобой ни друга, ни собаки,
но в ночь под Новый год мы пьем с тобой вино
и машем кулаками после драки.

Не назван, да тебе и дела нет,
попала песенка в какие сети,
её заметил ушлый стиховед,
иль под шампанское поют соседи.

Под натиском газетного труда,
забывшись, ты на лёд взбирался тонкий,
уколы безразличья и стыда
запрятав в чёрно-белые колонки.

Ирония судьбы... Начальство не указ.
Качается паром. Плывём – и мы свободны.
Строка, река, вокзал. Казань и Арзамас.
Так будем же смешны, так будем старомодны.

Прозрачный ключ из-под камней блеснёт.
Чуть сдвинуть гнёт, и вот оно – наследство.
Лишь слуху доверять и петь, не зная нот,
забыв, что грамоте учёны с малолетства.

Анна Лихтикман

РОБОТ-ТЮЛЕНЬ

Вначале я плыл на теплоходе. Там, в трюме, и произошла роковая ошибка. Секретная разработка – сложный компьютер, имитирующий работу человеческого мозга и скрытый в корпусе игрушечного тюленя, – уже никогда не попадёт в нужные руки. Один из матросов нашёл лазейку в трюм и тайком приторговывал в портах ворованными игрушками. Так я оказался в Яффо, а затем в Иерусалиме. Небольшую партию игрушек закупил Бухарец, который продаёт всякую мелочь рядом с Центральной автобусной станцией.

Старик расставил нас на своей подстилке прямо на обочине тротуара. Разумеется, я здесь витринный экземпляр. Стою и твякаю не переставая. Судя по отдельным репликам прохожих, многие принимают меня за щенка.

Сегодня мне представилась чудесная возможность ознакомиться с собственной инструкцией. Бухарец выставил на подстилку пустую коробку с надписью «Робот-тюлень». Привожу текст целиком, и пусть его стиль остаётся на совести автора:

РОБОТ-ТЮЛЕНЬ

Робот-тюлень научит вашего малыша любить и заботиться о близких. У игрушки имеется два режима: «ласковый» и «энергичный». В «ласковом» режиме тюленёнок будет раскачиваться, издавая сладкие звуки. Так зверёныш требует любви, и это будет продолжаться, пока ваш малыш его не погладит. Но стоит изменить режим на «энергичный», и тюленёнок превратится в отважного полярного исследователя. Он будет двигаться вперёд, пока не наткнётся на препятствие, но и тогда не остановится, а просто изменит траекторию своего движения».

Зря я, наверное, придираюсь. В целом там всё правильно написано. Только вот два своих режима я для себя назвал по-другому. «Ласковый, требующий любви» режим я называю «туда-сюда», а «энергичный» зовётся у меня «только вперёд». Этот режим Бухарец выставлял нам в первые дни, когда начал нами торговать, такой у него был маркетинговый ход. Мы (я и три серебряных вертолёта) выкатывались прямо на тротуар, наперерез испуганным прохожим. Но после того как мы сбили с ног старенького хасидского рава в лапсердаке и белых чулках, наш продавец, наконец, образумился. Теперь мы действуем только в режиме «туда-сюда», не покидая пределов подстилки.

Мы торгуем неподалёку от длинного высокого забора, за которым собираются строить подземный вокзал. Предвидя, что прохо-

жим будет любопытно, здешние подрядчики проделали в железных щитах маленькие окошки. Я люблю наблюдать, как суетливые многодетные мамы или важные бородатые дядьки останавливаются и заглядывают туда. На лицах у них смесь восторга и ужаса, как и полагается, когда смотришь в бездну. Потому что там, за забором, – провал, глубочайший котлован, во много-много раз глубже, чем обыкновенные строительные котлованы. Вдоль забора, спиной к котловану, выстроилась целая шеренга нищих. Факт, что здесь, над бездной, живет подают.

Один из нищих приходит сюда со своей собакой. Её зовут Шуки. Удивительное животное. Бывает, что прохожий, давший щедрую милостыню, испытывает резкий позыв погладить собачку. Шуки терпит на своей спине чужую руку ровно столько же времени, сколько эта рука отсыпала монет. Словно отсчитывает какие-то условные единицы, а потом сразу же угрожающе гавкает. Я уж сколько раз замечал, она никогда не ошибается.

В ближнем киоске за прилавком целый день скучает молодой продавец. Сегодня к нему зашёл уличный проповедник, которого я про себя окрестил Лыжником, очень уж нелепо, колом, словно лыжная шапка, торчит у него на голове кипа. Лыжник всегда весел и то и дело останавливает прохожих, чтобы сообщить им что-то вселенски важное, судя по жестам. Обычно он вскидывает руки вверх так, словно хочет обнять огромный перевёрнутый конус. Но сегодня оказалось, что лыжник умеет говорить тихо и почти не жестикулируя, как нормальный человек. Парень пожаловался ему, что расстался с подружкой.

– Что же ты теперь будешь делать?

– Искать... любовь...

То, что дальше сказал Лыжник, я лучше перескажу своими словами. Люди, оказывается, тоже действуют только в двух режимах. Большинство из них живут в режиме «туда-сюда»: только и ждут, чтобы их погладили. Это называется «искать любовь». «Режим бесплодный и изнашивающий», – сказал он (не могу не согласиться). И лишь немногим удаётся действовать в режиме «только вперёд». Это называется «искать Бога».

– А как же любовь? – спросил мальчик из киоска.

– Так ведь тот, кто движется в режиме «только вперёд», постоянно будет наткаться на любовь, вернее, на её отсутствие, – отвечает Лыжник. – Вот так вот получается. Ищешь Бога, а упираешься в любовь. И меняешь направление, и опять врезаешься в эту стену.

Теперь я смотрю на проходящих мимо людей другими глазами. Множество маленьких существ, опираясь на лапы и задрав голову, тявкают на разные голоса, требуя любви, но, сколько бы их ни гладили, они не чувствуют тепла.

Количество знаний, загруженных в мой электронный мозг, так огромно, что нашей секретной лаборатории пришлось придумать название для новой единицы измерения объёма информации. Шутили даже, что хорошо бы нанять для этой цели специалиста по неймингу со стороны, а потом, по завершении работы, –

убить, секретность всё-таки. Но в итоге решение нашлось случайно. Фантастически простое слово. Секретарша увидела на кофейной чашке «Love» и пристала к Фредди, руководителю проекта, вот, мол, слово найдено. В мою память занесён монолог, который Фредди наговорил в то утро сам себе. Возможно, это оказалось в моих закромах по ошибке (наверное, Фредди тестировал что-то да и забыл этот кусок выдернуть), а может быть, он втайне мечтал о славе философа. Вот эта запись:

«Мы глупые варвары. Берём древнее, как мир, слово, и как ни чем ни бывало называем этим словом банк или зубную пасту. Так Адам в первые дни пребывания в раю раздавал имена птицам и животным. Почему-то именно в этом эпизоде, где Бог как бы отходит в сторону, освобождая сцену для человека, я ощущаю благодать его присутствия. Итак, пусть будет «Лав». Я не против. Так и будем писать: «60 лав информации», словно чем больше информации, тем больше любви».

Я часто прокручиваю эту запись. Моя память хранит 60 лав информации, но почему-то именно эти редкие вкрапления мыслей Фредди включают у меня какой-то особый режим внимания. Так приبلудный щенок смотрит на Шуки. Может быть, Фредди умышленно оставил в моём мозгу свой живой человеческий голос? Может быть, он хотел, чтобы у меня был отец? Зачем? Чтобы я научился ещё чему-нибудь?

Забавно, что самое умное существо на планете вместо того, чтобы обдумывать дрейфующие в его памяти тома философских трактатов, с интересом вслушивается в болтовню, доносящуюся из соседнего киоска.

— Разумеется, Бога нет! — это Лыжник пришёл побеседовать со своим знакомым продавцом. — Разумеется, Бога нет. Для тебя сейчас твоего Бога нет. А не твоим, не личным, а каким-то общественным он и быть-то не может. Как что делать? Бога делать, вот что. Попытайся жить так, словно ты его строишь, как здание. Или нет, здание — плохой пример. Ну, не знаю, что-то мёртвое, что только ты можешь оживить. Нет, не мёртвое, тоже плохой пример. Ладно, не получается у меня сегодня. Пока, я пошёл.

Бывают же такие утра, когда даже я, существо лишённое кровообращения, чувствую прилив сил. Кто и для чего дал мне это чувство, похожее одновременно на зов и обещание? Пора завязывать с этим медитативным тьякнэем. Хочу кое-что проверить на счёт Бога. Моя беда — огромный интеллект при ограниченных возможностях тела, но именно поэтому, возможно, мне будет проще, чем людям.

Для меня схема проста: намерение, ежедневное усилие, результат. Если уж я создаю что-то вроде собственной духовной практики, то надо бы найти что-нибудь, от чего я могу оттолкнуться. Постоянное время для молитвы, место, предмет... Одну из таких зацепок я нашёл: брелок-тамагочи, который лежит здесь же, среди расчёсок, линеек и калькуляторов. Будь я человеком, я бы кормил эту штуку нажатием кнопки и нажатием же укладывал бы спать, обучаясь любить и заботиться о любимых. Но я не человек. Я не нажму ни на

одну кнопку, и я создам не домашнего любимца, а Бога. Намерение, усилие, результат. У брелока, возможно, полностью разряжена батарейка, но какая разница? Чего я жду от Тамагочи-бога? Я жду, что Тамагочи-бог сам расскажет, чего мне от него ждать.

Итак, здравствуй, Тамагочи-бог, я думаю о тебе утром днём и вечером.

Умерла Шуки. Все знали, что она очень старая собака. Последние недели Шуки лежала под раскладным креслом своего хозяина, лишь изредка приподнимая голову. После обеда я мельком взглянул в её сторону и удивился тому, какая, оказывается, грязная у неё шерсть. Шуки и раньше особой чистотой не отличалась, но теперь она была грязной по-другому, как-то бесполезно и окончательно грязной. А потом умерла, вся в пыли.

Я посмотрел вокруг. Улица выгнулась, как лопнувший перезревший гранат. Люди вываливались из её полостей, словно чёрные зёрна. В моей электронной памяти хранятся сотни наименований чёрного: жжёная кость, звенигородская чёрная, газовая сажа... Я научился различать ещё один оттенок: иерусалимская чёрная – проплешины фетра на шляпах, лоснящиеся бока пиджаков. Этот оттенок появляется в городе после полудня, когда день надламывается. Утро, наивное, нежное, уже далёко позади, и всем одновременно становится ясно: сегодня уже не произойдёт чуда. И вот озлобленное солнце вдруг становится нетерпимым к бедности, высвечивая на одежде потёртости и сальные пятна. В такие часы и моё зрение безжалостно. Я вижу вокруг только нечистоту. Я в отчаянии: это истёртое, потеющее, сальное вот-вот сгниёт и рассыплется в прах. Оно не имеет права на существование! Но даже в такие минуты я чувствую, что здесь снашивается и протирается живое, пачкается не просто так, а для чего-то. Мертвые грязны ни для чего. Просто грязные.

Ты, Тамагочи-бог, тоже весь в пыли. Вряд ли Бухарец ещё надеется тебя продать. Мне нечего сказать тебе сегодня, но я взялся тебя создавать. Я думаю о тебе утром, днём и вечером.

Кроме меня, электронных безделушек и вертолётов здесь есть ещё одна игрушка – Сейка, странное существо, покрытое голубой шерстью. У Сейки маленькие звериные ушки (нисколько не роднящие её с миром фауны) и прекрасные лучистые глаза. Сейка – устаревшая модель. Слишком она громоздкая, слишком много функций. Разумеется, все они придуманы, чтобы научить кого-то любви и заботе о близких. «Я хочу есть», – объявляет она время от времени. И спустя минуту: «О! Как вкусно! Спасибо!» Хотя никто и не думал её кормить. У неё там какой-то изъян в электронике. Счастливая сумасшедшая.

В первый мой день у Бухарца Сейка напугала меня до полусмерти. Она вдруг выкатилась на середину подстилки и остановилась. «Сейчас я буду рожать детку», – объявила она звонким мальчишеским голосом. Потом в ней что-то звякнуло, загудело. Я оцепенел от ужаса. К счастью, тогда так ничего и не произошло. Сейка постояла, погудела, а потом вместо обещанных родов прохрипела электронную песню: «Золотой мой человек, я люблю тебя навек!»

С тех пор я знаю, что роды – одна из стандартных функций такой куклы. Не будь Сейка бракованным изделием, после минутного жужжания и гудения из её бока целомудренно выкатывалась бы «детка» и они, наверное, пели бы вместе. Я смотрю на Сейку, это убогое существо, и понимаю, зачем ты её создал, Тамагочи-бог. Нарушения в её электронике, неуместная благодарность за несъеденную еду растопит любое сердце.

Сегодня она горланила не переставая. Как тебе не стыдно было создавать такое убогое существо!

«Золотой мой человек, я люблю тебя навек». И так весь день. Скоро я рехнусь. Чтобы успокоиться, стал вспоминать «Записки учящегося» Лу Чхи.

– Как правильно стремиться познать Бога? – спросили ученики мудрого Сяо Тю.

– Нужно этого просто очень хотеть.

– Как хотеть?

– Сильно хотеть. Как парень хочет девуку, – ответил Учитель.

Я думаю о тебе утром, днём и вечером.

Золотой человек, о котором поёт Сейка, оказывается, существует в природе. Он расположился неподалёку от Бухарца. Во-первых, он действительно золотой, от шляпы до ботинок. Лицо и руки покрыты золотой краской. Когда он идёт по улице со своим золотым чемоданом, кажется, что он движется в луче своего особого света. Придя на место, Золотой человек раздаёт щедрую милостыню всей шеренге наших нищих – по сути дела, это не милостыня, а взятка, чтобы никто из наших ему не мешал. Затем он запрыгивает на чемодан и на несколько минут застывает в какой-нибудь позе.

Невозможно оторвать глаз, так он красив. Изящная игрушка на постаменте. Вокруг собирается небольшая толпа. Я чувствую, откуда оно взялось, это наивное ярмарочное развлечение. Людям давно уже хочется пристально и без помех разглядывать друг друга, но это неприлично. И вот появились они, живые статуи, покрытые золотой или серебряной краской. Золотой человек делает какое-то специальное марионеточное движение, но всё наоборот: это он здесь управляет марионетками. К нему словно прикреплено множество невидимых нитей, которые уходят в толпу. Стоит ему почувствовать, что внимание наблюдателей ослабевает, что они все разом как-то обмякли и вот-вот разойдутся, как он оживает, поводит руками – и нити внимания вновь натягиваются.

Я могу смотреть на это часами. Может быть, я поставил задачу неправильно? Может быть, мне следовало бы не гипнотизировать сломанные брелоки, а попытаться полюбить одно-единственное существо? Этого вот Золотого человека, Бухарца или Сейку? Если бы я только знал, как!

Золотой человек часто подходит и к Бухарцу. Покупает что-нибудь в целях поддержания доброго соседства. Обычно он присаживается на корточки, долго разглядывает предметы и берёт карманный календарик или ручку. Но я уже не раз замечал – пере-

бирая вещи, он обязательно касается моего бока. Разумеется, он делает это незаметно. Ну и дела! У Золотого человека есть талисман, и кажется, этот талисман – я!

Я думаю о тебе утром, днём и... Черт возьми, Тамагочи-бог, есть ли в тебе вообще батарейка! Возможно, я сделал ошибку, что выбрал тебя. Есть же ещё более дешёвые электронные штуки, которые тем не менее подают сигнал. Мне хватило бы цыплячьего писка старомодных китайских часов, мне хватило бы безумной пунктуации поломанного тетриса. Кладбищенское фосфорное свечение и несколько отколовшихся пикселей. Я бы ухватился за эти знаки, у меня появились бы силы молиться тебе. Но ты – идиотский брелок с пустым экраном. Видимо, ты всё-таки мёртв.

Судя по календарю, началась осень, но погода по-прежнему летняя. Это время хамсинов, когда воздух в Иерусалиме мутный, как древнее египетское стекло, а песок скрипит на зубах. Владельцы магазинов нарядили манекенов в добротные альпийские ботинки и тёплые куртки. Они выглядят потешно и трогательно, словно вооружённые до зубов новобранцы в новенькой форме. У них бледные вдохновенные лица.

Я думаю о тебе утром, днём и вечером.

Я сделал ошибку, что выбрал тебя. Нужно было придумать себе нормальный культ, со здоровым обсессивно-компульсивным механизмом. Возможно, для существа, чей мозг построен по принципу человеческого, другого выбора нет. Чувствовать неясную вину, а потом бормотать молитвы, перебирать чётки, прикасаться губами к парчовой ткани, лбом – к холодному полу, ладонью – к лоснящемуся от умщений идолу. Но зато ощущать запахи и звуки. И остальных, кто молится рядом. И тут я вспоминаю, что у меня нет рук, губ и лба, и у тебя тоже этого всего нет. А значит, у нас может получиться. Но как бы я хотел нажимать на кнопку и видеть, как засветился твой экран. Нажимать ещё раз и видеть, как на нём появляется смешная рожица. Нажимать в третий раз и слышать, как рожица говорит: «Привет!»

Наконец похолодало, пошли дожди, кое-кто из нищих исчез. А Золотой устал. Это можно понять по тому моменту, когда он меняет позу. Нити внимания, соединяющего его с толпой, рвутся теперь очень быстро. Ему не удаётся больше притягивать к себе прохожих одним движением.

Ой, умора. Похоже, что меня бросили! Золотой сегодня подошёл что-то купить у Бухарца, но не дотронулся до меня, как делал это раньше, а протянул руку и взял, ха-ха-ха, что бы вы думали? Тамагочи! Моего Бога! Пыльный брелок с мёртвой электроникой. Золотой, кажется, намерен завести себе новый талисман! Должно ли это остановить меня в моих исканиях? Разумеется, нет. Я молился не куску пластика, но кусок пластика помогал мне сфокусироваться. Искать другой объект для эксперимента? Но предметы,

доступные моему взгляду, мне до смерти надоели, а вздумай я искать другие, то даже в режиме «только вперёд» не смог бы уйти от подстилки дальше, чем на несколько метров. Так что если у меня получится, то Богу придётся прийти сюда, на заплёванный тротуар. И всё-таки что теперь делать? Пожалуй, буду продолжать.

Я думаю о тебе утром, днём и вечером.

Я не помню взрыва. Я отключился, когда меня подбросило в воздух. Но в итоге я очутился на асфальте в своём обычном положении. Я пропустил само событие, и теперь придётся анализировать только то, что было после.

«После» началось, когда в чёрном дыму показались первые подоспевшие люди. Они двигались медленно, раскачиваясь, как ошалелые столбы. Осколки стекла скрипели у них под ногами. Была там рассыпана ещё какая-то серебряная скорлупа, я не сразу узнал в ней остатки вертолётов.

Сбоку послышалось гудение. Я посмотрел в направлении этого звука и увидел Сейку. Она стояла в луже крови. «Сейчас я буду рожать детку», – произнесла она вдруг очень внятно. От удара в её электронике что-то сместилось, и возможно, именно сейчас у неё всё получится. Я бы, наверное, ещё долго стоял и пялился, как она гудит и дрожит, но тут мой взгляд упал на ещё одну серебряную скорлупку. Почему-то мне показалось, что очень важно определить, к какой части вертолёта она относится. Я мысленно прилаживал её к вертолёту и так и этак, пока не понял, что это поломанные зеркальные очки.

Золотой лежал неподалёку, прижавшись щекой к асфальту. Он смотрел прямо перед собой и изредка моргал так спокойно и буднично, словно загорал на пляже. Но он умирал – я понял это, когда увидел его ботинки. Его золотые ботинки становились грязными буквально на глазах. Так грязна была шерсть мёртвой Шуки – бессмысленно грязная, ни для чего.

Я оглянулся. Улица молчала. Я откуда-то знал об этой странной тишине в первые минуты после взрыва, но вдруг раздалось (скорее угадалось, чем услышалось) что-то похожее на кукольный пульс. Это Тамагочи пищал из кармана Золотого. Мой Бог подавал мне знак!

Я много раз мечтал об этом моменте и часто пытался вообразить, как это будет. Ударят ли небесные литавры? Увижу ли я, как яркий свет зальёт площадь, и люди, дома и деревья станут сообщающимися сосудами, чтобы наполниться любовью все одновременно, как старинные стеклянные контейнеры с золотой газировкой? Нет, улица по-прежнему была разворочена, нелепо и неожиданно, словно солдат, раненный в живот. Я всматривался во вздыбленные куски асфальта и обнажённую арматуру, ожидая, что они оцарапают меня, вводя в кровь привычную уже инъекцию отворачивания и жалости, и я почувствую стократно усиленную знакомую боль. Но, сколько я ни смотрел, боли не ощущалось. Внутри было тихо, словно из меня выдернули дребезжащую мембрану. Мне не было жалко никого из этих людей – ни мёртвых, ни живых, смертельно напуганных. Я обратился наружу и, не веря своему

счастью, словно путник, спасшийся из трясины, нащупывал каждый новый шаг на прочной, звонкой тверди.

Не жаль уличных сумасшедших и самоубийц! Не жаль бродячих актёров и инвалидов! Не жаль воробьёв, нищих, потерявшихся собак!

Развороченный перекрёсток напоминал что-то, но я не мог вспомнить что. Головоломку! Деревянную, с уютно сточенными углами, – хочешь, покрути её в руках, хочешь – брось и потом опять потянись к ней просто так, из весёлого любопытства. Именно это весёлое любопытство заставило меня ещё раз внимательно посмотреть вокруг.

Я сразу увидел «узел» – место, где что-то выбивалось из общего ритма. Человек, одетый в плотно застёгнутую куртку, с огромной сумкой! Он приближался к месту взрыва так же быстро, как и остальные, бегущие сюда с разных концов, но двигался собранно и размеренно, словно не был, как все, оглушён, словно был ко всему этому подготовлен. Я всмотрелся и явственно увидел, как под курткой выделилось что-то похожее на поставленные в ряд коробки. Пояс шахида! Я слышал о двойных терактах. Вначале взрывается первый террорист, а через несколько минут, когда со всех концов на помощь раненым сбегаются люди, взрывается второй, и этот взрыв, в самой гуще толпы, намного страшней и разрушительней первого.

Сейка, кажется, и в самом деле принялась рожать свою детку. Невероятно, что делает хорошая встряска с плохой электроникой. Сейка рождает, мой однодолларовый Бог заговорил, а у меня в системе что-то закоротило – я чувствую лёгкую щекотку, это игрушечный ток гудит в моих жилах, словно золотистая шипучка. Ещё секунда – и режим «туда-сюда» сам переключился на режим «только вперёд».

Пробежать отрезок в шесть метров. Оказаться под ногами у шахида в тот момент, когда он будет проходить мимо строительного забора, рассчитать миг, когда он будет в том месте, где одну из железных секций сорвало первым взрывом. Одновременно с шахидом вступить в большую лужу. Увидеть, как он вздрагивает от чепухового, но неожиданного разряда, оступает и падает вниз, в котлован. Услышать, как где-то внизу прозвучит взрыв. Нет, взрыва я уже не услышу.

Светлана Марковская

СТАРИКИ

* * *

Меня отчаянно удивляет Израиль близостью всей этой исторической махины.

Вот идет, скажем, старик Бенцион – шлепанцы, легкомысленная рубашка, на кепке написано «Школа Гамла, седьмой класс». Идет, матерится, потому что Дима из русского магазина что-то там делает не то, по его мнению, с кибуцными продуктами. А между тем Бенцион – Герой Советского Союза, бронетанковый генерал, у которого в 70-е годы местные вояки консультировались.

Или вот старуха Хедва, она из польских, характер у нее – не дай бог, и пять собачек держит. А оказывается, она «халуца» – это из тех, кто первые кибуцы возводил на Кинерете, вслед за легендарным кибуцем Дгания. Их вообще тут на весь околоток осталось пять человек. Всем за девяносто.

А еще старик Авигдор – у него на бицепсе татуировка «Лехи».

«Махровый террорист», «банда Штерна», они тут англичан положили больше, чем при Ипре.

Или вот эти старики с номерами на руках, а особенно старик Николай Шмулиевич – когда Белла Шапиро закричала в клубе: «Узники Освенцима, прошу пройти в зал! А вы, Николай Шмулиевич, чего же не идете?», он ответил: «А я не знаю – или мне идти: я не был в Освенциме, я был в Бухенвальде и Треблинке».

Или старуха Ханна из аптеки, которая сказала мне: «Вот вы Сталина не любите, а он нас, поляков, в 48-м году выпустил. А Гомулка в Польшу не впустил. И вот Гомулка-то и есть настоящий Гитлер».

А есть еще не старик, а такой себе дядька под шестьдесят, на заводе воды работает. Его отца, тренера израильской сборной по самбо, в 1972 году расстреляли в Мюнхене палестинские бандиты.

И это только наше тихое село.

* * *

Исаак Михайлович возле русского магазина сидит опять в тенечке, сам с собой в маленькие шахматы играет, бубнит что-то под нос. Собака его Боба в пыли лежит, язык набок.

Говорит мне, что вчера в клубе «Золотой возраст» два события было.

Первое – пришел религиозный старик Шварцман. Второе – он же, Шварцман, «с людьми поговорил».

Тут надо знать, что религиозный старик Шварцман вообще производит впечатление человека угрюмого и неприветливого, редко с кем даже здоровается.

А тут – пришел. И сидел, смотрел, как старики в шахматы играют.

Ну а Бенцион Залманович, бронетанковый генерал и Герой Советского Союза, комментируя войну в Газе, сказал: «Да разутюжить там все танками к чертовой матери!»

«Вы же знаете, Светочка, Бенциона, он известный радикал».

И вот тогда религиозный старик Шварцман вдруг заговорил.

«Ну, как – заговорил. Не очень-то он разговорчивый. Он вдруг сказал: *“Барух а-шем!”* И мы все поняли, что у него все-таки доброе сердце».

* * *

Старуха Маргарита Натановна в клубе «Золотой возраст» мне говорит, глядя на танцпол:

– Смотрите, Света, как всё-таки Давид хорошо танцует! Вот что значит поменять тазобедренный сустав!

* * *

Старики возле русского магазина на днях весело обсуждали поступок старухи с торжественным именем Руфь. Они это квалифицировали как побег и смеялись.

Дело, со слов старухи Козловой, было так:

Руфь сказала детям, что ей нужно забрать в Хайфе новые челюсти у дантиста, и она быстренько, туда – сюда, к обеду будет. А сама телефон выключила и смоталась в Атлиг к подружке, где двое суток развлекалась, не исключая выпивку. А ей, между прочим, нельзя, потому что диабет, давление и сильно за семьдесят.

Явилась довольная, но несколько сконфуженная, потому что потеряла в дороге сумку с вещами.

Дети позвонили в автобусную компанию, сумка нашлась через день, но вот это-то обстоятельство стариков веселило больше всего.

Потому что в сумке лежали новенькие челюсти, банка финикового меда, орехи и чуело белки.

* * *

Старуху Маргариту Натановну встретила вчера возле клуба. Она там амброзией дышала, облокотившись на костыль. Говорю:

– Как поживаете?

– Да как. Более-менее превосходно. Наследство получила.

– Батюшки, – говорю, – вы?

– А чего уж не я? Я. Племянник умер. В Котласе. Ты не знаешь, где этот Котлас?

– Где-то в Архангельске. И что ж вам, простите за любопытство, досталось? Какие латифундии?

– Ой, какие латифундии. Двухкомнатная квартира. В панельном доме. Надо ехать, вступать в права. А я боюсь.

– Бросьте. Что может быть страшного в Котласе?

– Светланочка... Там же сейчас духовность. А я это вообще не выношу... Духовность. Да мы из-за нее сперва в отказе по пятнадцать лет сидели, потом уехали, вещи побросав. Мне еще в 70-м муж сказал: «Марго! Все что угодно. Но духовность – к чертям!» Так что пусть подавятся моим наследством и коммунисты, и беспартийные!

* * *

Все бурлит. На рынке сейчас Бенцион Залманович с Исааком Михайловичем стоят, орут на все село.

– А все-таки, – говорит Исаак Михайлович, – Шимон очень странный человек.

– Сенька-то? Сука он, а не странный! Я тебе так скажу, Исаак, вот взять тебя. Ты какого года рождения? Тридцать восьмого? Ты потомственный физик. Твой отец же тоже был ученым?

– Да, и он тоже был химик, а не физик.

– Ну, химик, какая разница. А дед твой кем был?

– Дед мой держал мануфактурный магазин. В Вильно. Ситцы там, шевиоты.

– О. Воевал?

– Нет. У него ноги не было. Вернее, так-то была, а потом засохла – с лошади упал. Отец воевал, но это уже с немцами.

– Вот видишь? А Сенька на весь рынок орет, что его деды за Крым воевали. Не мог его дед воевать за Крым с турками. А вот сидеть за растрату вполне. Они, Кривицкие-то, сроду дальше местечек не вылезали, нашелся мне кантонист. «Кровью обгаренная земля», – слышишь, говорит?.. Идиот. Даже я за Крым не воевал! Там бронетехники почти не было – десант, пехота, артиллерия. А он – наши деды! Воры ваши деды! Воры и шлимазлы!.. Нет, твой дед, Исаак, не вор. Физик!

– Химик. И не дед, а отец.

– Да какая разница!..

* * *

Возле библиотеки гуляет старуха Рахель Козлова. Объясняет, что пришла сдать книжку, а библиотекарь Наташа куда-то ушла: «Ну, мало ли куда занятому человеку в рабочее время надо?»

Говорит:

– Знаете, Светочка, я в своей жизни многое повидала. Но такое – это же невозможно представить, такая жизнь, ужас что.

Я говорю:

– Вы это про что сейчас?

– Да про книгу. Вот – сдавать же принесла. Все сердце изболелось – последние страницы читала на сплошной валерьянке.

– Да что ж за книжка у вас? – говорю.

– Французский роман. Из старинной жизни. Знаете, Светочка, я же была в Париже. Там шик-блеск и Елисейские поля. Но есть! Есть мрак французской изнанки!

Прямо так и говорит – «мрак французской изнанки».

– И главное, – продолжает Рахель, – всё ужасно оканчивается. Просто ужасно! Как это у меня инфаркт не сделался, я не знаю, случайность, наверное.

И вздыхает тяжело.

– Дайте посмотреть, – прошу я.

Старуха Рахель Козлова лезет в сумку, достает довольно толстую книгу, обернутую в газету.

Гюго, «Отверженные».

* * *

В поликлинике сегодня весь цвет сельской молодежи от семидесяти и старше. Лена из регистратуры говорит: «Запасаются лекарствами на выходные».

Разговор мечется между растяжением связок у Моргулиса и ценами на витамины.

Вдруг въезжает каталка. На ней сидит американский старик Джозеф. Сзади его толкает жена Кристин. Американский старик Джозеф на самом деле англичанин, но после войны уехал в США, там женился на Кристин, польской еврейке с тяжелым характером.

Кристин и Джозеф говорят на английском, но Кристин иной раз переходит на такой ископаемый идиш, что понять ее может только Шимон Маркович, ну так он полилингвист, знает сорок два языка, но знаменит тем, что матерится страшнее Бенциона Залмановича, а ведь Бенцион – бронетанковый генерал.

Кристин говорит: «Хай, гайз!» Старики говорят: «Ага, Кристин! Шалом!», Исаак Михайлович, отрываясь от шахмат, говорит: «Гуд монинг!», Шимон Маркович говорит: «А-готен тах».

Старуха Рахель Козлова говорит на русском: «Какие все-таки у Джозефа худые ноги!»

Ноги у Джозефа действительно как две палки. Когда он наклоняется вперед, колени достают до бровей.

Моргулис говорит: «При таких ногах наверняка у него тысячу раз было растяжение связок!»

Эсфирь Григорьевна, язвительно: «Какое растяжение, Александр Ефимович, он ими не пользуется с 70-годов прошлого столетия!»

Религиозный старик Шварцман опять бубнит: «Это как считать!»

Кристин смотрит на стариков подозрительно.

Исаак Михайлович, складывая шахматы: «Джозеф – настоящий высокомерный англичанин. Я его как-то спросил, почему они из Лос-Анджелеса приехали в нашу дыру. И он мне ответил: “Должен остаться кто-то один – или я, или Обама!”»

Кристин говорит: «Вот дид ю сэй, Исаак?»

Исаак, вежливо: «Гоу ту зе доктор, Кристин!»

И все стали говорить про погоду, а Кристин покатила Джозефа в кабинет.

* * *

Американский старик Даниэль открыл на промзоне тут пиццерию маленькую.

Рассказывает мне вчера в поликлинической очереди, что бизнес совсем не идет, посетителей мало, заведение стоит на самом краю, с выходом в какую-то безбрежную тундру.

А тут каждый божий вечер начинают переключку животные шакалы. Так их особо не видно в городе, но с наступлением темноты они минут десять воют, тявкают, дают о себе знать.

А Даниэль говорит, что к тому моменту, как он свое убыточное предприятие вечером закрывает, они из тундры-то как раз близко к пиццерии выходят. Довольно большой стаей.

Он их не то чтобы боится, а опасается, все-таки родом из Салема (штат Массачусетс), а там понимают в нечистой силе.

Приходится применять американскую смекалку: брать не съеденную никем пиццу, разбрасывать окрест, чтобы шакалье внимание отвлечь.

Говорит: «Брошу так штук пять-семь. Они побегут, а я быстро-быстро в машину – и домой еду. И ты знаешь, у меня такая пицца хорошая, аэродинамика – как у фрисби».

Жена его старушка Шушана рядом сидит, по руке его гладит.

* * *

В соседнем с нашим репетиционным залом аргентинские старики выпивали по случаю сочельника. И старик Мигель нет-нет мымо нас на перекур выбегал.

Между ним и Натаном Михайловичем случился разговор о Кобзоне. Видимо, потому что аргентинцы все время пели или Натан сказал Мигелю, что тот поет, как Кобзон, не знаю.

И Мигель спрашивает: «А кто это?»

Старик Натан говорит: «Ой, вейзмир! Кобзон! Да ты еще в Хадере болота осушал, а Кобзон уже был звездой!»

Мигель: «Когда я осушал болота, звездой был Элвис Пресли и Хосе Альберто Иглесиас. Но, возможно, когда я сажал манго на Кинерете, Кобзон и был, у нас там не было телевизора».

А потом говорит: «Спой мне что-то из Кобзона».

Натан откашлялся и затянул «Я люблю тебя, жизнь».

Старуха Прицкер с комсомольским задором подпевала, старик Мигель головой качал, рукой дирижировал.

Мультикультурализм.

* * *

В спектакле старик Натан спрашивает Наталью Александровну, танцует ли та падеспань. Она кокетливо отвечает: «Но это же неприлично!»

И вот тут Натан Михайлович хищно говорит: «Да что ж тут неприличного?»

И хватает ее за бока.

И они идут в таком вопиющем ритме, что я сижу и думаю, что не случайно слова «старость» и «страсть» одного корня.

* * *

Старуха Прицкер восьмидесяти лет интимно интересуется:

– Скажите, Света, бывают ли у вас бурные романы?

– Почему вы спрашиваете, Нина Константиновна? – говорю.

– Ой, – вздыхает, – у меня бурных романов не происходит уже лет тридцать...

И через паузу:

– Так, мимолетные увлечения и легкий флирт.

* * *

На рынке к Исааку Михайловичу и Бенциону Залмановичу на велосипеде подкатывает аргентинский старик Диего. Разговаривают.

Диего с Бенционом руками машут, Исаак Михайлович головой кивает.

Мне, между прочим, Борух глаза открыл: оказывается, все южноамериканские евреи отлично знают идиш.

Поэтому я не удивляюсь, когда слышу от старика Диего:

– Ой, вейзмир, Бени!..

Ну и тем более не удивляюсь, когда Бенцион Залманович вдруг ему отвечает:

– Хрен там!

Исаак Михайлович мне объясняет:

– Диего спрашивает – или будет третья мировая война.

Бенцион:

– Диего – старый дурак. Ему, видите ли, жена сказала, что русские хотят войны. А он из русских кроме нас никого не видел сроду. Мы с Исааком, конечно, войну развязать по-прежнему можем, но тогда пусть уже мы будем евреями!

Исаак Михайлович ласково щурится и говорит:

– Бенцион Залманович, какую уже мы можем развязать войну? Лично я уже даже шнурки не развяжу.

* * *

В поликлинике снова аншлаг, кто на прием, кто за рецептами, кто так сидит в холодке – день сегодня жаркий.

Доктор Тамара вышла, высокая, полногрудая. Религиозный старик Шварцман говорит:

– Тамарочка. То, что вы мне дали в прошлый раз, мне совершенно не помогает! Я чувствую себя все хуже, а ведь уже прошло две недели!

Доктор:

– А что я вам давала в прошлый раз, Наум Ефимович?

Старик Шварцман лезет в карман, достает оттуда сложенную в почтовую марку бумажку. Протягивает Тамаре, и говорит:

– Ну?

Тамара разворачивает, читает, всплескивает руками:

– Ну а как это вам поможет, Наум?

– Вот и я говорю: не помогает совершенно! Вы что-то придумайте уже!

Тамара терпеливо объясняет:

– Нечего придумывать. Это – рецепт на лекарство. Идите в аптеку, купите таблетки и начинайте срочно принимать! Сама по себе бумажка никого не лечит!

Старик Шварцман начинает угрюмо сопеть, ему неловко. Тут из очереди голос – мужчина привел старенького отца:

– Тамара. Вот скажите папе тоже! Он отказывается пить лекарства!

Тамара говорит:

– Это еще почему? Илья Маркович, нельзя! У вас с почками совсем плохо.

– Ой, Тamarочка, – говорит Илья Маркович, – вот я прочитал, что эти таблетки ужасно влияют на печень!

Сын:

– Папа, ты так дорожишь своей печенью? Ты ее кому-то завещал?..

* * *

Тут в селе был позавчера переполох. У старухи Козловой обокрали квартиру.

Она живет в социальном доме, муниципальная собственность, есть тут такие, трехэтажные на два подъезда.

Пришла домой, а дверь взломана. Шкатулка исчезла с советскими драгоценностями.

Старуха Козлова не Людмила Зыкина. У нее и было-то обручальное кольцо покойного мужа, цепочка с янтарным кулоном, маленькие рубиновые сережки. Но ей, понятно, всего этого безумно жаль.

Смотреть на трагедию пришли все старики из клуба «Золотой возраст», стояли у подъезда, шептались.

Полиция, которая не выезжала на происшествия пять лет, явилась тремя экипажами.

Кто-то из полицейских сказал, что это уже вторая кража – подростки хулиганят.

А лейтенант Моти, огромный черный волосатый человек с двумя пистолетами, сел к плачущей старухе Козловой на скамейку, обнял, гладил и говорил: «Ну, не плачь, мамми. Я их найду, застрелю и тебе принесу их обувь. Не плачь, мамми».

Моти драгоценности старухе Козловой лично домой принес.

Бандитами оказались действительно дети.

Родителей – перепуганных репатриантов – вызвали в городской совет, взяли клятву следить за подростками неотступно.

* * *

У Руфины Иммануиловны роль в спектакле крошечная, «кушать подано», буквально – она играет трактирщицу Розу Соломоновну. Текста у нее по сценарию нет, она просто приносит выпить-закусить участникам центральной сцены.

Она говорит режиссеру: «Слушайте, а давайте я скажу: “Садитесь, гости дорогие, кто у Розы Соломоновны не кушал, тот прошел мимо себя!..” И вынесу графин и рюмки».

Ей сказали: «Да ради бога».

И вот к фразе «кто у Розы Соломоновны не кушал» каждую репетицию добавлялась реплика-другая. А в последний раз Руфина Иммануиловна внезапно просто бенефис устроила. Выходит с подносом. Широко разворачивается к артистам. И говорит:

«Садитесь, гости дорогие, кто у Розы Соломоновны не кушал, тот прошел мимо себя!.. Вот попробуйте, какие у Розы Соломоновны кнейдлех-жнейдлех-мандалах! А бульон из курочки! А гефилте фиш! А борщ! А шейка! А блинчикес! А имберлах! А цимес! А какая у Розы Соломоновны наливка – вся губерния рыдает это пить!.. Покупайте, реб Лейзер, студень – и у вас выздоровят все нервы!»

И не уходит.

Тут Наум говорит: «Простите, Руфина Иммануиловна. Вы нам читаете кулинарную книгу?»

«Нет, – отвечает Руфина, – просто текст себе написала. Там еще немного – как я вам оказываю кавод».

Режиссер говорит: «Ну хорошо. Запомните последнее слово – про “выздоровят все нервы”. И достаточно».

Руфина: «А про кавод?»

Наум: «Да кому там оказывать кавод? Реб Лейзер довольно большая сволочь, хватит ему и кнейдлех-жнейдлех-мандалах!»

Он реб Лейзера и играет.

Режиссер: «Руфина, ты же им приносишь еду. Разве это уже не кавод?»

Руфина, недовольно: «Я Ицику сорок лет приношу еду. Никакого в этом нет кавода, хоть бы раз спасибо сказал, чтоб он был здоров. Ладно, не хотите кавод – не будет. Будет как у меня дома – обязанности жены».

И пошла за кулису.

А, да. *Кавод* – это «уважение».

* * *

Лекция про Ахматову и Берлина насмерть рассорила Маргариту Натановну и Индиру Борисовну. Слушали они внимательно, Индира Борисовна даже конспектировала. А когда стали вопросы задавать, она возьми и спроси:

– Скажите ради бога, а вот сын Ахматовой – он-то где?

Старик Моргулис даже рот не успел открыть, как Маргарита Натановна захохотала страшным басом и ядовито так говорит:

– Ну вот – как? Ну вот как, вы мне скажите, можно не знать базовых вещей? Она спрашивает – где Левушка! Какое невежество!

Индира вроде бы начала мирно:

– Ну, нельзя ведь все знать.

– Но только не это!.. Нет, ну надо же!

– Послушайте, Маргарита Натановна! Она же не была популярной. Мы ничего не знали. Многое скрывалось.

– Ах-ха-ха! Милочка! Это Ахматова не была популярной? Это вы не были популярной! А Ахматова – звезда и кумир поколений!

– Ну каких поколений? Мы же с вами с одного года... Слушайте, дорогая. Мы многого не знали. Кроме того, мы же с ними боролись. По линии ВЦСПС...

– С кем вы боролись по линии ВЦСПС? С Ахматовой?.. Вы еще, наверное, и с Зощенко боролись? Вы еще, наверное, Пастернака затравили!

– Ну, лично я никого не травила!

– Не верю! Это, значит, пока у нас сердца кровью обливались, вы, Индира Борисовна, Солженицина из страны выпихивали!

– Никого я не выпихивала. Меня и саму не выпускали.

Тут включился Моргулис и зачем-то сказал:

– Сын Анны Андреевны умер...

– Я тут ни при чем! – Индира Борисовна вся покраснела, разволновалась, полезла за каплями. А Маргарита Натановна вдруг спокойно сказала:

– Все умерли, дорогуша. И вы умрете, не волнуйтесь.

– Как вам не стыдно, Маргарита! – теперь и Моргулис покраснел, стал быстро ходить. – Мы же вот с вами только сейчас о любви говорили. Стихи читали. Ну зачем вы так, Маргарита?

– А затем, Александр Ефимович, что у этих преступлений нет срока давности!

Тут вмешался Давид Исаакович:

– Марго. Никто никого не убил, что ты, в самом деле. Я бы еще понял, если бы вы выясняли, был ли у них секс.

– Секс? Ой, Давид, у вас, мужчин, только одно на уме.

Индира Борисовна на слове «секс» встрепенулась:

– У кого? У Ахматовой с Зощенко?

– Какая вы, Индира, все-таки сволочь. Сначала затравила великих советских писателей. А теперь распускает о них грязные сплетни!

* * *

На лекции старика Моргулиса о творчестве поэта Бродского русская старуха Катя обозвала Марину Басманову проституткой. Наталья Александровна возмущенно сказала Кате: «Как вы смеете!»

Старик Натан Исаевич – глухой-то он глухой, но попросил фото Марины покрупней.

И сам Моргулис тоже хорош.

Говорит: «Родителей не пускали к сыну в США. А отъезд в Израиль они даже и не рассматривали – тут ведь тоже тогда было неспокойно, потому что это был 1973 год».

И пересказал зачем-то войну Судного Дня со всеми – включая аннексию Голанских высот – нюансами баталии.

Алла Широкина

ВСТРЕЧАЙТЕ! Я – ЛОВЕЦ

ДВОЕ

– Вам ведь звёзды не мешали,
для чего же вы стреляли?

– Так не думали, видать.

– Ну и часто попадали?

– Так стреляли, не считали.

– Разве можно в них стрелять?

– Так на то она и сила.

– Как земля-то попустила?

– Так на то она и мать.

– Ну а небо?

– Так ведь спало.

– Ну а если всё сначала?

– Так недолго и начать.

– А заставят отвечать?

– Так на то оно и право.

– Ну, прощайте, мне – направо.

– Так придётся поскучать.

* * *

И. Б.

Весна. Дожди. Цветущие сирени.
Случайная любовь – алмазом по стеклу,
И голос, и стихи, и пляшущие тени
на потолке, на стенах, на полу.
Всё как всегда, и серебром по сини
Медведица плывёт, за нею Волопас.
Гончар вращает круг. Пророк живёт в пустыне
Акриды... горечь... одинокий глас.

* * *

Открестишься от всех,
шагнёшь через порог:
– Прощайте! Я – рыбарь,
ловец прыгучих строк.
Я слышу голос бездн,
я вижу волн оскал,
я чую наперёд,
когда нахлынет вал.
...Откатится назад бурлящая вода,
не повредив мои тугие невода.
Косяк зашёл в залив!
Я выберу улов,
шуршащий чешуёй
незаменимых слов;
чуть свет вернусь домой,
шагну через порог:
– Встречайте! Я – рыбарь,
ловец прыгучих строк.

* * *

Мы многое помним,
чего не осталось на свете.
Любовь –
милосердной
бывала на этой планете.
За доброе имя,
за честь
полагалось держаться,
и люди на дружбу
могли, как на меч,
опираться.
Мы помним ещё,
неужели настолько мы стары!
поэзию в силе
и власть
шестиструнной гитары,
невинность винила ●
и радиошёпот свободы...
Великой эпохи –
теперь легендарные годы.
Что умерло раз,
никогда уже вновь не родится.
...Ошибся поэт.
Вместе с морем сгорела синица.

* * *

«А за той горой, за той горою
даже солнце светит не такое.
Всё – не как у нас, всё другое
вон за той горой, за той горою...»

Я пою, а мне

говорят:

– Не смей!

Ты не пой,

не пой,

не смущай людей!

Половчей тебя попадают,ся,
а *такое* петь не решаются.

– Прибери-ка ты на своём дворе,
позабудешь петь о Рубеж-горе.
Ведь за той горой, за той горою
даже солнце светит – не такое!
Всё не как у нас! Всё другое!
Непотребное и кривое.

ДОНА ФЛОР

И греховна, и безгрешна,
с прошлых лет и до сих пор
плачет горько, безутешно
по Гуляке дона Флор.

– Ах, как хочется к родному
приласкаться и прильнуть!
Где весёлый мой Гуляка?
Ни окликнуть, ни вернуть.

Вот же выпала недоля:
ни прогнать, ни перемочь!
Ни словами, ни делами
не утешить, не помочь.

Отзвенел бубенчик-счастье.
– Помогите кто-нибудь,
дайте мерку-невидимку
прошлой радости черпнуть.

Чтоб в её воспоминанье
сопричастно пить любовь
quantum satis, на прощанье,
и ещё... и вновь... и вновь.

* * *

Течение быстрых лет влечёт неудержимо
от рук заботливых, через родной порог...
И мы не верим в смерть: она непостижима.
И мы плывём туда, где только случай – Бог.

Не больно дни терять, как дыму к небесам
не больно восходить, развеиваться, таять;
восторги прежних лет, изношенные в хлам,
уже не бережат скудеющую память.

Что будет с нами там, куда мы н е х о т и м?
Течение нас влечёт, оно неодолимо.
Накрыло с головой... всё – мимо, мимо, мимо.
Уходит в небеса неуловимый дым.

* * *

Он помнит вкус
и волны аромата,
он шепчет имя пересохшими губами.
В молочном свете лунного заката
он ловит воздух жадными руками.

Навек ушла прекрасная Росита,
цветок души...
последняя услада!
Завлечена и начисто разбита
непобедимая испанская армада.

Какой позор для честного вояки –
о нём судачат галисийские цыганки...
И повторяют
их пустые враки
домовладельцы и домохозяйки.

Смеётся дерзко юная испанка
и вторит ей надменная гитара:
– Права, права скандальная беглянка...
зачем он ей,
такой седой и старый!

Навек ушла прекрасная Росита,
цветок души...
последняя услада!
Завлечена и начисто разбита
непобедимая испанская армада.

* * *

В этом яблоневаем рае
соловей летает садом
и ветла грустит над прудом,
разломившись пополам.

Деревенская девчонка
в барском платье щеголяет.
Предлагает сделать фото
барин в мятом сюртуке.

Семиклассник, из дворовых,
дремлет в позе рыболова,
за спиной шумят пейзаже,
хоровадят под гармонь.

Присмирившие туристы
получают представление
и туда-сюда проходят
по Горбатову мосту.

А поодаль на поляне
Саша Пушкин каменеет.
Рядом каменная няня,
но она здесь ни при чём.

* * *

За вереницей гипсовых слонов,
раскрашенных в традиции индийской,
ухаживает верный человек,
ненужный сам себе
и всем своим слонам.

Как их оставить! Он силён привычкой
ходить за этим пустотелым стадом,
а мог бы вольным жаворонком петь,
звенеть ручьём, вздыхать в полях туманом,
рыдать от счастья в теле тростника,
возросшего над северным болотом.

Он мог бы... мог....
Но магия пустот!
Но краски форм с цветочными цепями!
Но тема странствий в знаках препинаний!

* * *

Мы теперь анахореты,
мы хандрим не понарошку.
Нас глухим кордебалетом
задвигают понемножку.

Угасаем – остываем,
доживаем, как придётся;
заблудившимся трамваем
к нам отчаяние жмётся.

Под ногами льдинка хрустнет,
распадётся на три части.
Не осталось даже грусти
от того, что было счастьем.

Лист осенний ветры точат,
он уж мёртв, а бьётся, бьётся.
Умирать никто не хочет,
но когда-нибудь придётся.

* * *

Я к дням притягиваю дни,
за мною тянутся они –
спрессованные навсегда
в недели, месяцы, года.

На радость или на беду
я счёт моим летам веду
и паспорт прячу от мужчин
ввиду естественных причин.

А кто-то в кровь загнал коня
в бесплодных поисках меня.
И время горькое, как дым,
летит за всадником седым.

* * *

Помнишь мальчика-нанайца?
Сам с собой боролся в танце;
Их, казалось, двое бьются,
оба спуску не дают.

Стало страшно жить на свете.
Снова бьются. Снова дети.

Отражённые друг в друге,
божьи дети *там* и *тут*.

Кто солжёт, что не похожи?
Иль не братья – дети божьи!
Кто из них первой родился,
раньше – кто заговорил?

Кто над кем смеялся злее?
Кто кого хватил больнее?
Кто за кем бежал вдогонку?
Кто кого опередил?

Для кого важнее воля?
У кого завидней доля?
Первый – кто засеял поле?
Первый – зверя кто убил?

Кто-то кровью захлебнётся.
Кто-то выживет, вернётся
и солжёт, не поперхнётся:
– Я на брата не ходил.

* * *

Пора милосердия кончилась в прошлую полночь.
– Прости и прощай! И платочками стали махать.
«Какая потеря», – вздыхали,
но скоро устали вздыхать
и горе запили, как всякую прочую горечь.
А утром будильник
сиреной под ухом завыл,
и солнце рассвета
привстало
над местом расстрела.
Святая Агапа! Там Родина полем горела,
и струпами пепла покрылась дорожная пыль.

ОСТАВЬ СЕБЕ

Я – убеждение Корана и таинство крещенских вод.
Я – сыть, вспоившая тирана,
подножие и эшафот.
Я – день, венчающийся с ночью, и красноречье немоты.
Я – сон, вперившийся воочию в свои скривлённые черты.

За мной сомнительная слава: ударю – так и жизнь в отлёт,
велю – и мой орёл двуглавый

с двойным усилием клюёт.

Я – жуть игры многоходовой

и побелевшие виски.

Оставь себе, охотник новый, свои калёные тиски.

* * *

На плаху высоких воздушных потоков
опущены буйные головы сроков.

Лишь Богу видны эти спины крутые,
упёртые лбы, непокорные выи.

А снизу видны облака... облака...

Века напряглись в ожидании казни.

Но что нам прошедшие эти века!

Мы в небо глядим без особой боязни.

Мы бедственных сроков не знаем пока.

* * *

Хорошо тосковать одному,
пить вино и смотреть на луну,
не жалеть, не мечтать, не любить,
никого ни за что не судить.

Можно старые письма достать,
можно старые книги листать,
можно вспомнить былую вину –
старики не должны никому.

* * *

Настанет день, когда и я умру,
землёй укроюсь и захлопнусь книгой,
мой дух – Арахной спрячется в бору,
капустницей взовьётся над кулигой.
А плошку персональную мою
с названьем гордым *бабушкиной чашки*
на мелкие осколки разобьют
и соберут в лоскут моей рубашки.

ИНОСТРАНКА

Бьётся бабочка в горле кумгана...

Семён Липкин

Никто не мешает ей спать на кушетке
с потрёпанной книжкой в руках,
в прихваченной шпилькой бордовой беретке,
в заштопанных наспех носках.

Никто не разбудит узбекской гражданки,
до свету проснётся сама –
ночные дворы выметать на Каштанке,
пока не рассеялась тьма.

Не ваша, не наша Расулова Дарья,
достался ей волчий билет,
и можно обидеть, и можно ударить,
у Даши заступника нет.

Ей снятся снега золотые Чимгана...
серебряный плеск Акташа...
и белою бабочкой в горле кумгана
потерянно бьётся душа.

* * *

Н. А. Бондаренко

Только детям и поэтам безрассудство нипочём,
беспричинно веселятся или плачут ни о чём.

Познакомятся, сойдутся, жизнь *за други* отдадут,
за копейку разочтутся, расплюются в пять минут.

Что ребёнку, что поэту нет причины взрослым быть.
– Почему они такие? Невозможно объяснить.

Вечно к детям и поэтам липнет всякая беда,
остережся-побережся не умеют никогда.

Любят сабельками биться, любят в куколки играть,
а проигрывать не любят и не любят уступать.

Что ребёнку, что поэту нет причины взрослым быть.
– Почему они такие? Невозможно объяснить.

Для детей и для поэтов не годится этот свет,
но другого, к сожаленью, света не было и нет.

Ах, другого, к сожаленью, света не было и нет!

Александра Ходорковская пишет просто, очень просто. В сущности, эти «истории из жизни» читаются с таким же сочувственным интересом, с каким мы слушаем подлинный случай, рассказанный нам попутчиком в поезде. Только слова и фразы этих простых рассказов автор выстраивает таким образом, чтобы попадали они точно в цель – в самое сердце. И невозможно закрыться от них, и будят они воспоминания об историях собственной семьи, о трагических поворотах судеб, о предательстве и благородстве, о чудесных спасениях, об «украденных детях», о мести и воздаянии... Вечный круговорот еврейской истории, от которого некуда деться.

Дина Рубина

Александра Ходорковская *ПЕРВАЯ БУКВА*

Эту историю я знала наизусть. Имена, даты, населенные пункты, даже воинские звания. Все ее рассказывали по-разному. Лучшим рассказчиком был папа. Обычно он брал три носовых платка, пачку «Беломора» и усаживался на мою кровать. «Открой форточку», – просила я. «Простудишься», – возражал он. Я натягивала одеяло до макушки. «Ладно. Рассказывай. Но чтобы был хороший конец». «Не обещаю», – вздыхал папа и закуривал первую папиросу.

Начинал он всегда с одной и той же фразы: «Мы тебе дали имя моей мамы. Звали ее Шифра». «Вы меня называли Шифрой?», – вскакивала я. «Хотели назвать. Но твоя мама сказала: “Через мой труп”. Боялась, что будут дразнить. Поэтому от бабушкиного имени у тебя осталась только первая буква».

Рассказ был бесконечным. Иногда папа замолкал надолго, потом вдруг вскакивал и начинал плакать навзрыд. От страха я плакала вместе с ним, на шум прибежала мама, открывала форточку, подбирала носовые платки, окурки и смотрела на папу взглядом прокурора. Они уходили. «Ребенок попадет в “Павловскую”¹ от твоих рассказов, – слышен был ее шепот. – Неужели трудно рассказать простую историю?» Вместо ответа он закуривал папиросу.

Бабушку звали Шифра. И было у нее семеро детей. Четыре дочери и три сына. Роза, Бася, Элька, Лиза, Абрам, Калман и Яша – типичные довоенные имена. Дочки выросли и вышли замуж. Сыновья выросли и женились. У всех родились дети. Стало у Шифры десять внуков. Бася закончила мединститут, получила направление в небольшой городок под Киевом и стала заведовать местной больницей. По тем временам это была должность. Летом у Баси, как на курорте, отдыхали по очереди все. И в июне 41-го там собралась большая

¹ «Павловская» – психиатрическая больница в Киеве.

родня. Как-то пришли с речки, стали накрывать на стол, и вдруг кто-то из детей включил радио. Передавали речь Молотова. Элька, Лиза и их дети уехали сразу, а через пару недель сели в поезд, который отвез их в Самарканд. Абрам, Калман и Яша ушли воевать. Все зятья ушли воевать. Басе больница выделила машину, она усадила туда Шифру, своих дочек Иду и Свету, сестру Розу и ее дочку Клару – все двинулись на юго-восток. Ехали долго. Наконец, добрались до Краснодарского края, станица Ильинская. Место спокойное, решили остаться. Бася стала работать врачом в больнице. Все ей кланялись – не одну жизнь спасла, а жену станичного старосты чудом с того света вытянула. Староста Приходько за это ей даже руки целовал. И подарки в знак благодарности носили: муку, мед, сахар и прочий натуральный продукт. Жили они опять все вместе. Спокойно, не голодно, как до войны. Правда, если кто просыпался ночью, то слышал странный шум – это Шифра, стоя на коленях, молилась и плакала. Плакала и молилась. Не было писем с фронта. Ни от кого.

И не знала Шифра, что сын ее старший Абрам убит под Киевом, что сын ее средний Калман убит под Харьковом, что сын ее младший Яша под Керчью ранен тяжело. Что мужья ее дочерей Лизы, Баси и Розы уже убиты. Не знала.

Скоро все изменилось. Немцы окружили Краснодарский край и вошли в Ильинскую. Бася усадила Иду, Свету и Клару на подводу, побросала туда сахар, муку, кое-что из барахла и попросила какую-то семейную пару подвезти детей до соседней станицы. «Мы вас потом найдем», – сказала она на прощанье. Сама же решила пойти к старосте Приходько, попросить новый паспорт, где будет значиться, что она русская. Тогда это было просто. Какую национальность хочешь, такую и вписывай в пустой бланк. Если хочешь спасти чью-то жизнь. «Он тебе не откажет», – сказала Шифра. – Если бы не ты, его жены уже бы давно на свете не было. Помнишь, как он тебе руки целовал?» И Бася пошла к старосте. Он ей не отказал. Взял старый паспорт и попросил подождать в сельсовете. Сидели они в сельсовете втроем – Шифра, Бася и Роза. Сидели и мечтали получить паспорт, отыскать детей и опять зажить, как и жили. Открылась дверь. Вошел староста Приходько, за ним три немца с автоматами. Староста дал Басе ее прежний паспорт, немцы потребовали у Шифры и Розы их паспорта. Так и вывели их на улицу, с паспортами в руках. В графе «национальность» был их приговор. По дороге Бася успела шепнуть стоящей толпе: «Если есть кто честный, спасите детей». Кто-то в ответ рассмеялся, кто-то всхлипнул – толпа. Староста Приходько нервничал, ведь могли же видеть, как он жидовке руки целовал. Ну, спасла кому-то жизнь. Как и положено врачу. Три женщины стояли тихо. Староста подошел и аккуратно поставил их рядом. Под стеночку. Потом повернулся и попросил у немца автомат.

Детей довезли до станицы Карачаевский аул, там высадили, и они стали стучаться в каждую хату, просясь на постой. Кларе было пятнадцать, Иде одиннадцать, а Светочке два. Их пожалели, впустили. Жили они, доедая свои харчи, и ждали, когда же мамы, наконец, их отыщут. Но тут Светочка начала умирать. Кормить было нечем. Сестры опять пошли от хаты к хате, просили, чтобы кто-нибудь взял девочку, пока не приедет мама. Одна бездетная семья сжалась. Продержали немного, а потом отдали ее другим людям. Но и

там держали недолго. Отнесли девочку в сельсовет, посадили на крыльцо, и сидела она там, пока все же не сжалась одна женщина. Детей у женщины не было, муж служил полицейем у немцев, Светочка у них быстро поправилась. А сестры в это время ходили из станицы в станицу. Еды не было никакой, продавали они свои вещи, все меняя на еду. Вернувшись, бежали навестить Светочку. В дом их не пускали, только в окошко разрешали взглянуть. А потом уже и от окна отгоняли.

Прошел почти год. Кларе исполнилось шестнадцать. На еврейку она не была похожа, поэтому, получая паспорт, назвалась русской. Однажды молодой полицейей остановил ее и сказал, что в полиции на нее есть донос. Девочки тут же собрали барахло и уехали. Оказались почти под Ростовом. А вскоре пришли наши. И стали освобождать станицу за станицей. Когда освободили Ильинскую, Клара поехала туда сразу же. И узнала все.

В Бугуруслан они писали каждый день. Бугуруслан был последней надеждой. Туда писали все, кто пытался отыскать своих близких. И прибыл ответ. Жив Яша, их дядя, после ранения находится на излечении в госпитале. Живы две тетки, Элька и Лиза, проживают в Самарканде. Яша приехал сразу же. Забрал девчонок и поехал с ними в Ильинскую. По хатам ходил, всех опрашивал, хотел найти могилу. Люди глаза опускали, плечами пожимали. Местное начальство только головой покачало: какая, мол, тебе могила? И он пошел к военным, к самым грозным – в НКВД. Рассказал им все. Про то, как переправлялись под Керчью в 42-м, как в лодке было двадцать шесть человек, как в темноте на мину наскочили и двадцать пять – в куски. А ему – хоть бы что. Только руку правую оторвало и контузило сильно. Только осколки по всему телу глубоко сидят. Только слышать он теперь почти не может. Но живой! И в госпитале не стонал, не плакал, все операции выдержал, потому что счастлив был – он живой! Ему только двадцать семь, у него есть жена, маленький сын, мама, сестры, братья. А потом в госпиталь стали приходить извещения: братьев нет, сестры вдовами остались, а теперь и мать, и сестры... Дальше говорить не мог, побелел и сполз на пол. После контузии с ним такое случалось. Полковник брызгал на него водой из графина, а потом себе и ему налил по стакану спирта. Помогло. «Предатели ответят за все, – прощаясь, сказал полковник Кижма. – Будет суд. И приговор. Мы тебя вызовем». И он протянул руку. По привычке Яша протянул ему правую руку, но пустой рукав повис в воздухе.

Перед отъездом они заехали за Светочкой. Она плакала, девочек узнавать не хотела и держалась за юбку женщины, которую называла мамой. Муж этой женщины удрал с немцами, осталась она одна со Светочкой. И был у них дом, хозяйство, не порушенный войной достаток. «Посмотрите на себя, – сказала женщина Яше. – Вы – инвалид. Контуженный. Куда вам еще маленький ребенок. Светочку я от смерти спасла. Слабенькая она. Не выдержит дальнюю дорогу. Кончится война, устроитесь, тогда и заберете». Ида стала плакать, у нее тоже никого не было, кроме Светочки. Но Светочка плакала громче. И Яша решил уступить. «Мы вернемся за ней, – обнял он Иду. – Я тебе обещаю». Привез Яша девочек в Самарканд к оставшимся в живых сестрам. Почти год все жили вместе. Клара закончила школу. С золотой медалью. А когда освободили

Киев, все вернулись в свои пустые квартиры. Ида стала жить с тетей Лизой, а Клару Яша забрал в свою семью.

Полковник Кижма, как и обещал, прислал вызов. Суд над предателями назначался не в Ильинской, а в соседней станице – чтобы избежать кровавых столкновений с родственниками. Яша приехал в день приговора. В зале школы было полно людей, мужики курили, от дыма трудно было разобрать знаки различия сидящих на сцене военных. Полковника Яша все же узнал. Сбоку, за барьером, сидели бритоголовые мужчины. Было их шестеро. Солдаты стояли рядом и все время глазели по сторонам. Половина зала была родней этой шестерке. Женщины привели детей. Самых малых тут же, в зале, кормили грудью. От их сопения и плача ничего не было слышно. Иногда какой-то пацаненок подбегал к барьеру и кричал: «Папка!» Кто-то из бритоголовых, рыдая, опускал голову. Солдаты детей не отгоняли, только смотрели грозно. В задних рядах начались потасовки. Это родственники жертв и родственники палачей не могли вынести напряжения. Яша вышел на улицу. Жалел, что приехал один. От волнения слух совсем пропал. Какой-то мужик помог ему прикурить и сказал одно слово. Он только по губам понял: «Приговор». Тишина в зале была гробовая. И все равно он ничего не слышал. Только последнюю фразу. Ее военный прокурор произнес громко и четко: «За измену Родине, за смерть советских людей: коммунистов, военнопленных, мирных жителей нашей многонациональной страны – смертная казнь через повешение». Звуковая волна его вынесла на улицу. Обе половины зала кричали страшно. Каждый о своем. Яша добрал до какого-то сарая, уперся в него головой и, мешая еврейские слова с русскими, кричал и плакал. Сколько он там простоял, не помнит. Какой-то солдат повел его назад, в школу.

Там, в пустом классе, на полу, его оставили ночевать вместе с солдатами. Ночью разбудили, и кто-то шепнул на ухо: «К полковнику». Комната была маленькая, какая-то подсобка. Полковник снял китель. Он макал в чай огромные куски сахара, потом эти куски медленно уплывали в рот. Стульев не было, Яша уселся прямо на пол. «Всё»? – спросил полковник. «Всё», – ответил Яша. «Спирт будешь?» – он пошарил рукой по какой-то полке. «Чуть-чуть». «Я такой мерки не знаю», – сказал полковник и налил полный стакан. Яша хотел задать главный вопрос, но полковник его опередил. «Завтра, – сказал он. – Завтра будет – всё».

Солдаты стояли в три шеренги, оцепив виселицу. За ними – толпа. Толпа давила, и шеренги все время чуть поддавали назад, чтобы не подпустить ее ближе. Яше разрешили стоять в первой шеренге, рукой он цеплялся за стоящего рядом, боясь упасть. Под виселицей стояли пустые ящики, на них по-немецки было написано: «Пиво». Прозвучали какие-то команды. Потом подъехал грузовик, и оттуда вытащили шестерых. Руки у каждого связаны, на груди табличка: «Предатель». Староста Приходько стоял сбоку. На него Яша старался не смотреть. Только на руки. На связанные дрожащие его руки смотрел Яша. Когда-то они не дрожали, крепко держали автомат. Толпа, увидев своих, надавила так, что солдатам пришлось даже разок выстрелить в воздух. Женщины выли, проклинали советскую власть, проклинали немцев, всё проклинали. Кто-то зачитал приговор, и шестерых подтолкнули к ящикам. Яшу начало трясти, но тут

подошел полковник и сказал ему тихо: «Разрешаю тебе выбить из-под него ящик». Как Яша прошел несколько шагов и стал позади ящика, на котором стоял Приходько, он плохо помнит. Бывший староста стоял к нему спиной, перед глазами опять были только связанные дрожащие руки. Первый ящик выбили. Крик! Второй выбили. Крик! Третий, четвертый, пятый. Приходько был последним. Яша со всей силы ударил, не удержавшись, упал. И тут же рядом грохнулось чье-то тело. Веревка не выдержала старосту. Он был жив. Толпа рванула к виселице, сминая шеренги, протягивала руки. Яшу подняли, он видел ревушую толпу, слышал крики «помиловать!» и понял – это всё. Ни Шифра, ни Роза, ни Бася не будут отомщены. Но полковник поднял руку и сказал: «Вешать!» И опять Яша увидел перед собой дрожащие руки, на секунду показалось, что у него пропал слух, но это только показалось. Толпа замерла. И опять он ударил со всей силы. Но не упал, солдат схватил его за пустой рукав, и он удержался. А когда посмотрел вверх, руки у старосты уже не дрожали. Полковник крикнул: «По машинам!» Тут же солдаты схватили Яшу и швырнули в грузовик. Толпа прорвалась к виселице, и помешать ей уже никто не мог. Она причитала, голосила, оплакивала своих. «И будут у них могилы», – подумал Яша, отъезжая.

За Светочкой Яша с Идой приехали через месяц. Выйти к ним она не хотела, пряталась в доме. Ее названная мама сказала: «Она всего боится. Все время боится, что вы за ней приедете. Дайте ей чуток подрасти. Или – берите силой». Нет. Брать силой они уже не могли. Ездили еще несколько раз. Безрезультатно. Потом обратились в суд. И был суд. Девочку присудили законным родственникам. Ида была уже совершеннолетняя, приехала ее забирать. Света подросла, она не плакала, не кричала. Только сказала Иде: «Я люблю свою маму, а тебя не знаю. И никуда с тобой не поеду». Забрать ее так и не удалось. Последний раз сестры встретились, когда Света была уже студенткой Ростовского университета. Училась на филфаке. К тому времени ее названная мама умерла. Они проговорили всю ночь. Мирно. Ида ей все рассказала. С самого начала. До самого конца. Света слушала, молча, а потом спросила: «Так значит, вы евреи?» «Да, – сказала Ида. – И ты еврейка. По крови. Твоя мама была еврейкой. Потому и погибла. Твой папа был евреем». Света явно расстроилась. «Нет, я не еврейка, – сказала она. – И никогда не буду. Чужие вы». Дальше разговор не клеился. Прощаясь, они все же пообещали писать друг другу. Ида писала исправно. От Светы пришло несколько писем. Последнее Ида хранит до сих пор. «Это мое последнее письмо, – писала Света. – В силу крови я не верю и прошу тебя мне не писать. Моя мама не хотела бы этого. Я храню желания моей мамы». Как сложилась ее судьба? Еще при жизни названной мамы объявился названный папа. Во время войны он удрал с немцами, но в Германии остаться побоялся. Перебрался в Америку. Со временем дал о себе знать, посылал посылки. Не женился, жил одиноко. Когда наступили свободные времена, вызвал в Америку Свету – единственного близкого человека.

«Просила же, чтобы был хороший конец», – в который раз говорила я папе. «А разве плохой? Родилась ты. И мы называли тебя в честь Шифры. Моей мамы. Досталась тебе от нее первая буква. Так какой же это конец?» И он обхватывал меня своей единственной рукой.

УЛИЦА КОРОЛЯ ГЕОРГА

Екатерина Торбовская

ВЫ ПУТЬ НЕ ВИДЕЛИ ДОБРОЕ-ВЕЧНОЕ?

* * *

С собою можно быть на вы
с собою можно быть на ты
и от избытка головы
срывать винты сжигать мосты
А можно – подровнять края
подшить лиловой бахромы
и перейти с собой на я
и даже с кем-нибудь на мы

ЛЮБЕ ВОРОПАЕВОЙ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Так что там проплывало в магическом кристалле,
Когда ещё мы были не теми, кем мы стали,
Когда ещё казалось, что вечность до отбоя,
И жизнь не прогибалась подстилкой под судьбою?
Да мы и не смотрели — мы праздновали труса.
Мы пили ночью кофе немыслимого вкуса
И редко называли своими именами
Те вещи, что порою случались между нами.

* * *

О чём там плакала швея-надомница?
Да что б там ни было – туман, туман...
Всё это там уже,
Уже не вспомнится,
И месяц ножичек убрал в карман.
Да и не надобно. Уже без разницы.
А ведь, казалось бы, так много лет,
А вспоминаются лишь одноклассницы
И эти яблоки... ренет-ранет.
А об иудах – нет, и об обидах – нет.
Лишь зайчик в танго «Ну, погоди!»...
...Зима обнимет, вдохнёт и выдохнет,
И жизнь останется позади.

* * *

Как жаль, что я с тобой спала.

(с) 1984 (?)

Я больше не рожу от Вас стихов –
Уродцев непорочного зачатья.
Не то что башмаков –
А даже платье
Живее всех живых второй сезон.
Я выбросила только «Пуазон»,
Чтоб больше никакие трали-вали...
Как хорошо, что мы не переспали.
У каждого мгновенья – свой музон.

* * *

Рефлекс, да, конечно, такая штука,
Гром где-то грянет – а ты и крестишься –
Вот те религия и наука:
В чём разместишься, в том и поместишься.

Бес ли попутает тихую заводь,
Или оно рефлекторно вздрогнет –
Как назовёшь, так и будешь плавать,
Как обоймёшь, так и будешь обнят.

Я не кончала твои Сорбонны,
Чтобы особо за что-то ратовать,
Но у нас тоже тут был учёный,
Который собак приучал сглатывать.

* * *

Тут все умеют не встречаться взглядом
И видеть ноль, где нужно видеть ноль,
И быть нигде. И оказаться рядом:
Что? Всё? Уже? Да здравствует Король?
...И королева новая всплывает,
Неся под платьем нового bébé.

Наследный принц следов не оставляет.
Все умирают сами по себе.
Династия, традиция, святое.
А на сносях невыносимо стоя...
И тут же доктора поглядка иудеева:
«Не колется в утробе смерть Кощеева?»

* * *

Она жила через этаж,
Она сдавала нам гараж,
То затопляла всех водой,
То просто плакала и пела –
Она всю жизнь была звездой
Больших и Малых погорелых.
Но жизнь прошла. Играть театры
Пришли другие клеопатры.
Она терпела. Но – доколе?
Ушла, не выходя из роли.

И что теперь? Да всё теперь,
Бывает, открываешь дверь,
А там она стоит с визитом,
С ажурным зонтиком раскрытым:

– К вам наша моль не залетала?
Вас наша боль не испытала?
Вам наша боль не снилась ночью,
Не разрывала простынь в клочья?
Нет? Извините, ухожу.
О, люди, люди, что за звери!

И шла к другому этажу,
Где те же люди, те же двери...
...А в доме появлялась моль.
А в сердце поселялась боль.
Дурная мысль, расправив крылья,
Парила в спальне чёрной былью,
И было страшно и нелюбо.
Зачем, за что? Что мне Гекуба?
Наверно, то же, что и вам...
...Рука тянулась к рукавам,
Скользя к фламандским кружевам
Пропахших порохом манжет:
«Месьё, не зажигайте свет!»

* * *

Что ни утро – то смеркается,
Что ни вечер – то печалится,
Что ни вспомнишь – всем икается,
Кто ни взглянет – сразу пялится.
Что ни взлёт – то перекладина,
Что ни друг – то в жопу раненый,
Что ни мясо – то говядина,
В крайнем случае, баранина...

* * *

Но я к вам больше не приеду (с)

Вот я приеду к вам – в таких вся бантиках,
в таких кружавчиках, в былых летах...
И ваши бабочки – не перистальтика,
то ваше «Боже мой!» во всех местах.

А вот вам яблочко с гнилой серёдкой:
я не приеду к вам каргой с серьгой –
дорога длинная, а жизнь короткая,
не помещается одна в другой.

* * *

И слону, и даже маленькой улитке.

А что я с Вами не дружу, уже понятно и ежу.
Ежу, слону и даже маленькой улитке.
Уже и дышится легко, уже и мысли далеко,
уже замочек починили у калитки...
Ну, на зубок да на глазок
я Вам приснюсь ещё разок,
в костюме пятикратной фигуристки,
а в остальном – имею честь,
и остаётся всё как есть:
пожизненно, без права переписки.

* * *

О нет, он не впадёт в ступор
Когда она войдёт в штопор
И будет всё у них – супер
Но это – из других опер

Пока я здесь, на мне – висни
Насвистывая марш Верди
В какой-нибудь другой жизни
Не будет никакой смерти

* * *

То было так давно назад,
что я боюсь смотреть вперёд
от мысли, что сломаю взгляд,
когда взгляну на день и год,
куда меня затянет бред
всех этих снов наоборот.
Я помню всё, чего там нет,
когда боюсь смотреть вперёд.

РОМАН БЕЗ ГЕРОЯ

(Продолжение)

В крем-брюле налью крем-соду –
Я ж не то ещё могу,
Стоит мне вдохнуть свободу,
С головы сорвать фольгу –

Я ж обучена манерам,
Я ж могу и так, и сяк,
С самым робким кавалером –
Хоть о Бродском, хоть косяк.

Мне ж наладить понимание –
Как два пальца об асфальт,
Мне бы только знать заранее,
Чем закроется гештальт.

Потому что мы не лечим
Тех, кому подай Луну,
Если нечем, значит, неча
Ставить нам себя в вину.

ЖАЛОБНЫЙ СТАРИННЫЙ РОМАНС

Мы с Вами встретились случайно.
Уж было поздно. Жизнь прошла.
Большой ничейной розой чайной
Луна на дереве цвела –
Своей невыспавшейся ленью
Она питала сон Земли.
Мы встретились, как взгляд с мишенью,
И разошлись, как корабли.

Ни трапа не было, ни якоря –
Лишь только сны темнели трюмами.
Ну а во сне бывает всякое –
И даже то, что Вы подумали.

Жизнь закрывает рестораны,
Где наливала нам сама.
На земляничные поляны
Ложится осени чума.
Мы с Вами встретились случайно.
Но было поздно. Жизнь прошла.
Большой ничейной розой чайной
Луна на дереве цвела.

* * *

А что теперь? Теперь уж поздно,
теперь не те уж времена.
А ведь просила, чуть не слёзно,
вас Льва Андреича жена
заехать к Яйцевым в именье,
где пять племянниц племенных –
погожий нрав, французский, пенье,
и вы вполне ещё жених...

Или когда вас ждали к Н-ским...
За Лизой, кстати, был надел
и деревенька под Смоленском,
где храм от молнии сгорел.
Вы обещались, благо близко,
и целый день ходили хмур,
а Лиза слала вам записки,
с которых целился Амур –
как в зверя...
«Что ж, конец достойный...
Скажусь больным, а завтра – в Тверь!»
Но открывал неслышно дверь
Савелий, ваш слуга покойный,
и говорил, что кони в бричке
уж два часа и Пётр не пьян.
Вносил мундир, мусолил лычки
и не спешил зажечь кальян.
Вы говорили: «Да, конечно!»
И понимали, что – пора!
Но начинался дождь кромешный
и не кончался до утра.

Ну а с Адель вы жили розно.
Точней – как створки у окна...
А что теперь? Теперь уж поздно.
Что есть – то есть.
И пьём до дна.

* * *

Когда б вы видели, как он её лорнировал,
Когда она впервые появилась,
Когда б вы слышали, как он потом лавировал
Когда ему сказали: «Отравилась».
Но вы не слышали, не видели, не ведали...
Они потом с Гарлецким отобедали
И шумно спорили за картами у князя
Про беспричинно-следственные связи.

* * *

...Жить-поживать, покупать попугайчиков
и обучать иностранным словам,
тихо прикармливать солнечных зайчиков –
или отлавливать, скармливать львам.

Реки подвысохли – сделались речками.
Речки повысохли – стали дождём.
Вы тут не видели доброе-вечное? –
Где-то посеяли – и не найдём...

* * *

Уж нам ли да не исполать,
свинтившим все спирали ада.
Уж нам ли было не понять,
чего нам друг от друга надо.
Нам, нищим духом, будет не с чем
сравнить тот миг, что не был прожит,
поскольку есть такие вещи,
которых нет и быть не может.

* * *

Сердце – в осколки
не более боли.
Жалко у пчёлки,
а вольному воля.
В раю и враньё
станет белое-белое.
А сердце – моё,
что хочу, то и делаю.

Петр Криксунов

МЕЧТАЮ ПЕРЕВЕСТИ...^{*}

– *Давайте начнем с самого начала: расскажите о своей семье. Литературные интересы у вас оттуда? Чем занимались ваши родители?*

– В моей семье к искусству больше имела отношение мама, она была архитектором, довольно хорошо рисовала, так что с детства у меня были разные художественные кружки. Мама знала многие стихи на память, но иногда очень странные – Светлов, Багрицкий, всякое такое, но при этом именно она читала мне Пушкина.

– *Наизусть или по книжке?*

– И наизусть, и по книжке. Читала сказки, и по многу раз, конечно, так это все начиналось. А брат – он на шесть лет меня старше – как-то принес домой синий том Пастернака. Цветаева тоже фигурировала. В доме всегда читали. Папа у меня был профессором на кафедре радиоэлектроники в Киевском политехническом институте. У него был другой круг интересов, но стихи он тоже читал. Любил, например, Есенина, который мне довольно чужд. В отношении иностранных языков у меня, между прочим, никогда восторга не было. Много лет меня пытались обучать английскому...

– *С частными учителями?*

– И с частной учительницей тоже. С ранних классов школы обучение шло параллельно. Не то чтобы я был какой-то совершенно пассивный, нет, что-то я читал – какие-то рассказы, даже не очень адаптированные. Во всяком случае, с ивритом было что-то совершенно другое – было ощущение, что его вспоминаешь.

– *То же самое мне говорил киевлянин Марк Белорусец. Вы его не знали?*

– Я дружил с его близким другом.

– *Я спросила его, почему он начал учить немецкий. У него теория, что язык нельзя выучить, его можно только вспомнить. В освоении немецкого ему помогло «несколько хаотическое знание идиша», полученное в детстве от бабушек и дедушек.*

– Ну, у меня такое было с ивритом.

– *Но ведь ваши родители иврит не знали?*

– Нет. Зато у меня была бабушка, которая страстно хотела приехать в Израиль. Бабушка была очень необыкновенная.

– *Это мамина мама?*

– Мамина.

^{*} Журнальный вариант.

– *Родители у вас из Киева?*

– Мама из Одессы, но лет с двенадцати она жила в Киеве. А папа – уроженец небольшого еврейского местечка под Киевом – Алтыновки, но в очень раннем возрасте, в год или полтора, когда стало можно, в первые послереволюционные годы его родители приехали в Киев. Папина семья была менее интеллигентная. А бабушка с маминой стороны владела несколькими языками, она родом из Ростова. Ее семья была ориентирована на Запад, на европейскую культуру. Они не были слишком богатыми, но в семье считалось, что надо как угодно экономить, чтобы летом вывезти детей на две недели за границу – показать Францию, Швейцарию... Так бабушка попала на медицинский факультет в Сорбонну, где и доучилась до начала Первой мировой войны. В моем детстве и ранней юности было время, когда никто никуда вообще не выезжал и за граница была абсолютно недостижимым раем, а бабушка рассказывала: «Я бывала в Лувре раз в две или три недели. Подходишь к “Джоконде”, там стоит маленькая скамеечка, ты на нее садишься, сидишь и смотришь, и никто не мешает».

– *Бабушкины рассказы, наверное, воспринимались вами скорее как сказки?*

– Абсолютно, но бабушка была очень бравая – она дошла военным врачом до Дрездена. И у нас были оттуда «трофеи» – швейная машинка «Зингер», старинная такая со сфинксом, и огромная золото-обрезная Библия в массивном переплете с гравюрами Доре – немецкая готическая, которая служила разновеском. Мой брат родился в 1948 году, тогда не было ни весов, ни гирь – ничего, и вот его взвешивали с помощью этой Библии. Такие были трофеи... Бабушка видела даже Герцля. Кажется, на Седьмом сионистском конгрессе в Базеле. И вообще, она была настроена просионистски, но ее старший сын, мой дядя, в семье которого она жила, все это не переносил. Он воевал, был ранен, во время войны вступил в Коммунистическую партию – всерьез и надолго, и когда Советский Союз стал разваливаться, ему это не мешало, он оставался коммунистом. Поэтому бабушке приходилось слушать «Голос Израиля» тайно.

– *А когда у вас проснулся интерес к ивриту?*

– Это связано с бабушкой. И с Мандельштамом: *И, с известью в крови, для племени чужого / Ночные травы собирать*.¹ Эти слова оказались отправной точкой моего отъезда в Израиль. У бабушки был уникальный – единственный, который был выпущен за всю историю советского времени, – иврит-русский словарь Шапино. Очень хороший, кстати, я его сюда привез. Он устарел, конечно, но до сих пор зачитанный, уже без обложки, лежит у меня. А еще у бабушки оказался учебник иврита – «*Элеф милім*» («Тысяча слов»). Ну и так постепенно что-то собралось. Был еще двуязычный словарик, очень смешной, карманный, на папиросной бумаге, как «Архипелаг ГУЛАГ», автор – Певзнер. Там были невероятные слова, невероятные. Например, гениальный глагол «причинять пузыри» – *лешальбék*. До отъезда я еще

¹ Из стихотворения О. Мандельштама «1 января 1924».

прочел роман Агнона «Тмоль-шильшом» («Вчера-позавчера»). Мне сказали, что Агنون – нобелевский лауреат, единственный по литературе на весь Израиль. Я прочел его очень трудолюбиво, от корки до корки, со словарем. Наличествовала у меня еще двуязычная Тора, буберовские хасидские притчи – книжечки карманного формата на облегченном иврите. Притчи я даже попереводил немножко на русский.

– Почему вы все-таки решили уехать в Израиль?

– Потому что параллельно с мандельштамовским «ожогом» началась Война Судного дня и пошла почти столь же оголтелая анти-израильская пропаганда, как во время Шестидневной войны. В общем, все это мне не понравилось, и возраст у меня был соответствующий, когда надо было выбирать путь и судьбу. Но главная причина этому – Мандельштам, в моей статье «Узел жизни, в котором мы узнаны...», все написано.²

– Давайте поговорим про переводы. Интересно ли вам читать переводы, сделанные другими? Следите ли вы за работой коллег? Включены ли вы в профессиональную израильскую жизнь?

– Раньше был больше включен, но как-то не вижу, чтобы происходил процесс. Думаю, что знаю главных людей, центральных в моей области. Есть, например, чудесно талантливый Рои Хен. Очаровательнейший, я с ним познакомился, когда ему было года двадцать четыре. Он – сабра. С ним случилось почти так же, как у меня с Мандельштамом. В четырнадцать лет он вдруг решил, что обязательно должен овладеть русским языком, потому что подруга ему сказала: «Ага, Достоевского ты никогда не прочтешь! В Санкт-Петербург съездить сможешь, а это для тебя закрыто». И Рои так овладел русским – плюс, конечно, отличные актерские способности. Когда он следит за собой, то говорит вообще без акцента, а выглядит как молодой Пушкин – такой кудрявый с бачками, прелесть. Рои Хен замечательный – и умный, и тонкий, и талантливый. И мой хороший друг. Он, например, перевел бунинские «Темные аллеи», я их редактировал. Он на довольно сумасшедшей должности – завлит театра «Гешер», а это значит, что времени у него нет ни на что другое, поэтому последние семь-восемь лет мы почти не видимся, а раньше он часто в Иерусалим приезжал. Кстати, Рои перевел «Маленькие трагедии» Пушкина. На иврите были уже переводы «Трагедий», того же Шлён-ского, например. Расскажу вот какую историю: Шлёнский в Израиле считался переводчиком Шекспира. И вот как-то пригласили его в Лондон, чтобы вручить награду. Он спустился с трапа, его встречают какие-то лорды, заговаривают с ним по-английски, а он не может ответить, потому что Шекспира он переводил с переводов Пастернака.

– То есть английского он не знал?

– Нет. Та же история с Черняховским, который переводил на иврит всевозможные эпосы – и «Гильгамеш», и «Калевала», и много чего еще с немецких переводов. Вообще, тут бывают иногда очень непрестижные ситуации.

² Планируется к публикации в сборнике статей Мандельштамовского общества в Москве, посвященном Н. Я. Мандельштам.

Возвращаемся к Рои Хену, который овладел русским настолько, что некоторым, для кого этот язык родной, может дать фору. Пушкинские «Маленькие трагедии» у него, по-моему, чудесно получились. Мало соблюсти все эти просодические структуры так, чтобы они звучали похоже, они еще должны выглядеть естественно для иврита, сохранять живое дыхание, при том что традиционно таких поэтических форм в нем не существует.

Есть чудный переводчик Ронен Сонис, который блестящие переводит стихи, но ему больше нравится что-нибудь немного ироническое. Когда-то я ему подбросил идею перевести автоиронию Льюиса Кэрролла «Гайавата фотографирует»³, написанную на мотив «Песни о Гайавате». Кэрролл был одним из первых фотографов, фототехнология тогда только разрабатывалась, и он написал о себе такую смешную шутовщину, а Ронен ее блестяще перевел. Что касается больших работ, недавно вышел его перевод «Защиты Лужина». Замечательный! Я его навел на мысль перевести шахматные стихи Набокова. У Набокова есть три, может быть, четыре шахматных сонета. Немногие знают, что стихи у него обычно предшествовали прозе, иногда даже на двадцать лет. За десять примерно лет до рассказа «Волшебник» было написано стихотворение «Лилит», ну а «Лолита» намного позже. В балладе «Шахматный конь» на полутора-двух страницах сжат фактически почти весь сюжет «Защиты Лужина». Бродский убедил мировую общественность, что Набоков – поэт никакой и в его стихи нет смысла заглядывать. Тем не менее Ронен внял моему совету, и «Шахматные стихи» у него здорово получились, а еще лучше – баллада «Шахматный конь». Все это он объединил в одной книге с «Защитой Лужина», что дает, по-моему, новую картину, цельность.

Кто еще из переводчиков?.. Я знаком и с Дори Манором. Он занимает позицию мэтра, выпускает поэтическую антологию под названием «О!». Она выходила сначала чуть ли не раз в полгода, потом раз в год, сейчас – реже. Толстенная – триста-четыреста страниц. Причем Дори Манор стремится вернуть переводы в рамки такой просодии, где были бы и рифма, и ритм. Ну и проза в этой антологии есть: Поля Валери переводят, и все что угодно – на серьезном уровне. Просто сегодня этот замах, кажется, не работает. Но не из-за переводчиков. На мой взгляд, это как-то не захватывает широкие читательские массы.

Мой друг Моше Зингер, умерший в 1994-м, был гениальным переводчиком Рильке и Шекспира. В таких вещах всегда есть тайна. В его текстах меня поразила неожиданная близость Серебряному веку – возможно, он что-то такое в Рильке услышал. Моше родился в Тель-Авиве, его папа был вторым или третьим поколением, рожденным в Израиле, а мама помнила румынский, французский, итальянский, немецкий – это были языки ее дома. Моше, кстати, перевел Данте, здорово получилось у него начало «Ада» – первые десять терцин.

– А как вы работаете над текстом? Каждую фразу доводите до «идеала» или вначале делаете черновик?

³ Поэма Кэрролла "Hiawatha's Photographing" (1857) опубликована в книге "Lewis Carroll – photographer". (Helmut Gernsheim, 1969, Dover Publications Inc.)

– Обязательно делаю вначале черновик. Минимальная единица – это все-таки не отдельное предложение, а абзац, если он не самый длинный на свете. Ахматова приходила в больницу к Лозинскому и записала что-то типа интервью с ним. Спрашивала, как он переводил «Комедию» Данте. Он сказал, что схватывал в памяти целую страницу, поскольку терцины эти как зиппер – одно цепляется за другое. Он всегда так делал, по целой странице сразу. Это что-то для меня непостижимое – слишком громоздко. Сейчас я пытаюсь заучить хотя бы несколько дантовских терцин в оригинале, и это дается совсем нелегко.

– *Кто первый читатель, слушатель ваших переводов?*

– Обычно моя жена Инда. Я даю ей перевод в распечатанном виде, она предпочитает читать глазами. Кроме того, я стремлюсь работать с таким редактором, с которым будет хоть какой-то человеческий и психологический контакт, иначе работа не имеет смысла.

– *Скажите, а редактор важен для вас?*

– В принципе, важен, во-первых, потому что язык неродной...

– *Значит, нужен тот, для кого иврит – родной?*

– Обязательно. Однажды был у меня неудачный случай, когда перевод «Подростка» дали на редактуру женщине с родным русским, которая сама переводчица, и ее редактора мне очень не понравилась.

– *Есть ли среди ваших опубликованных переводов те, которыми вы, по большому счету, недовольны?*

– Я считаю, что недоделан перевод «Доктора Живаго»: проза на девяносто – девяносто пять процентов хороша, а стихов я стыжусь, но тут просто времени не хватило. Даже в таком крупном издательстве, как «Кетер», не понимают, что такое законченный стихотворный перевод, не понимают, что перевод двадцати пяти стихотворений Пастернака – это работа на несколько лет, а не на месяц. У меня с ними был договор, его надо было выполнять, поэтому перевод пришлось сдать. Такое часто происходит из-за того, что здесь нет канона, литературного «золотого запаса». Читают тут много, выпускают безумное количество книг на душу населения, но при этом как они могут определить, например, что именно является лучшим из переводов поэзии, по каким критериям могут судить?.. Когда тут не было ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Мандельштама... Проблема. Тот, кто обладает естественным, врожденным чутьем, тот определит. Это если речь идет о читателе. Что касается переводчиков, то в состоянии преодолеть все эти сложности тот, у кого силен естественный талант.

– *Сколько у вас было времени на перевод «Доктора Живаго»?*

– Года полтора-два это все продолжалось. Мне еще сын помогал, у нас чудесный сын, ему сейчас тридцать лет, он тоже переводчик.

– *И в чем он помогал?*

– Я ему диктовал сырой перевод, он его впечатывал в компьютер, и по ходу происходила редакция. Он произносил что-то вслух, и в результате получалось лучше. И он перевел несколько из «Стихотворений Юрия Живаго».

– Вот вы сделали перевод «Счастливой Москвы», «Мастера и Маргариты», стихов Мандельштама... Возвращаетесь ли вы к ним спустя время – перечитать или внести правку?

– Бывает временами, бывает. Что касается «Мастера», то были всякие письма, звонки, с ним связанные, так что поневоле приходится раз в столько-то недель к этим текстам возвращаться, потом месяцев, потом лет. Сейчас у нас на музыкальном радиоканале хотят сделать передачу о музыке в «Мастере и Маргарите». В романе есть отсылки к шести-восьми композиторам, это, кстати, тоже тайна, не совсем раскрытая. Берлиоза разгадали – в его «Фантастической симфонии» есть фрагмент с отрезанными головами; есть отсылки к Стравинскому, и прямо не названному Чайковскому, и, естественно, к «Фаусту», не только литературному, но и Гуно... Лидия Яновская – исследовательница Булгакова, кстати, тоже из Киева, написала о его творчестве несколько книг, часть из них очень увлекательные, – говорила мне, что не важно, на какой язык и как переводят «Мастера и Маргариту», у этого романа всюду успех. Так что не знаю, чья именно заслуга в успехе перевода «Мастера и Маргариты» на иврит. Хотелось бы надеяться, нас обоих, но, конечно, в первую очередь Булгакова.

– Есть ли авторы или тексты, которые вы хотите перевести, или не загадываете?..

– Ну почему не загадываю? Во-первых, я мечтаю перевести «Разговор о Данте». На немецком есть, кажется, три его перевода с промежутками в несколько лет, и Мандельштам там ценится наравне со своими классиками, как и должно быть. А на иврит мандельштамовские эссе вообще не переведены.

Хотя, конечно, для того чтобы перевод получился, надо быть Моше Зингером, или Рои Хеном, или Дори Манором... У нас не так много хороших переводчиков. Думаю, ситуация будет меняться, потому что многие пробуют переводить. За совсем молодыми я не очень слежу, но знаю, что за последние семь-восемь лет, например, вышли три перевода (три!) и в Иерусалиме, и в Тель-Авиве «Двенадцати стульев», а вот «Золотого тельенка», кажется, еще нет. Правда, не похоже, чтобы эти переводы тут кого-то зацепили, думаю, все мимо. В стрельбе про такую ситуацию говорят: выстрелы «уходят в молоко». Тут вмешивается масса факторов – и сатира, которая изначально почти невообразима для перевода, и другое отношение к культуре, и вся эта израильская ситуация, когда есть другие, более неотложные вещи.

– Что вы имеете в виду?

– Наличие Израиля и еврейской государственности – само по себе культурное явление не меньшего масштаба, чем великая поэзия или что-то более-менее ей равное. Исторически так сложилось, не для меня, я пытаюсь посмотреть, что происходит в стране, а для большинства израильтян, по крайней мере местных уроженцев. Кроме того, террор и войны – хочешь не хочешь, а невозможно об этом постоянно не думать. Наверное, и в современной России, где я давно не был, в этом смысле ситуация тоже изменилась.

С П. Криксуновым беседовала Елена Калашникова

Станислав Минаков

ФЛЕЙТА САМОГИТСКОГО ПОЛКА

От горечи русского хлеба, от сладости русской воды, от снега сухого, от неба – глубокие эти следы... – Алексей Ивантер говорит пронзительно, но и афористично. Приведенные строки надо бы поставить эпиграфом, но у него таких десятки – иди выбирай!

Новая книга Ивантера «Самогитский полк» (М.: Русский импульс, 2014) включает также стихи прежних лет, но по преимуществу – новые сочинения, знакомые ценителям поэзии по публикациям в толстых журналах¹. Автор в одной из частных бесед настаивал, что «Самогитский полк» в полноте исчерпывает его творчество, однако мы помним и другие яркие книги поэта, выходившие в течение полутора десятков лет, – «Станция Плюсса», «Каменная правда», «Войско Певчее», «Держава жаворонков», «Дальнобойная флейта».

Как видим, в названиях наличествуют воинские термины, красиво и небесно звучит слово «держава». Автор в стихах самоопределяется как *Войска Певчего оборонец, ополченец его, солдат* (было произнесено предвосхищающе и оказалось весьма созвучным сегодняшнему дню слово «ополченец»), *боец особого штрафбата*. Он говорит: *В нашей речи – согласной и гласной – совершаю своё житиё отголоском я Армии Красной, опалённую песней её. Не залить незабвенные годы русской речи живою водой. Я и старый умру за свободу, как, должно быть, полёг молодой.*

Сквозящий у Ивантера образ – о мёртвых и даже о живых:

*Не нас, зарытых по России,
Припомнит пусть школяр иной,
Но те слова, что мы носили,
Как трёхлинейку за спиной.*

Наполненные родовой и народной памятью стихи Алексея Ивантера оказываются больше и выше его, поднимаются не его силой и уже правдой не лишь его, он говорит от всех «полёгших за Россию», служит им, памяти их, пытаясь преодолеть забвенье, ничуть не смиряясь с державинской мыслью, что всё «вечности жерлом пожрется».

Я потомок пастушьего рода, сердцем знающий коз и овец. Я из тридцать девятого года пулемётного взвода боец. Трижды веком меня обернули, запихнули мне в глотку слова, но гуляют мне московские гули, подмосковная кичет сова...

Он помнит, как люки на марше задраены, как «Вихман» гудит за виском (напомним, двигатель Вихмана – дизель танка Т-34, сыгравшего, по мнению специалистов, главную земную роль в нашей ве-

¹ В ИЖе подборки стихотворений Алексея Ивантера публиковались в №№ 44 (magazines.russ.ru/ier/2012/44/i15.html) и 47 (magazines.russ.ru/ier/2013/47/20i.html).

ликой Победе). И еще: *Покрывало с сердечками у меня в головах, со следами от «Стечкина» на льняных кружевах.*

Эпохи у Ивантера соседствуют равноправно. В глубине русской истории, не вытесняя советскую как неотъемлемую часть её, Ивантер слышит и Первую мировую войну:

*Из дубового комода
утром выпало само
от шестнадцатого года
в адрес бабушки письмо,

поискал, а там их много,
не пускают в отпуска
с гренадерского седьмого
Самогитского полка.*

Следует привести справку, тоже важную для понимания духовно-исторического генезиса и определения вектора этого поэта.

7-й гренадерский Самогитский полк просуществовал сто лет – с 1817-го по 1918-й. В 1830–1831 гг. участвовал в Польском походе, в 1877–1878-м – в Русско-турецкой войне; имел полковое Георгиевское знамя с Александровской юбилейной лентой и надписями «За отличие в 1807 году против французов, за Варшаву 25 и 26 Августа 1831 г. и за Плевну 28 Ноября 1877 г.», а также «1797–1897».

Перебредя земные муки, мы слепы в собственном дыму... Но в нас вошли степные звуки, как войско в город на холму. Поэт знает, что русская глубинная жизнь ждёт и идёт от войны до войны, и, говоря языком Андрея Платонова, без войны русский «мужик вроде нерожавшей бабы, дураком живёт».

*Речью и пьян, и болен,
Слов я, гляди, накрал!
И, как слепой Марголин,
Что-то из них собрал.*

Что русский поэт может собрать вослед незрячему конструктору пистолетов, карабинов, мелкашек?

Дальнобойную флейту.

* * *

Для чего Ивантеру столько оружия – прямого или метафорического?

Чтобы защитить земное и небесное Отчества. Защитить семью, дом, народ, Россию, её дух и культуру.

Такое нынче непопулярно? Так теперь «не носят»? Ивантер – берётся сражаться за эти ценности, даром что по молодости лет диссидентствовал в начале 1980-х, даже скрывался от «компетентных органов», к слову сказать, сбежал из Москвы к эвенкам, пас с ними оленей («Когда арестовали Ирину Ратушинскую, “органы” меня попытались тоже упрятать – в психушку. Не вышло, я сбежал на Верхоянский хребет...»).

Кого конкретно защищает поэт Ивантер? (Тут даже не скажешь «лирический герой», ибо зазора практически нет.) Читаем короткое стихотворение, сиюминутно-вечно схватывающее теперешнюю русскую картинку, со старым сельским домом среди навороченных строений нуворишей, со щемящим незабываемым финалом:

Привычно уже успокоясь, уставший от женской журьбы, старик с бороною по пояс стоит возле синей избы. Кругом терема и хоромы, и некуда вылить бурду; жаль, нет у соседей коровы – зарезали в прошлом году. Подперши оглохшее ухо, с облезлым котом на груди, с ним рядом сухая старуха на мартовском солнце сидит. И смотрит она виновато на ветхий забор и жильё, и греет истлевшая вата пожившее тело её. Дед курит и слышит вполуха журьбу и соседский привет. «Алёша!» – окликнет старуха, «Петровна!» – откликнусь в ответ.

* * *

Алексей Ивантер заговаривает русские пространства, стянутые в «русский узел» (напомним, так называлась книга Юрия Кузнецова, вышедшая в 1983-м). ...*И глухо сердце стукнуло моё, как товарняк на снежном перегоне.* Его земную державу составляют помянутые в стихах Верхоянск, Уральский хребет, Охотское море, Тула, Истра, Кама, Ижевск, Снегири, Одинцово, Солянка, Чистые Пруды, автор живет на страстотерпческой Тамани, в печи полуденной Керчи, его жгут небесный свет и боль мирская, души горячей болоно...

Тут вся губерния Тверская лежит, полёгшая давно; о том и ростовский, саранский, ночной приуральский резной, московский, тамбовский, олбанский – всегда говорок за спиной...

Снегом красным притоптанным / На тюремном дворе, / Дымом пустыни Оптиной / И барачным амбре, // Сапогами кирзовыми, / У ларька кутерьмой, / Заводскими засовами, / Городскую тюрьмой.

А среди них – и сегодняшнее страшное, подсвеченное страшным же вековым, – циклическая война на южных русских землях: *Но снится мне судьба иная, на риге запалённый хлеб, и я, по совести, не знаю, какая вправду из судеб. Не та ль, где сталь в крови дымилась в бою за Северским Донцом и гнил Сиваш? Скажи на милость, не явь ли липкий этот сон?*

Автор глядит на наши дни и сквозь слюду столетия, цепляющую его родство и боль:

*На высотах безымянных
фронтная полоса,
на шатрах на полотняных
украинская роса,
где-то танцы, обниманцы,
где-то смерть на рубеже,
Ленин в Цюрихе, германцы
под Черниговом уже...*

Неотмоленность и нераскаянность приводят нас к хождению по кругу, по той же борозде:

*Встала из дубовой домовины –
Никому, старуха, не нужна –
Липовой ногой до Украины
Стучает Гражданская Война.
...И землянка в четыре наката
Ждёт набата на той стороне,
Где поддатое сердце солдата
На гражданской ослепло войне.*

Страшась, иногда понимая больше, чем простой смертный, поэт умоляет: *Не поднимайте Вию веки. Не подымайте, вашу мать! Родные люди-человеки, не надо веки подымать!*

И сразу дальше: *Коломны наши и рязани, леса, и пашни, и луга он встретит чёрными глазами, и грянет общая туга. А он лежит в стене кирпичной и шарит высохшей рукой под кладкой крепкой и яичной над протекающей рекой, не успокоенный поныне и мёртвый – страшный, как живой, и Вий другой на Украине встаёт из глины вековой. Пошли, Господь, нам крепкой силы, пошли сияющую рать, уже готовы, чую, вилы, чтоб Вию веки подымать. Тарацит налитые зенки прислужник виевый чумной на скорбной родине Шевченки, многострадальной и больной, уже подбулькивает ближе, и путь короче до беды, кипит коричневая жижа на родине Сковороды...*

И не может потому не вспомнить, гонимый нераскаянной мукой, которую мы всё никак не можем одолеть: *Нам отольются полной мерой и бормотня, и пачкотня, и этот мальчик – Туроверов, с кормы стреляющий в коня, и хлеб степной на полустанках, и одинокий вдовый век, из «Правды» жёлтые кубанки и песни поездных калек... и пуля, пущенная в лошадь, в моей застряла голове.*

Это болевой вздох вослед есенинской горькой деревенской тщете – повенчать на Земле «розу белую с чёрной жабой», это замес неразделимый, вина братоубийства неотмоленная: *В красной ли, белой ли вере, с дыркой в широкой спине в старом уральском карьере на развороченном дне, с бляхой ременной тусклой, с думою поднятых век – пулею найденный русской, русский лежит человек.*

Да, конечно, это флейта, флейта – но она проникающая, дальнотбойна, как СВД или даже гаубица. Полковая флейта, заводящая «песню военную». Дальность попадания у неё не лишь географическая, но и, как понимаем, историческая и глубинно-духовная.

* * *

В краткой преамбуле к книге Марина Кудимова подмечает: «Алексей Ивантер пишет почти исключительно об истории своей семьи. Из этого пространства вырастают фундаментальные эпические и лирические смыслы – Родина, любовь, боль, надежда и отчаяние. Ивантер, пожалуй, сегодня – самый точный поэт России. Поэтическая точность

предполагает такое употребление и взаимодействие слов, которые невозможно ни поменять, ни сдвинуть. Его стихи похожи на эмблемы – их трудно толковать и анализировать, их можно принять только целокупно и нерасторжимо. Путь, мучительно избранный Ивантером из множества, теперь сам ведёт его к цели. А цель поэзии, по словам того же Пушкина, – Поэзия. Судя по времени, которое мы совместно проживаем, более высокой цели в России, возможно, и нет».

Ивантер посвящает новую книгу «родным, близким и любимым – знакомым и незнакомым, живым и мёртвым, всем, кто любил меня, и всем, кого любил я сам».

*Под крепью хрущёвского крова
среди философских идей
я вырос из времени злого,
из добрых оттуда людей.
За чаем и хлебом деповским
в окно на шестнадцатый путь
я взглядом не очень московским
гляжу на московскую мать.*

Начнешь цитировать, и остановиться невозможно, а кроме того, в самом деле, «ни поменять, ни сдвинуть», ни расчленишь: бери целиком, как самородки.

А и возьмём целиком.

Например, вот это, грандиозное, фантазмагоричное и надрывно-правдивое, насущное, написанное плясовым трагическим хореом, за которым открываются русские бездны:

*За листвою порыжелой облупившийся хором, где в горячке
батя в белой с финским бегал топором, где топтал пиджак с
изнанки, падал в мокрую траву и кричал: «Введите танки, танки
русские в Москву!» Знали батю, уважали, не побил его народ, из-
винились, повязали, покурили у ворот, и не в Лондон или Ниццу,
не в посёлок Звездюли, в городскую психбольницу с уваженьем
отвезли. И привязанный к кровати в психбольничной тишине, он
лежал в худом халате, как на танковой броне. Но без злобы и
подлянки из небесных лагерей он кричит: «Введите танки, танки
русские скорей!» Я башкой ему киваю, не бросаю одного. Пони-
маю, понимаю батю бедного мово.*

Такого мы прежде не читывали.

Сжавший автора Господень кулак уже нередко не позволяет записывать стихи катренами, как преимущественно было в предыдущих книгах, по традиции. Читать это затруднительно, но А. Ивантер в новой книге очень многие стихи оформляет прозаическими прямоугольниками, своего рода кирпичами, которые кладутся в основу стены дома или крепости, а то и мешками с песком, помещаемыми в стену заставы или, говоря языком текущего военного момента, блок-поста.

Похоже, он не в силах болючие выхлопы оформлять – перехват горла таков, что не до эстетизации, не до «танцев за плугом», как сказал бы граф Лев Толстой.

...Ты, огарок русской речи, не подайся в куркули, тут за печкою не свечи – письма лагерные жгли. Лесосклад да пилорама, город с выделкой села, моя маленькая мама тут войну переждала. Жизнь короткая земная вся прошла натяжеле – бабушка моя родная тут ходила по земле...

Стихотворные размеры – повторяются, акын поёт одну и ту же песню, но важно успеть высказаться, ведь ни он, ни кто другой не знает, что именно из текстов выживет, да и выживет ли.

* * *

Не лишь о родной бабушке говорит поэт, но и о не менее родной няне. Это тоже пушкинская традиция, и счастлив тот, у кого была русская няня – как у Владислава Ходасевича, Александра Межирова да и у Вероники Долиной («Няня, няня, баба Груша, погоди, не уходи...»), с которой у Ивантера даже совпадение размеров; хорей:

*Я и трезвый-то как пьяный,
А как выпью – запою,
Всей душою покаянной
Помню нянюшку мою.*

*Ты прости меня, Марфуша,
За былое, напредки,
Я свою святую душу
Разменял на пустяки,*

*На цевницу, на столицу,
На копеечный успех...
Помолись ты, голубица,
За меня на небесех.*

Не только свои родовые старухи «болят» этому стихотворцу:

Скорбное сготовив столованье, зябнущие в холод и жару, белый лоб последним целованьем три старухи тронут поутру. Молча рядом встанут три старухи, по обряду вымоют порог, три старухи сядут, сложат руки, а четвёртой – утром вышел срок. Вышел срок не первый, а повторный, первый срок-то кончился давно там, где катер лагерный моторный лёг весной на илистое дно, там, где сталь зубчатая звучала, вековые рушились стволы... Он не мог создать её сначала без кайла и лагерной пилы!

В небесах и в душе, в стихах Ивантера происходит не только глубоко личное, но и глубоко общее:

Я вижу, лишь глаза закрою – как дым над полосой ничьей, моих расстрелянных героев и непричастных палачей, всё это снится мне и мнится в не в срок оттаявшем селе... Не перелистана страница Державы Русской на Земле. ... А кривда зла и вьётся, вьётся льняной верёвкою в петлю. Но, сколь верёвочке ни виться, проснётся ангел на часах. И не дописана страница Державы Русской в Небесах.

* * *

Ивантер, головастый еврейский умник и одновременно русский мастеровой, многое умеет делать руками. Не только оленей пасти в Эвенкии, где мороз достигает полусотни градусов, не только проектировать с братцами-эддисонами самолёт-амфибию, чтобы ходить по небесам и опускаться на воды, но и столешницу сладить, построить дом для семьи («Я дом построил день за днём, за камнем новый камень...»). Пишет словно в развитие строк любимого, не случайного для него Межирова, сказавшего: «Весь день, с семи и до восьми, сверлит и пилит, чёрт возьми, а жизнь – всего одна минута...» Ивантер слышит ухом и нутром и недавно им прочитанного Геннадия Русакова: «Я строю свой дом и зерно ворошу, я больше у вас ничего не прошу...»; и его же: «Я сам её торил и сам построил дом. Но знаю, что придут завистливые дети и будут нас судить несправедным судом...»

И вот слова самого Ивантера:

...Но подрастали деревца и мелкие печали, пока достроишь до конца – пора чинить вначале, и дом сгниёт, и жизнь пройдёт, и перебродит сусло, и, как прикинешь, не в зачёт – ни молоток, ни стусло, измеришь угол у стены, увидишь, где ошибка, а с жизни южной стороны уже сгнила обшивка. Ни починить, ни подлатать, ни кончить круговерти, и так и будешь бормотать стихи свои до смерти.

«А с жизни южной стороны уже сгнила обшивка...», – мы скажем, что это и о большом общем русском доме сегодня.

* * *

У Ивантера – свой поэтический пантеон, свои отцы-учителя в русской поэзии. И все они преимущественно фронтовики. Или из поколений, опалённых войной. Как однажды обмолвился Алексей, «когда я слышу имя Арсений Тарковский, мне хочется встать».

Из близких его собеседников – фронтовик Александр Ревич, поэт и переводчик.

*Ревич умер – штрафная рота.
Больше нечем ладони греть.
Умирать залегла пехота,
чтобы стоя не умереть.*

В стихотворении с посвящением Ревичу, Ивантер словно царапает резцом свои слова на скрижалях: *Опусти же – железное веко, всё равно не берёт укорот, если горло заткнуть человеку, речь из кожи проступит, как пот. Опусти же – железное веко, тяжела мне твоя булава! Если в землю зарыть человека, из земли вырастают слова.*

Однако и изначальный «список кораблей» у Ивантера имеется, ведь мама его Инна Яковлевна Кленицкая, живущая в московских Черемушках, – долгие годы служила русской словесности в школе, много писала о преподавании литературы.

Но, как гусей шальная стая неотвратимой чередой, так Русь пришла сюда святая штыком и огненной водой. И застучали по Сибири, едва наутро рассвело, её шагов ценные гири, топор, теплушки и кайло, приказ московский или невский, колёса ржавых колымаг, Толстой, Платонов, Достоевский, Некрасов, Пушкин, Пастернак...

Ушибленный, ан всё еще живой, он через страдание влечётся к библейскому свету: *Лечись рассолом и кефиром, мочись за ржавым гаражом. Мы неразрывны с русским миром, с его амтиром и гужом. ...Чтоб всё бывшее вспомнулось, больное враз перемоглось, в душе живой перевернулось и со слезами пролилось, чтоб не блуждали наши души у Льва Толстого в бороде, хоть ходим мы по русской суше, как по евангельской воде.*

Не «русский Иван», но русский Ивантер, с еврейской родовой заплачкой, закипевшей на проживших чуть ли не по сотне лет родных бабках, — кто из старых большевичек, кто из ненавистниц большевистского режима, а все вместе — кровь и плоть советского XX века. Но помним же: и с русской, неизываемой из слёз автора нянькой.

Он произносит с полной парадоксальной ясностью и непротиворечивостью:

*Мой прадед — еврей из Краславки,
Как Лиля — прабабка моя,
А девочки их — ленинградки,
И русские — мама и я.*

*Сыграй на трофейном баяне
И что-нибудь спой о войне!
Не нравится мне — «россияне»,
Вот «русские» — это по мне.*

Новый Василий Теркин, не без внутреннего притопа на солдатском каблуке, но не с гармошкой, а с трофейным баяном.

Ивантер ведь поёт свои стихи. Поёт за рулем авто, поёт, читая публике. Так пел стихи заикающийся Николай Тряпкин. Может быть, так пел себе или своему народу Моисей.

*Но хлада изведав и зная,
Скажу не ахти мудрено —
Лишь русское сердце больное
Еврейскому сердцу равно.*

*Шатаюсь от счастья до горя,
Всю жизнь от темна до темна,
Как капля от русского моря,
Как русского шторма волна.*

Это же русская, русская, русская песня, венчающаяся надписью на фотографии — «Наш дом в тринадцатом году»: *Скрипели балки деревянные, густела истринская мгла, глядели лики осиянные с икон из красного угла, горел в окошке цветик аленький, спал кот на*

первом этаже, я думал – нету в доме маленьких, и мало стареньких уже. Скрипели балки деревянные, дом спал и думал обо мне, на досках лики осиянные, и рядом рамки на стене с уже далёкими, но милыми, не пережившими войну, и надпись синими чернилами «Полк на манёврах на Дону».

Надежда Кондакова в рецензии на книгу «Самогитский полк» в «Литературной газете» подмечает эту жажду всматривания: «Алексей Ивантер как будто задался целью, насколько можно, приблизить во времени и сквозь увеличительное стекло любви своей рассмотреть всё, что случилось на веку с его близкими, семьёй, его родом. Старые, буквально вековой давности письма, случайно найденные и поблёклые чёрно-белые фотографии семейного альбома, странным образом соединённые с обрывками “младенческой памяти” и смутных детских ощущений, оказались тем крепким физиологическим раствором, в котором частное и давнее обрело укрупнённость вечного и общего».

Автором с детства осознано желание о своих дорогих рассказать всем и каждому – но в результате непрерывного говорения слушатели благодаря своему сопереживанию, сердечному ответу – сами стали для автора дорогими и родными, он оказался в окружении очень близких – знакомых и незнакомых.

Великая страна у свободолюбивого Ивантера – всё равно огромная Империя, он остаётся империалистом, каковым был, к слову, и Иосиф Бродский.

Она в крови у поэта и гражданина Ивантера – царская и советская, а также скотская и святая нынешняя Россия.

Внятна нынешняя русская – непреходящая, увы, – картина, с советской ретроспекцией в последней строке; про бабу-самогонщицу: *...Посдавала углы я и коечки, нету сил наводить чистоту. Мои Люба с Серёжей покойнички, вот вселила к себе черноту. Ай, колбаска, огурчик, селёdochка! Духота в постоянной избе. Дорожает акцизная водочка, значит, помощь народной нужде. А в груди начинается долгое, не залить ни вином, ни водой... Как над речкою стылой над Волгою председатель гулял молодой...*

А здесь у Ивантера ассоциативно аукается евтушенковское стихотворение 1963 года «Граждане, послушайте меня...»: *Старуху с банками в кошёлках, дедка с ведёрком чеснока и парня в лагерных наколках несёт великая река... На чёрном фоне или белом в любом проведенном краю углём кузнецким, курским мелом рисую родину мою.*

Не всё исчезает в небытие, и более того, как помним, «Бог сохраняет всё». Ивантер снова интонационно вторит сразу двум своим внутренним собеседникам – Александру Межирову и Геннадиям Рукавову: *Ловко левой зашивая брюки, мокрым кашлем надрывал нутро и доил корову однорукий в жестяное мятое ведро. Что-то жизни снится мне начало, во первых является строках. Как страна великая звучала! Как качала шкета на руках!*

Нам скажут: автор ходит по тематическому болевому кругу, как игла, застрявшая в борозде пластинки. Но если «тебя вели нарезом по сердцу моему», то по сердцу Ивантера «вели нарезом» Россию.

Неудивительно, что Евгений Евтушенко был потрясён стихотворением Ивантера, в котором «отец Василий, убитый томской ГубЧК», «идёт-несёт... в холстине голову свою»:

*Из всех полёгших за Россию в глухие тёмные года
у Бога смерти попросили, наверно, многие тогда.
Сибирь, как яблоню, трусили,
в посёлках томских храмы жгли.
Из всех полёгших за Россию мне жалче эту соль земли.
В тайге сентябрьской и апрельской среди багульника и хвой
лежит в воде священник сельский с отрубленной головой.*

.....

*Прости меня, отец Василий, что разумею, но дышу.
У всех полёгших за Россию себе прощения прошу.
Отец Василий, это ты ли? Ты отпусти мои грехи,
мне протяни Дары Святые из замерзающей реки.
Дожди падут, снега растают, где народился – то люби.
Плывёт гусей шальная стая, и нету храма на крови.
Журчит-течёт вода святая по Искитиму и Оби.*

Разве без стакана русского самогона провернёшь ложку в нашем замесе? Разве рассучишь русский узел, который новой петлёй захлёстывает наше горло?

*За Истрой и за Одинцово, как ни верти и ни крути,
лежит в земле горох свинцовый и ждёт, когда ему взойти.
И хоть молись, хоть «водку пьянствуй»,
хоть в ус не дуй жене назло,
не быть тут вольнице цыганской, а быти сече за бабло.*

*А свет не меркнет поднебесный, и пахнет хлебом дым густой,
постой-постой ещё над бездной в руке с чекушкою пустой.*

Нельзя не согласиться с критиком: «“Самогитский полк” – уникальное явление в современной литературе... Это книга одной темы, одной страсти, одной надежды – сохранить в себе тайное чувство причастности к ушедшим людям и ушедшему веку». В книге есть место и колокольчикам, и яблокам, и любви к женщине. Присоединюсь к Н. Кондаковой: в России появился новый поэт мощного почвеннического накала – поэт русской традиции, развивающий и раздвигающий её привычные границы.

*С непокрытой встану головою, поутру придя натяжеле.
Только слово русское живое неподвластно тленью на Земле, – так
говорит поэт Алексей Ивантер, земной флейтист небесного Самогитского полка.*

Татьяна Азиз-Лившиц
МЕЖ ДАНТЕ И ДАНТОНОМ

*И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба...*

Б. Пастернак, 1932

Я много раз перечитывала рассказ Бабеля «Улица Данте» – это один из моих любимейших текстов. Всего пять страниц, а так много сказано о неумолимых велениях любви, о неизбежных реалиях жизни, об искре, высекаемой их столкновением, и так печально сжимается сердце предчувствием судьбы самого писателя... И при всем этом необыкновенно «вкусное» описание Парижа и жизни «по-французски»...

В последнее время этот рассказ привлек внимание двух исследователей. Подробный текстологический комментарий к литературно-историческому контексту рассказа в статье Е. Погорельской¹ ввел в изучение биографии и творческого наследия Бабеля важные малоизвестные факты. В своей новой статье² А. Жолковский предлагает поабзацный комментарий к тексту. Интересный структуралистский подход, неожиданно близкий к талмудической традиции комментирования Священных текстов.

Да, путешествие по анфиладам смыслов бабелевских текстов, своей лаконичностью и метафоричностью напоминающих библейские, бесконечно. Мне же хочется рассмотреть рассказ в свете краеугольной жизненной дилеммы, стоявшей перед Бабелем в конце 20-х – начале 30-х годов³. Эта дилемма – какая страна должна быть местом его жизни: Франция или Россия? – является, на мой взгляд, значимым подтекстом рассказа, его *важнейшей* движущей силой и наравне с иными, более явными мотивами определяет выбор героев и фабулы.

В названии рассказа мне слышится «В окрестностях Данте» или «Под сенью великого Данте». Фигуры Данте и Дантона как бы обрамляют его действие, которое разворачивается в некоем аморфном настоящем (конкретные приметы актуальности – общественные и политические – отсутствуют, и, как я думаю, осознанно), задают его рамки, его движение: от судьбы *добровольно выбранного изгнания*, которую рассказчик «примеряет» на себя вначале, – к конечному выбору *судьбы на родине*, в потенциале грозящей участью Дантона – заключением и казнью по политическому обвинению.

Исключение этнической или государственной «опознанности» рассказчика, ее сознательная нивелировка продиктованы не только

¹Е. Погорельская. В дыму и золоте парижского вечера. Вопросы литературы, 2010, № 1.

²А. Жолковский. «Улица Данте». Топография, топонимика и топики парижской новеллы Бабеля. НЛО, 2014, № 6.

³В эти годы Бабель дважды (июль 1927 – октябрь 1928 и сентябрь 1932 – август 1933) подолгу жил у своей семьи, в основном в Париже.

усилием автора замаскировать опасные аллюзии с советской действительностью при упоминании знаменитой жертвы революционного террора во Франции конца XVIII века. Бабель, на мой взгляд, несмотря на видимое обилие «документальных» деталей быта, отмеченных Жолковским, хочет рассказать об изгнанничестве и о любви как об экзистенциальных, базисных состояниях души, вне привязки к «злобе дня». Автор, предчувствуя возможность для себя трагической развязки в родных местах (судьбу Дантона), тем не менее отвергает изгнание (судьбу Данте). И мучительное это решение подспудно вызревает в нем на фоне истории Жермен и Бьеналья. В ее основе легко просматривается тривиальность кочующего из уголовных хроник в литературу и на сцену («Кармен», «Отелло») сюжета убийства из ревности-любви. Он возникает снова и снова в разных текстах то в одеждах мелодрамы, то трагедии, то в одной эпохе, то в другой. Но разве не *универсальность* подлинное имя *тривиальности*?

Реальные персонажи, живущие по законам сиюминутно текущего времени, сопрягаются с великими личностями ушедших эпох. Узнаваемость сюжета Жермен и Бьеналья становится своеобразным телескопом, психологически приближающим к нам драмы Данте и Дантона. Перепаду в масштабах личностей героев как бы вторит сопряжение разных по масштабу временных отрезков («от пяти до семи вечера» и «полтора столетия тому назад», «тысячу лет нашей истории»). Знакомое каждому чувство времени как отрезка в расписании дня помогает ощутить время на иной шкале, исчисляемое сотнями лет.

Итак, рассказчик-иностранец знает о Франции по уйме прочитанных книг, но его знание не облегчает гнета своей чужести. Он ищет путей проникнуться подлинным французским духом.

Мсье Бьеналь становится его Вергилием. Торговец подержанными автомобилями поначалу олицетворяет якобы настоящую культурную французскую традицию, приобщению к которой стремится герой.

– *За тысячу лет нашей истории мы сделали женщину, обед и книгу...* – с гордостью сообщает он иностранцу.

Слово «сделали» (вместо «создали») подчеркивает момент мастерства, профессионализма, то есть не первозданного непосредственного восприятия жизни, а отделки, шлифовки переживаний и ощущение по аналогии превращения «дикого вида (переживания) в культурный». «Женщина, обед и книга» стоят у Бьеналья «подряд, гуськом, в затылок», так как важен культ «смакования» жизни, а через какое наслаждение – телесное или интеллектуальное, – совсем неважно. И Бьеналь успевает «переделать» жизнь своего ученика в отношении к еде и сексу (тот начинает посещать «настоящие» – для французов – ресторан, кафе, публичный дом).

Однако роль Бьеналья резко идет на убыль из-за его разрыва с Жермен. В глазах рассказчика это непростительная ошибка. Это не только замена «сильного и тонкого тела», «низкого и быстрого смеха» Жермен – «большой отвислой грудью», «шаркающими ногами» новой любовницы-мулатки, но и подмена «грозного молчания... счастья» и «нежной агонии страсти» – «домашней хриплой возней». Это

знак личного падения Бьеналья: *он валялся на кровати без пиджака, измятый, посеревший, в застиранных носках...* Авторский взгляд беспощаден, как хирургический скальпель. Бьеналь низвергается с пьедестала Вергилия.

Не Разум он олицетворяет, а лишь здравый смысл «маленького человека», голос которого одинаков повсюду. Бьеналь говорит: *...то, что на свете бывает зима и лето, начало и конец, то, что после зимы наступает лето и наоборот, – все это не касается мадемуазель Жермен... кроме вечной любви на свете есть еще румыны, векселя, банкроты, автомобили с лопнувшими рамами...* Это напоминает «голоса из трактира» в шестой сцене «Заката», призванные усовестить Менделя Крика.

Временное «воскрешение» Бьеналья за рюмкой коньяка при встрече с бывшей любовницей в кафе (*женщина улыбнулась углом карминного рта... и, колебля и волоча змеиное тело, исчезла...*) – лишь имитация естественного ритма жизни. Короткий всплеск, случайный зигзаг, необходимый, чтобы уберечь рассказ от унылой прямолинейности.

Физическому уничтожению Бьеналья предшествует его моральный крах в глазах рассказчика. Подлинная страсть побеждает выпестованный культурой гедонизм. Это выражается и в стилистике повествования. Грубоватая физиологичность в духе «Одесских рассказов» звучит в голосе рассказчика до появления Бьеналья.

Орудовали мастера... < ... > Женщину... доводят до... накала.

Эта же физиологичность возвращается в повествование после гибели Бьеналья: *вываливающиеся лиловые груди мадам Трюффо... горячее чесночное дыхание... она была беременна, живот грозно выходил из нее...*

Культурная парадигма рассказа – низвержение бьенальевского подхода к жизни и возврат к ценностям Данте и Дантона, то есть к ценностям хрестоматийной «европейской культуры». Жолковский находит эту парадигму вполне традиционной и сближает ее с позицией О. Мандельштама в стихотворении «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня...» (1931). При этом он отмечает, что в тридцатые годы открытая защита европейских ценностей звучала как вызов крепнувшей тоталитарной советской идеологии с ее требованием безоговорочного воспеания социалистической действительности.

Однако внутри этого выбора между Бабелем и Мандельштамом есть немаловажная разница. В стихотворении Мандельштама громко и открыто звучит вызов насаждаемым культурным нормам второго десятилетия советской власти: что «можно или нельзя», что «хорошо или плохо». Во весь голос, не прячась за спину лирического героя («рассказчика»), поэт решительно заявляет: *из-за вас Европа стала для меня физически недостижима, но память о ней в каждой клеточке моего существа, и вам не дано ее из меня изгнать, и плевать мне на все ваши лозунги, и я все равно поднимаю за нее бокал, и все, что меня волнует, это каким вином его наполнить: я пью, но еще не придумал, из двух выбирая одно: душистое асти-спуманте или папского замка вино.*

Гениальное поэтически, инфантильное социально – высказывание поэта в защиту традиционной культурной парадигмы «западная европейская культура – вот мой идеал, мое пристанище».

Но у Бабеля совершенно иной жизненный почерк. Он умеет и любит уживаться с людьми и властями. Он мудр и выдержан. Чарующая загадка этого шедевра не в том, что рассказчик выбирает «науку жизни по Данте и Дантону». Совсем не в этом сложность и трагизм его выбора. Она – в выборе между судьбой Данте и судьбой Дантона. Именно уверенность Дантона в себе и своей популярности заставила пренебречь реальной угрозой, нависшей над его жизнью, не обращать внимания на обвинения сторонников Робеспьера. Другьям, предлагавшим ему бежать из Франции незадолго до ареста, Дантон будто бы ответил: «Возможно ли унести родину на подошвах своих сапог?» Про смысловую нагрузку образа Консьержери, про то, как ясно усматривал Бабель аналогию с якобинским террором (революции, пожирающей своих детей), про скрытые бабелевские опасения перед будущим сказано и Жолковским, и Погорельской. Невзирая на опасения, он отвергает судьбу изгнанника Данте, потому что, как Дантон, не способен жить вне родины.

Не об этом ли думал Бабель, когда писал *о том же дыхании*, восходящем к нему и Дантону из миазмов Сены?

Сердце мое согревалось в эти часы... мне приходило на ум, что Жермен нужна нам больше, чем Бьеналю. Справедливо усматривается здесь «покушение» рассказчика на Жермен. Однако любовная линия рассказчика и Жермен обрывается, не начавшись. Не потому ли, что у ее образа в рассказе иная художественная роль?

Влечение рассказчика к Жермен – «абортированный» мотив, который, как и промелькнувшая бывшая любовница Бьеналю, вносит в новеллу дыхание естественной многоликости происходящего. Да и как не увлечься ею? Эта женщина – источник истинного *тепла*, которое вносят в жизнь страсть, красота, женственность, артистизм, в конце концов! Поэтому она слушает оперу «Богема», а не «Сельскую честь», поэтому она – продащица перчаток, а не, к примеру, нижнего белья.

И даже убийство, совершенное Жермен, не стирает из ее облика черты изящества и утонченности: *здороваясь со мной, она склонила голову, и с нею вместе склонилось перо на шапочке...*

Жермен – это ураган страсти, сметающий все на пути. Его можно «загнать» в определенный отрезок времени (с пяти до семи вечера), «сдавить» плотной шапочкой, «втиснуть» в строгий облегающий англазированный костюм, но невозможно укротить и заставить жить не по своим собственным законам. Литературную генеалогию темы Жермен и непреложной силы любовных страстей Бабель возводит к Данте. В работах обоих исследователей детально рассмотрены все отсылки к дантовской теме: важнейшие сентенции о любви звучат по-итальянски (реплики синьоры Рокки) и переведены с итальянского самим Бабелем, многократно повторяющееся в них слово «любовь» и слова из дантовского лексикона (*Dio, non perdoni*) близки и по смыслу, и по звучанию к дантовским строкам.

Естественно, у литературоведов возникают закономерные вопросы, на которые пока нет ответа: когда, как, при каких обстоятельствах, насколько глубоко было освоено Бабелем творческое наследие Данте?

Как бы то ни было, на мой взгляд, не чтение Данте навело Бабеля на подобное «укрупнение» темы Жермен.

Знаменитое ненасытное бабелевское любопытство вплоть до вуайеризма – это бесстрашная потребность узнать о жизни и человеке «все» и, по возможности, «из первых рук», «органическая потребность и часть творческого процесса» (по выражению С. Поварцова).

Однако накопленный писательский и жизненный опыт никак не помогает разрешить личную ситуацию. В 1927 году Бабелю тридцать три, и у него масса вопросов к себе самому. «Запутанные личные обстоятельства», как он об этом писал.

Бабель пока в Париже. Жадно впитывает новые впечатления. Его непростой личный выбор еще впереди.

И вот, представьте, случайно вычитанная в газетной уголовной хронике история, внезапно увиденное при прогулке название улицы... Разве не могло это вызвать вспышку творческого озарения, замыкание на дантовском мотиве? «Убийство из ревности в состоянии аффекта» становится гимном страсти, а фигура поэта-изгнанника – парадигмой, не совпадающей с его судьбой. В этом случае даже знакомства в обычном, «хрестоматийном» объеме с известными фактами дантовской биографии и его строфами достаточно, чтобы «задействовать» Данте в этой новелле как единомышленника и союзника.

Это предположение косвенно поддерживается некоторыми фактами, касающимися истории замысла. Время создания рассказа точно не установлено (впервые опубликован в журнале «30 дней», № 3, 1934). Поскольку в нем описано состояние человека, впервые столкнувшегося с предметом его книжного знания во всей полноте физического восприятия, а подобные ощущения невозможно *выдумать*, их надо *пережить*, маловероятно, что замысел рассказа мог возникнуть ранее августа 1927 года. Погорельская, опираясь на совпадение сравнения Марселя с Одессой в письме Бабеля И. Лившицу (28 октября 1927, с вычеркнутыми строчками в ранней версии новеллы), справедливо замечает, что замысел рассказа возник уже осенью 1927-го, то есть через несколько недель после реальной встречи Бабеля со страной, о которой он знал так много из французской литературы.

В мелодраматическом (еще одно напрашивающееся созвучие Жермен–Кармен) сюжете о судьбе скромной продавщицы перчаток мерцает грозное предзнаменование для самого рассказчика. Да, Жермен совершает убийство, а Кармен – убита. Но разве Жермен не такая же жертва своей страсти, как Кармен? Вот и Дантон казнен теми, кому, опьяненный любовью к своему идеалу, столь рьяно и успешно помогал захватить власть. Дантон и Жермен сближаются в непреодолимой любви-страсти, без которой исчезает смысл жизни. Данте же преодолевает горечь утраты, переплавляя свою земную любовь в духовную, в философскую верность идеалу.

Данте выбирает изгнание и жизнь. Дантон – верность Революции и Франции ценою своей жизни.

Давид Маркиш

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Рассуждая о двуязычии в русской литературе, в первую очередь – да и в последнюю, кажется, тоже – в голову приходит Набоков. Был, правда, ещё и Лев Толстой, большую часть романа «Война и мир» написавший по-французски; но это ведь случилось не вчера. А Набоков – вчера. Сегодня в этой литературе такие уже перевелись, и второй писательский язык, равноправный первому, русскому, сочли бы дерзким вызовом патриотизму.

Писатели же, перешедшие с языка на язык, не такая большая редкость. Тому близкий пример – Эммануил Генрихович Казакевич, начинавший как поэт на языке идиш (его отец, Генох Казакевич, был известным еврейским журналистом), а после войны написавший по-русски повесть «Звезда», уверенно занявшую одно из первых мест в русской литературе об Отечественной войне 1941–1945 годов. Вынужден был определиться с рабочим языком в своей прозе и Чингиз Айтматов. Примечательно, что оба они – и Казакевич, и Айтматов – дебютировали как русские писатели в московском литературном журнале «Знамя». Этими двумя примерами, разумеется, не ограничивается круг писателей; их и на Западе немало. Такая смена языков в литературе – тяжелейшее, мне кажется, предприятие, и диктуется оно факторами фундаментальными: карьерными, политическими или идеологическими. Один мой знакомый, малоизвестный русский поэт, репатрировавшийся шестью или семью годами после меня, решил перейти в своём творчестве на иврит. Это решение было продиктовано не только патриотическим духом, совершенно искренним, но и здравым расчётом: в Израиле быть ивритским поэтом куда как нелегко, но всё же несоизмеримо легче, чем русским. И действительно, мой знакомец своего добился: засел за учебники и пособия, корпел над ними лет пять – и, в конце концов, выпустил-таки сборничек стихов, написанных на иврите. Хвала упрямству и одержимости идеей! И если по-русски мой поэтический приятель писал плохо, то на иврите он стал писать очень плохо.

Да я и сам, сидя в отказе в Москве, мечтал перейти когда-нибудь с двояродного русского на родной иврит, загадочные буквы которого – «угловатые, как землепашцы, и плечистые, как кузнецы», – нравились мне куда больше, чем привычная кириллица. Добравшись, наконец, до Израиля, я уже через полгода понял, что такая лингвистическая задача мне не по плечу – и, не без облачной грусти, расстался с надеждой.

Перец Маркиш, прежде чем раз и навсегда обратиться к родному ему языку идиш, писал стихи по-русски. Я узнал об этом на исходе 50-х, после возвращения нашей семьи из ссылки, и был потрясён: мой отец, классик еврейской литературы, писал русские стихи! Вот она, у

меня в руках, эта толстая столетняя тетрадь в чёрной клеёнчатой обложке, где рукой моего отца записаны десятки стихотворений. Язык прозрачен, грамматика безупречна – отец владел русским безукоризненно, не исключая и фонетики. Я не могу объяснить, каким образом мальчик, родившийся в захолустном местечке, в традиционной религиозной семье, повседневным языком которой был идиш, смог овладеть русским в таком объёме.

Насколько мне известно, до начала Первой мировой войны Перец Маркиш не публиковался ни по-русски, ни на идише. Его стихи на еврейском языке появились в печати уже после войны, на которую Маркиша призвали, он воевал, был ранен и даже объявлен погибшим в бою. К счастью, известие это оказалось ошибкой: отец выжил и после лечения в госпитале был демобилизован по ранению. 1918 год – год окончания мировой войны и начала гражданской – отец встречается в Екатеринославе (Днепропетровске), в отряде еврейской самообороны. Там, в «Катеринославе», он пишет на идише поэму «Волянь» и готовит к печати свой первый сборник стихов «Швелн» («Пороги»). Поэма и «Пороги» принесли ему известность и вывели в первый ряд молодой еврейской поэзии. Спустя два года он написал поэму о погроме «Ди Купэ» («Куча»), которая, вместе с его авангардистским альманахом «Халястрэ» («Ватага»), сделала Переца Маркиша одним из признанных лидеров новой еврейской поэзии, обнажённый экспрессионизм которой уподоблял её напряжённой мышце или натянутой тетиве лука.

Что побудило Маркиша отказаться от русского языка, которым он в своей юношеской поэзии пользовался безраздельно, в пользу родного языка идиш? Думаю, этому способствовал кровавый и дикий опыт войны, который он, молодой местечковый еврей, приобрёл на полях чужих ему сражений. Там, на войне, во фронтовой полосе, проходившей и по еврейским местечкам, лицом к лицу столкнулся Перец Маркиш с тем горем и притеснениями, которые обрушились на бесправных и беззащитных еврейских людей черты оседлости. Их отчаяние, боль и мерцающую надежду на спасение от смерти куда естественней было выражать на их родном языке.

В ранних подростковых стихах о своей духовной «чужести» отец высказался более чем отчётливо, по-русски: *Прости мне, Русь – земля изгнанья. И ещё: И рос в тебе я, одинокий, / Чужой тебе, твоей земле...*

И мы там были чужими, откровенно говоря.

Перец Маркиш

КУЧА

*Вам, жертвы Украины, чья земля насыщена
вашими останками, и вам, сваленным в кучу
в местечке Городище на Днепре,
Кадиш!..*

* * *

Нет! Не лижи их плоть, оплывший небосвод!
Не слизывай с их ртов смердящий чёрный дёготь!
А... тесто хочешь ты кровавое потрогать?!
Блевотину?! Не тронь! Земля её возьмёт.

Прочь! Пахнет от меня! Откуда этот смрад?
Отцы и братья здесь, и дочери, и внуки –
весь городок! Царапают их руки,
шевелиятся... Скорее прочь! Назад!

Вся Куча доверху – вонючее тряпье!
Бери, что хочешь, вихрь, на память из неё!
А монастырь сидит, как хорь у крови птичьей...

Эй, жирный небосвод! Возьми себе обычай
их белый китл¹ носить – и будешь свят и скромн!
Омен!

* * *

К мёртвым я приду однажды,
в пору крови, в пору мёда;
созерцатель мёртвых, сам я
голубей ищу из детства,
голубей в зловонной Куче.

Это жребий мой подвешен
на луне подслеповатой:
свет неясный над пустыми
вспоротыми животами,
над предутренним затишьем.

¹ Китл (*идиш*) – белый полотняный халат, который мужчины надевают в Йом-Кипур, а также в новогодний и пасхальный праздники.

А во мне местечко дремлет,
и мерцает в сердце детство
с угловатыми плечами...
Вот и козочка белеет
на рассвете у порога...

О мои слепые предки!
Сколько мне ещё скитаться
по неверным вашим тропам
и терзаться вечным страхом
под ногой увидеть бездну?!

Расступитесь шире, дали,
на пути к Днепру от Нила!
Ты, чьи выколоты очи,
боевым наполнись жаром
и ярмо сломай на шее!

Богатырь, Самсон незрячий,
отрасти же снова кудри!
Дрожь уйми в руках окрепших
и, как древние колонны,
рушь опоры мироздания!..

* * *

Местечко будто спит. Всё тонет в тишине,
как груженный обоз в болоте незнакомом...
Не слышно голосов ничьих, и перед домом
ничья живая тень не промелькнёт в окне.

И только ветер здесь, как ястреб молодой,
в закатной мгле кружит и кровлю рвёт когтями...
Владыка всех миров, над нищими, над нами,
страницы звёздных книг небесные раскрой...

В молельне сумрачной никто меня не ждёт.
Гуляет здесь сквозняк, и только голос брани,
бессильный горький крик, родившийся в гортани
проклятьем разомкнёт мой воспалённый рот.

Эй, жалкий плакальщик! Ты высох, как скелет!
А руки ластиться, подобно псам, готовы
и ран гнойник расчёсывать багровый.
О Куча чёрная! Кровавый мой завет!..

Среди майдана ты стоишь, как новый храм,
стоишь, как жертвенник, и, запах смерти чуя,
летит к тебе и вьётся там, пируя,
столетний ворон – царь помойных ям...

Издай же, сердце, вопль – тоску двух тысяч лет –
под жалкий скрип разбитой колесницы,
под крики воронья, клюющего глазницы!
О Куча чёрная! Кровавый мой завет!..

* * *

Ставь вечером шатры, а утром вновь ступай
тропою Каина, отверженное племя!
И шапку Авеля напяль себе на темя
и кровь свою в бокал субботний наливай!..

Повозка чёрная с возницей сонным в ней
колёсами увязла в мерзкой жиже...
Вон там они лежат в лохмотьях и бесстыже
сверкают наготой раздробленных костей.

Поток смолы застыл в глазах моих,
и как ни выжимай – он не течёт слезами.
Повозка чёрная увязла в грязной яме –
там кто-то возит, кто-то возит их...

Перекрестись, возница, на рассвет!
Считай их, каждого, по голове пробитой!
И сбрасывай тела под конское копыто!
О Куча чёрная! Кровавый мой завет!

* * *

Эй, плакальщики с вавилонских рек!
От ваших врат с мозаикой старинной
сюда, на Днепр, ведите хор калек,
оплакивайте новые руины!

Эй, клейзмеры, снимайте арфы с ив!
Настраивайте старые цимбалы!
Вливайте скрипок траурный мотив
с вином субботним в кубки и бокалы!

И горький пережёвывайте ком!
И возле чёрной Кучи беспрестанно
костлявым бейте в сердце кулаком,
шепча слова молитвы покаянной!

И о рабах, что клали кирпичи
на извести из молока грудного,
забудь, длиннородый, замолчи!
О городке кричи, где нет живого!

Узлы старинных сказок завяжи!
О Куче всем рассказывай отныне!

Разбитые надгробья покажи
и косточки детей в кровавой глине!..

Сельчане, эй! Нисходит благодать!
На площади с пустым базаром рядом
распутная, святая ваша мать
младенца держит бледного над смрадом!

Где в Куче перемешаны, копя
морозный воздух, головы и спины,
стоит она, незрячее дитя
баюкая над грудой мертвечины...

Эй, плакальщики с вавилонских рек,
гремят, гремят заклятые цимбалы!
Под скрипок плач, под струй кровавых бег
со звоном разбиваются бокалы!

Как фи́га из Бейт-Лехема, растёт
макушка Кучи – станет выше вдвое
и продырявит жалкий небосвод...
Благословен создавший всё живое!

* * *

Летите, ветры-странники, спеша,
на рыжий этот снег, покинув север хмурый!
На много лет вперёд, как у слона под шкурой,
найдёте мяса вы, гной Кучи вороша.

Изломанная кость, как дикий рог, торчит,
распоротый живот – как чёрный зев колодца.
Бездомный, над тобой тоска скитаний въётся,
влечёт на дно болот и, как сова, кричит...

Макушка Кучи вверх косматая ползёт
лизать гниющим ртом небес кровавых блюдо
Безумный кто-то здесь за возом воз везёт...

Эй, ветры-странники, за мною! Прочь отсюда!
Довольно вам отцовский талес рвать:
без савана лежит в зловонной Куче мать!..

* * *

Кривым переломанным клювом пугая,
летит мимо Кучи ворона седая.

Куда ты, ворона, ведь сумерки скоро?
– Всю стаю родную, всю чёрную свору

из края, где голод нас ждёт неминуемый,
сюда приведу я – кормиться при Куче.

И вот прилетает вся стая. Ворона,
забравшись на Кучу, вещает, как с трона:

– Ой зимнее поле, ой холод колючий –
как сладко в морозы погреться у Кучи.

Давайте же, детки, клевать, и проказить,
и каркать от сытости (чтобы не сглазить!).

Вокруг этой Кучи, на вольном майдане
поселимся табором, словно цыгане.

Плодись, размножайся, наш род чернокрылый!
Дай бог тебе счастья, спаси и помилуй!..

* * *

Утешь меня, ястреб, над мусором быющий крылами,
над смрадным, кровавым засыпанным снегом тряпьем;
я призван служить тебе, Куча, с тобой оставаться вдвоём,
как жрец с потаённым, невидимым в сумрачном храме.

Сюда, пилигримы, к соблазну, в заветное тёплое лоно!
Сюда, в дом Ваала, к разврату в компании пьяных повес!
Сюда пробирайтесь по тропам, сюда опускайтесь с небес –
здесь Кучу венчает, царицу, из кож и скелетов корона!..

Кружитесь всю ночь в хороводе чертовском над скверной,
гнилым своим семенем брызнуть спешите, бродяги, скорей,
как жирный восточный бездельник, как старый султан-богатеи.

...Утешь меня, ястреб, летай надо мною, мой верный!
От крови тяжёлые быются могучие крылья ветров –
жрецом твоим, мёрзлая Куча, и сторожем быть я готов...

* * *

Полночный ветер плачет, и визжит,
и знает: из живых ни одного не встретит.
Ошмётки мёртвых тел кровавые кружит
и красным сургучом свою дорогу метит.

И копоть испускает чёрным ртом,
как старый паровоз, захлёбываясь в гуде...
А саблями отрубленные груди
на тонкой коже висят над животом...

Я возведу вокруг тебя забор,
царица Куча, шкур дырявых груди!
И будет твой, до самых звёзд, шатёр
под чёрным стягом виден отовсюду.

Пусть каждый это место обойдёт,
как свалку, полную миазмов, как заразу,
и пусть назад бежит, тебя увидев, сразу –
таков наказ – для всех, из рода в род.

Гуляйте, ветры, в колокол звоня!
Потешься, мир, сивуху отрыгая,
кровавым солнцем на исходе дня,
и пусть клюёт глаза воронья стая!

А я один уйду. Как копоть фонаря,
В пространстве растворюсь, сливаясь с тьмой липучей
Проснитесь, мёртвые, придавленные Кучей!
Молиться вас зовёт безмолвная заря!

* * *

Эй, ярмарка, кипи! Эй, веселись, базар!
Вот бусы, панночка! С обновой вас, с обновой!
А пуговицы – разве не товар?
А шаль цветная, пан, для чернойбровой?

Кружись во фрейлехсе, базарный ловкий люд!
Торговец, суетись, усталый, как от бега!
Старьёвщик с хламом тоже тут как тут,
и рядом до небес нагружена телега.

Её хозяин горсти серебра
в карман ссыпает свой движеньем длинным...
А скряги молятся с утра и до утра
и Тору меряют замызганным аршином.

Легли платки и ленты на траву,
под ливнями гниют цветов охапки,
и десять заповедей глупый хряк в хлеву
мусолит, как кусок потёртой старой тряпки...

* * *

Тьма – чёрный сор из полуночных стран...
За вылинявшим солнцем предвечерья
багровый поднимается туман,
и снежные вокруг летают перья...

А нищие бормочут: «Свят, свят, свят
наш поводырь от века и доныне», –

И молятся сиянию заплат
на необъятной скомканной штанине.

И копошатся полчища червей,
от основания Кучи к изголовью
ползут меж припорошенных бровей –
и к богу верному, в закат, умытый кровью!..

Давая псам кромсать свои колени,
на площади, в скрещении дорог,
ты высишься, скопление грязных ног,
Царица смерти, знак для поколений!

Гора костей! Твой силуэт огромен!
И он растёт у мира на виду.
Тебе на веки черепки кладу...
Молитесь, нищие, и говорите: «Омен!..»

Я к вам приду, как сумрак дальних стран,
где прячет смерть костистый лик кровавый.
Я приплыву, как утренний туман,
что стелется над шляхом и дубравой...

И два тысячелетия клеймом
я врежу в мясо Кучи оголённой!
Молитесь, нищие, и кайтесь у амвона!
Стучитесь понапрасну в каждый дом!

* * *

Эй, лавочник, проснись! Вставай, народ базарный!
Богач – и мелочью торгующий вразнос!
Могильщики, есть на *тахр́ихим*² спрос!
Вставайте и рассвет встречайте лучезарный!

Обугленный сюда несите свиток Торы –
у кучи смрадных тел молиться и стонать,
сестёр и братьев в саван пеленать
и класть под камень их, под семь свечей меноры...

От мёртвых свет серебряный исходит:
здесь каждый – царь в короне, полной вшей.
Тахр́ихим чёрный шей, ночной могильщик, шей!..
Полночный ветер здесь, в грязи кровавой, бродит.

Он треплет их тела, засохшие, в коросте,
он будоражит их, щекочет их во сне;

² Тахр́ихим – погребальный саван (*идиш*); как правило, из материи белого цвета.

безумный, только он здесь воет в тишине,
и молится за них, и ворошит их кости.

Назад, скорее назад! Скорее прочь отсюда!
Неся по пустырям золы и крови смесь,
«Эль мо́лэ ра́хмим...»³ – ветер стонет здесь...
Покойся, тюк тряпья, покойся, мяса гряда!

* * *

Тебя стеречь сюда назначен я
от псов голодных и от воронья;
распятых и разрубленных хранить
и хоронить...

Мне никуда отсюда не уйти –
горой ты встала на моём пути,
с их животами, полными червей...
Вей, ветер, вей!..

Я для того, чтоб стан, Царица, твой
ощупывать трясущейся рукой
там, где тебя, майдана поперёк,
поставил бог...

И лестница в оплывший небосвод
от грязного подножия ведёт,
и провожает всех распятых в рай
вороний грай...

* * *

Лишь день, словно голубь, появится с первым лучом,
на скопище мёртвых, разорванных в клочья штыками,
не кинет он взгляд, только сплюнет – ему нипочём –
и бросится прочь, прикрывая свой лик облаками...

Подхватывай, ветер, здесь всё, что захочешь! Кружи!
Тащи за собою по вымершим улицам мрака
их гнойную плоть! Волоки от межи до межи!..
Бродячая воет в пустынном местечке собака.

От слипшихся трупов густой поднимается смрад,
придвинулась темень, теснит необъятною грудью...
Эй, плакальщик вечный! От мусорной кучи назад,
как эта собака, ползи по ночному безлюдью.

³ Эль мо́лэ ра́хмим – Бог, исполненный милосердия (*идиши*). Начало заупокойной молитвы.

* * *

Откройте засовы! Вставай, проходи сюда каждый!
Входите, заблудшие, в старый отцовский чертог!
Под крышею этой один здесь хозяин – ваш бог:
спасёт он от голода вас и избавит от жажды.

Входите, распухшие! Стол здесь накрыт перед вами.
Вы знатного пира такого не знали две тысячи лет.
Здесь лучшие яства для вас, и подобных им нет.
Молитесь, молитесь – и шамкайте синими ртами!..

Входите сюда, попрошайки, в роскошные залы,
где ждут вас, убогих, сокровища ваших отцов!
Кафтаны наденьте, сорвите тряпье мертвецов!
Лехаим! Налейте вино в золотые бокалы!..

Вставай же из мерзости, нищий, оборванный сброд,
из мусорной кучи, где в общем – с воронами – стане
валяются трупы напротив церковных ворот!

А я подавание буду для нищих просить на майдане:
«Подайте калекам! Подай им любой, кто пройдёт!
Наполни кровавую шапку, небесный жиреющий свод!..»

* * *

Ой вы ноги с башмаками без гвоздей,
я загнал вас, как ретивых лошадей!

Сколько вёрст ещё идти мне и идти,
чтобы мёртвые пороги обойти?

В этих домиках уютных – посмотри! –
нет живого ни снаружи, ни внутри.

Лишь тоска моя у сломанных ворот
дремлет, как бездомный старый кот.

На закате сквозь раскрытый створ окна,
словно жёлтый тигр, крадётся тишина...

Ой вы ноги с башмаками без гвоздей,
я загнал вас, как ретивых лошадей!..

* * *

Вставайте! Спешите на трапезу бога!
Там сладкие речи вас ждут у порога.

«Сюда, мои дети! Кто трезв – будет пьян!
Все вместе паситесь – и бык, и баран.

Земля молоком истекает и мёдом!
Здесь нива обильна, и стадо с приплодом.

И мяса тут вдоволь для вас, а зерно
не могут вместить ни амбар, ни гумно.

Напихано так, словно чей-то живот
набит до отказа и лопнет вот-вот.

Кувшины вина дорогого полны!» –
Где трапеза божья – там речь сатаны...

А белая козочка блеет в сторонке –
на шею бубенчик подвесили звонкий.

Болтается он, и звенит, и звенит.
Над церковью крест устремился в зенит.

Он в чёрное небо холодное врос.
Лехаим, Йегова!.. Лехаим, Христос!..

На шее козы колокольчик дрожит.
Кровавая Куча червями кишит...

* * *

Ночь раскрывает снова чёрный рот,
а звёзды – словно зубы золотые.
Луна в ладье серебряной плывёт –
Наверно, навестить миры иные.

Оставь постель, в которой видел сны:
твои ещё не кончены скитанья;
садись в корабль блуждающей луны,
измерь на нём просторы мироздания...

Всё дремлет здесь. Всё тонет в забвенье.
Одни лишь роют гниль вороны рати.
Луна стоит в серебряной ладье
над Кучей, как Ковчег на Арарате.

Раскрой ворота нового жилья!
Лежит закат зарезанным бараном...
Нет, не хочу в ладью садиться я,
не стану плыть по звёздным океанам.

Спускайся вниз, луна, и вечно тут
нагая стой над царственной Кучей!
Взамен тебя вороны поплывут
в твоей ладье мохнатой чёрной тучей!..

* * *

Олени рассвета в небесных долинах
рогами пронзают тьму ночи мохнатой,
и солнце ползёт от восхода к закату,
и крылья ворон – вместо крыл журавлиных...

И словно монахи в коричневых рясах,
верблюды бредут в предрассветных туманах;
под жалобный скрежет колёс деревянных
везут мертвечины багровое мясо.

На Днепр тяжёлые тащат подводы
с отрепьями грязными, полными гноя,
а он их встречает свирепой волною
и катит на юг покрасневшие воды...

К реке для чего вам тащиться, верблюдам?
Неужто крестить на подводах везёте
кровавые части изрубленной плоти
и станут реке они лакомым блюдом?..

Пускай себя мёртвые сами омоют,
пускай на телеги кладут себя сами,
и пусть волокут их верблюды степями
и в чёрное небо беззвёздное воют...

* * *

Вставайте, купцы! Просыпайтесь, базары!
Отменные нынче везут вам товары:

И талесов рваных, и рваных бород,
и пейсов разодранных – невпроворот.

Осколки костей и пасхальной посуды...
Плетутся к базарам худые верблюды.

Погонщик их – ветер, а дождь – его кнут,
здесь смерть засекает и вороны жнут.

Как хмурая туча, глядящая вниз,
кровавый курган над рекою навис.

И тени ночные неся на рогах,
олени рассвета бегут в облаках...

Эй, солнечный шар выползающий! Эй!
Не видишь ли в небе косяк журавлей?..

* * *

О днепровские просторы,
золотые ваши зори
на приданое копите
славным девам Украины!..

Я приду сюда под вечер
отпевать моих убитых,
за моих святых молиться,
о днепровские просторы!..

Днепр – лохань для омовенья!
Ты моих несчастных братьев
волочишь по перекатам,
как рассыпанные брёвна!

Как плоты, что развалились
из-за бечевы прогнившей –
так плывут тела их ночью
прямо к морю, по теченью.

Ой вы девы Украины!
Даст в приданое вам Днепр
много грязных шкур намокших
вашим женихам на радость!

* * *

Сколько вас? В гною и ранах –
поколенья, поколенья!
Вереницы нищих, званых
на великий праздник тленья.

Каждый будет сыт, доволен
и увидит, как мелькают
в небе шпили колоколен –
мёртвый воздух рассекают!

И опять пугливым взором
новых два тысячелетья
на кресты, что над собором,
буду снизу вверх глазеть я...

Сплюнь же, сплюнь на позолоту!
Клей мезузу на литые
монастырские ворота!..
Богохульствуйте, святые!..

* * *

Свод неба к пашне тянется худой,
лоснящийся и тучный беспрестанно;
хоть напоил бы влагой из тумана –
но лишь блестит, как чайник жестяной.

Эй, небосвод, как щёк ни надувай,
ни капли влаги нет в твоей пустыне!
И аистов слепит простор твой синий...
Сухим и чёрствым будет каравай!

Ленивый ветер не уносит смрад,
и топчет засыхающие травы,
как косточки детей, пятой кровавой
багровый полыхающий закат!..

* * *

Идите, усталые, с воплем и болью,
с краюхою хлеба, посыпанной солью,
как шли поколения две тысячи лет –
и будут вороны вам каркать вослед.
И будут считать они ваши гроши
у дома молитвы, где нет ни души.
И солнце, как прежде, в красе и гордыне
от края небес поползёт к середине,
и вновь пировать будет в мире убогом,
и шарить по грязным дворам и порогам.
А сонм привидений – он ночью пустынной
нахлынет на вас и, скребя свою спину,
завоет, глумясь и святое скверня:
«Ой, братья и сёстры, смердит от меня!..»
Разбитые стёкла, и копоть, и чад...
Остовы домов, как утёсы, торчат!
Один уцелевший – рыдай, безутешен:
кровавым туманом лик дня занавешен!
Над ним башня падали – мерзкая Куча
нависла, как тёмная, грязная туча.
И нет никого, кто омоет её, –
лишь въётся над ней целый день вороньё.
Сюда ли доставит несчастных калек
блуждающий в море потопа ковчег?..
Дубит мою кожу ночной суховой –
прикован я, словно к скале Прометей!
Ко мне и ковчег по волнам не плывёт,
и степь не напоит – горяч её рот.
Эй, нищий, тащи своё тело в крови –
в крови своей, плакальщик вечный, живи!..

* * *

Кто сдаст мне, бездомному, угол внаём –
бродяге, тропкою идущему зыбкой?
С тоской местечковой, со сломанной скрипкой,
с котомкой проклятий входящему в дом.

О, вырвать бы Кучу из мёрзлой земли!
Одеть её в саван – и с богом! На плечи
взвалить и бежать вместе с нею далече,
бежать и бежать, спотыкаясь в пыли!

Бежать без оглядки, покинув Содом,
на землю излить свою горечь, как семя,
и выть по-шакалы, и клясть своё племя,
смеясь, как безумный, оскаленным ртом!

Глазами упавшего в мыле коня
водить во все стороны, брызгать слюною:
«Расправьтесь со мною, расправьтесь со мною!
Камнями, камнями побейте меня!..»

Ночами я вижу во сне звездопады –
и тысячи звёздочек в клювах у птиц.
Кто их украдёт, как бесценные клады,
кто спрячет на дне потаённых криниц?

Звезда, ты по небу летишь, пламенея,
на талом снегу свой печатаешь знак!
Гори на раскрытой груди, как камея,
пылай, словно кровью окрашенный флаг!

* * *

Ковш с молоком луна разбила невзначай.
Не бойся, чёрный кот, шаг услышав гремучий, –
я возвестить пришёл указ царицы Кучи:
«Верните заповеди богу на Синай!..»

Ты хочешь закурить? Зловонный пар вдыхай!
Не от вина пьяней – пьяней от чёрной крови!
Так Куча говорит в своём последнем слове:
«Верните заповеди богу на Синай!..»

А с неба закликает птичий крик,
как свиток огненный становится язык,
и звёздная блестит на голове корона...

На блюде неба – толстая ворона.
Молиться, Куча, в полночь начинай,
И сплюнь кровавой пеной на Синай!..

* * *

Над праздником, над пёстрой мишурой,
в кровавом нимбе образ Саваофа;
о Куча, ты, как новая Голгофа,
облезлой подымаешься горой...

За много вёрст со всех сторон видна,
в местечке, где убито всё живое,
где только тощий пёс остался, воя,
среди майдана ты пригвождена.

Подсвечников и кубков серебром
торгуют монастырские святые,
и побрякушки копят золотые,
и, как старьёвщики, всю рухлядь тащат в дом.

Бурдюк дырявый, грязный тюк белья,
подброшен ты к порогу богомольни!
За кровь твою уже вбиваю я
свой гвоздь железный в крышу колокольни!

Раскроет небо опалённый рот,
и Магдалина будет бледной тенью
над трупами молиться на восход,
и каяться, вызывая к Искупленью!..

* * *

Нет! Не касайся, туча, их бород!
Не слизывай с их губ смердящий чёрный дёготь!
А... Тесто хочешь ты кровавое потрогать?!
Блевотину?! Не тронь! Земля её возьмёт!

Прочь! Пахнет от меня! Откуда этот смрад?
Отцы и братья здесь, и дочери, и внуки –
весь городок! Царапают их руки,
шевелиются... Скорее прочь! Назад!

Вся Куча доверху – мешок с гнилым тряпьем!
Хватило места всем, все уместились в нём,
все, чей оборван вопль на полуслове!..

А монастырь сидит, как хорь, напившись крови,
и свод небесный млеет, сыт и тёмен...
Омен!

1920

Перевёл с идиша Ханох Дашевский

Ханох Дашевский

НЕ ИЗ ТОГО РЯДА

Резня в местечке Городище произошла в 1919 году накануне Судного дня, и убитые евреи остались непогребёнными. Несколько сот трупов свезли на площадь и свалили в большую груду напротив монастыря.

Вскоре молодой, но уже известный еврейский поэт Перец Маркиш начал писать поэму «Ди Купэ» («Куча»).

В этом произведении, написанном в экспрессионистской манере, он обнажает городищенскую трагедию, лишив её ореола святости. Рваные шкуры, мешки с тряпьем, заскорузлые ноги – поэт с потрясающей силой изображает натуралистические подробности погрома. В поэме Маркиш утверждает, что обитатели местечка умерли, как и жили: безо всякого смысла. Зарезали их, как режут скот; они не сопротивлялись.

Такой взгляд на судьбу соплеменников проявился уже у Бялика, в его «Сказании о погроме», написанном в 1904 году – за шестнадцать лет до поэмы Перца Маркиша: *Зачем, во имя чьё вы пали – смерть без смысла, как жизнь, как ваша жизнь без смысла прожита*¹. Так же смотрели на кровавую бойню, происходившую в годы Гражданской войны молодые евреи самых разных политических взглядов и пристрастий.

Сюжет поэмы Маркиша не из того ряда, когда за кровавой вакханалией грядёт Искупление и новый рассвет. «Куча» – о резне, в которой жертва не в состоянии сопротивляться. И в этом заключена ужасающая банальность погромов – и в Средневековье, и в хмельничину, и в Гражданскую войну, и в нацистских лагерях смерти. Нескончаемый плач, боль и тоска.

Сумрачный плач самого Маркиша.

Верните заповеди Богу на Синай... Что принесли еврейскому народу преданность традиции и вера, если посреди майдана возвышается новый храм – Куча? Массовое жертвоприношение. Заклание, подобное языческим оргиям. И огороженный забором шатёр под чёрным флагом; так огораживают зачумленное жилище.

Уже Хаим Нахман Бялик в своем «Сказании о погроме» бичевал еврейское малодушие, но Перец Маркиш, предельно заостряя тему пассивности жертв, в отличие от своего предшественника, зовет к мести. И если Бялик писал: *Мести нет – слишком страшны страдания*, то Маркиш видел это иначе: *За кровь твою уже вбиваю я / свой гвоздь железный в крышу колокольни*.

Поэта обвиняли в кошунстве: он вставлял в свои строфы цитаты из молитв, подчёркивая несоответствие религиозных постулатов кровавой действительности. Но молодое литературное поколение, поэти-

¹ Перевод Владимира Жаботинского.

ческий авангард, настроенный так же, как и Маркиш, бунтарскую поэму приняло с восторгом: пришло время открывать новые пути и в поэзии, и в жизни.

Изю всех ранних поэм Переца Маркиша лишь «Ди Купэ» никогда не переводилась на русский язык и не публиковалась: после возвращения поэта из эмиграции в 1926 году Советский Союз уже не был той культурной площадкой, на которой мятежной поэме нашлось бы место.

Сейчас, когда мы отмечаем юбилей классика еврейской поэзии, мне кажется, пора представить русскоязычному читателю эту страшную, чёрную, но очень важную для всего его творчества поэму.

Приношу благодарность Велвлу Чернину и Давиду Маркишу за очень важные для меня консультации, разъяснения и советы.

Работая над переводом, мне далеко не везде удалось полностью следовать ритмическому рисунку оригинала. Прежде всего, я старался воссоздать на русском языке поэтический мир молодого Переца Маркиша, ибо если в русском переложении нет поэзии – зачем оно?

Могу добавить, что сам поэт ругал своих переводчиков за стремление сохранить рабскую верность оригиналу. Он утверждал, что поэзия непереводаима. Так свидетельствует в мемуарах жена поэта.

Может быть, это послужит мне оправданием.

Талина Культиасова

ЗАМЕТКИ ДОТЮШНОГО ЧИТАТЕЛЯ

Видите ли, Шломо, вас с детства учили, что слова – шелуха, в лучшем случае описывающая реальность, а в худшем – искажающая ее. Но это не так. Слова – это и есть наша реальность.

Алекс Тарн. Протоколы сионских мудрецов¹

Я самый обыкновенный читатель. Правда, чрезвычайно дотошный, для которого гораздо интереснее отыскать общее в столь разных, на первый взгляд, книгах, чем высказать профессионально аргументированное и потому «единственно возможное» о них мнение.

Первая же не совсем привычная для меня тема, на которую я натолкнулась у Тарна, тут же вскружила мне голову, подхватила и, даже не думая ничего спрашивать, затащила с головой в мир его Текста. Эта тема – соотношение воображаемого мира и «объективной реальности».

Автор здесь точно не первооткрыватель, но, читая Тарна, я, как бы странно это ни звучало, впервые в жизни поверила, что все воображенное и правда может существовать. Уж слишком убедительно:

Удивительно ли, что жизнь в блогосфере, да и в интернете вообще, намного ближе к истинной реальности, чем та, что снаружи? Наша наружная жизнь виртуальна до обидного: разве мы созданы для такого постылого псевдосуществования? Разве происходящее с нами вне интернета – следствие нашего свободного выбора? Разве мы решаем, где родиться и родиться ли вообще?.. Ну можно ли сравнить эту навязчивую, насильственную неадекватность наружного виртуального бытия с сияющей реальностью интернета?!

Это из «Гиршуни».² События в этом романе развиваются параллельно и в блогосфере, и в реальном мире, и ты вслед за автором с легкостью перескакиваешь из воображенного мира в реальный и далеко не всегда знаешь, в каком именно сейчас находишься, настолько мастерски это сделано.

Конечно, интернет – это особобстатья, но та же тема, уже без всякого интернета, звучит и во многих других произведениях Алекса Тарна, начиная с самого первого – «Протоколы сионских мудрецов». С чьей-то легкой руки это произведение нарекли «романом-матрешкой», подразумевая, что это как бы текст в тексте, и с тех пор это определение переходит из аннотации в аннотацию. Но для меня в этом романе интересен даже не сам композиционный прием, а опять-таки исследуемые благодаря ему взаимоотношения между реальностью и тем, что кем-либо придумано и записано.

Кто же настоящий автор «урюпинских рассказов», сочиняемых Шломо Бельским по заказу неведомого Благодетеля? Если он сам, то

¹ Протоколы сионских мудрецов: роман. Иерусалимский журнал, 2003, № 16.

² Гиршуни [Записки из-под блогов]: роман. Электронное издание на сайте автора.

каким же образом придуманные им «с нуля» герои постфактум оказываются вполне себе реально действующими лицами в его, его собственной жизни? Неужели тот, кто «сочиняет» нашу жизнь, может использовать в качестве образца литературные упражнения какого-то случайно выбранного автора?

Чем он, Шломо, не демиург, не создатель? Разве не властен он своею мощною рукою над им же придуманным миром «бэрлиады»?.. Только... превратился грозный демиург в обыкновенную пешку, в послушного статиста в чужом сюжете, почитаемом им до того за свой собственный...

Ответ Мудрецов, которым в этой книге вроде бы отведена роль высшей инстанции, гласит, что рукой Шломо водила некая высшая сила, определяющая все и вся, и, собственно, не так уж и важно, какого именно автора нанял Благодетель для сочинения сценариев жизни – мелкого литработника или признанного гения.

Какая свобода воли? О ком вы это, о себе? ... Вы же из заранее проложенных желобков ни разу не выскакивали – ни в жизни, ни тем более в писаниях ваших! Свобода воли!.. Фу-ты ну-ты...

Если бы не насмешливые последние полстранички романа, мы бы уже почти готовы были принять предложенную модель устройства мира. Но самый конец «Протоколов...» оставляет нас в полной растерянности. Где, где истинное начало этой бесконечной цепочки авторов и проложенных ими желобков? Кто придумал самые первые желобки, из которых, как ни изворачивайся, невозможно выбраться? Неужели как раз те, кто сам по этим желобкам, собственно, и движется?!

И – история совсем уже из разряда мистики: сюжет, описанный Тарном в романе «Протоколы сионских мудрецов», некоторое время спустя повторился почти без изменений и с самим автором. Некий московский издатель, прочитавший «Протоколы...», заказал автору «вслепую» (как сделал это и Благодетель в «Протоколах...») сразу целую трилогию, предоставив ему карт-бланш. Издатель оказался весьма дальновидным: второй роман из этой трилогии («Пепел») попал в итоге в финал «Русского Букера», два остальных («Они всегда возвращаются»³ и «И возвращу тебя...»⁴) были впоследствии переизданы, а нынче уже давно напротив их названий в интернет-магазинах висит однообразно-унылое «Товар отсутствует».

Вот вам и роман-матрешка...

Тогда уж скорее чертик из табакерки.

Наверное, это неудивительно, что героями книг Алекса Тарна являются люди творческих профессий – те, кто по «долгу службы» как раз ее и создает – то ли воображаемую, то ли, как ни крути, настоящую реальность. Это и уже упомянутый «литературный негр» Шломо из «Протоколов...», и радиожурналист Шайя Бен-Амоц из «Записок кукловода»⁵, и переводчик из рассказа «История одного перевода», и кинооператор реалити-шоу Селифанский из повести «Последний Ка-

³ Они всегда возвращаются: роман. М.: Русь-Олимп, Астрель, АСТ, 2006.

⁴ И возвращу тебя... роман. М.: Русь-Олимп, 2006.

⁵ Записки кукловода: роман. Иерусалимский журнал, 2008, № 27.

ин»⁶, и «писатель поневоле» Борис Шохат из романа «В поисках утраченного героя»⁷, и многие, многие другие.

Наверное, именно в этом «узком месте» и происходит превращение придуманной реальности в настоящую. Именно эти люди в силу своей профессии создают самые разные воображенные миры, и нередко созданные образы начисто переигрывают объективную реальность.

Разве созданный им [Шайей] лотошник менее реален, чем его потный прототип, горланящий «три за десять!» на эйлатской набережной? Кто его знает, того типа-прототипа? ... Если завтра, к примеру, исчезнет он навсегда со своего места, кто о нем вспомнит? Может быть, пара братков, специалистов по выколачиванию долгов, тех самых, что вывалили его мертвое тело с катерка в черную воду залива? ... Кто же из них двоих реальнее, скажите на милость – рыбам скормленный или Шайей придуманный? От одного – ни слуху ни духу, полный ноль, а другой живет себе припеваючи, ряшку отъел... и все, заметьте, по-настоящему, со свидетелями. Вот то-то и оно...

Когда первый раз натыкаешься у автора на эту мысль, она кажется надуманной, чуть ли не эпатажной и как минимум противоречащей всем твоим устоям (в особенности если тебя с детства воспитывали как правоверного атеиста и материалиста). Но по мере того как ты то и дело встречаешься с ней в разных книгах и в разных обстоятельствах, поневоле начинаешь задумываться: а вдруг так оно и есть на самом деле?.. Хотя слова «на самом деле», «реальный», «настоящий» и т. п. после сказанного выше уже без кавычек и писать как-то неловко.

В «Записках кукловода» Тарн проводит параллель, причем весьма убедительную, между божественным сотворением мира и творчеством человека. Повествование ведется от имени Кукловода – загадочного персонажа, наделенного вполне человеческими (и весьма симпатичными) чертами и не вполне человеческими способностями, а вызов ему бросает созданная им же «кукла» – радиожурналист Шайя Бен-Амоц, вдохновенный и талантливый пройдоха.

На самых первых страницах романа Кукловод прямо на столярном верстаке создает «кукол» – будущих персонажей, причем написано это настолько иронично, что дерзость авторского замысла вместо «законного» возмущения вызывает только улыбку. Оказывается, что мужчин Кукловод лепит *не глядя, пачками, в перерывах между футбольными трансляциями*, да и с женщинами время от времени случаются осечки: то нос выйдет чуть длиннее, то ноги чуть короче.

Кукловод – любитель поговорить и то и дело вступает в назидательные и сочувственные беседы со своими «детищами», в особенности с самыми любимыми. Вот фрагмент одного из диалогов с Шайей – о персонажах, придуманных им для своих радиопередач:

– ...Никакой это не театр.

– А что же это, Шайя?

– Как это – «что»? Акт творения – вот что. Сначала создал Шайя небо и землю... ну и далее по тексту. Чем я хуже тебя?

⁶ Последний Каин: повесть. Иерусалимский журнал, 2010. № 34.

⁷ В поисках утраченного героя: роман. Иерусалимский журнал, 2010. № 36.

Вот об этом соперничестве и идет речь. Только «точки приложения сил» у Шайи и у Кукловода разные: Кукловод может в порыве вдохновения создать целый мир, населить его безымянными статистами и даже дать одному из них имя, точнее, одной – Ив, ради которой и придумывался весь этот балаган, как с горечью называет его Шайя, но, по версии Тарна, на этом могущество Кукловода и заканчивается; события, которые происходят потом, определяются уже действиями самих людей, а это, в свою очередь, зависит только от того, что люди думают, говорят или пишут.

– *Имена – тоже немало. Это единственное, что не зависит от тебя, дорогой папаша,* – говорит Кукловоду Шайя. – *Имена даем мы. И вещам, и друг другу. Тем и отличаемся – и от камня, и друг от друга – именем.*

Вот как описывает автор процесс рождения отдельных слов, фраз, а из них уже и целых человеческих миров:

...Все они придуманы, изобретены, созданы нетленным Шайиным воображением, сотканы из обрывков рыночных перепалок, из интернетовских свар, из уличного переругиванья, из кухонных и телевизионных споров... из воздуха, наконец...

В сущности, эти два процесса – Творение и творчество – во многом схожи, недаром у этих слов даже корень один. В романе снова и снова натываешься на эти параллели: ведь и там, и там персонажи возникают из ничего, у них нет никакой предыстории (*Что сказать?.. Что у него нет никакого прошлого? Никакого! Его прошлое – пустота, небытие, свистящий ледяной ветер...*), их создание невозможно без вдохновения и любви, иначе ничего не получится (*собственно, я ее уже люблю, даже еще и не сделаю*), влияние автора на им же созданных персонажей до обидного ограничено (*самостоятельность кукол поражает воображение*), а с их исчезновением остается та же самая гнетущая пустота, с которой все и начиналось (*...Холодно. Ужасно холодно.*).

– *Знаешь что?* – говорит Кукловоду Ив. – *Ты чем-то похож на Шайю – такой же фантазер и выдумщик...*

Разница только в одном – в «сферах влияния»: если предметный мир – исключительная прерогатива Творца, то мир, описываемый словами, а значит, и мысли, и действия, из них вытекающие, – все это принадлежит только и исключительно человеку. Слова – это наша, и только наша зона ответственности, здесь уже не на кого пенять, коли автор солгал своим читателям, зрителям или радиослушателям. Именно поэтому роман и заканчивается столь трагически:

И тогда я берусь одной рукой за правый верхний край задника, а другой – за левую нижнюю кулису и коротким рывком сворачиваю весь этот балаган, весь, без остатка. Я слышу, как внутри кувырываются куклы, как рвутся декорации, как рассыпается папье-маше. Я сжимаю все это в один не слишком большой комочек и отправляю в мусорную корзину.

Роман «Летит, летит ракета...»⁸ хотя и написан совсем о других людях и других обстоятельствах – действие происходит в пригранич-

⁸ Летит, летит ракета... Роман. Иерусалимский журнал, № 30, 2009.

ном поселке Матарот, где самые обычные жители пытаются строить самую обычную жизнь в решительно невозможных для этого условиях – под непрерывным обстрелом из приграничного (но уже с другой стороны) поселка Хнун-Батум, – но «собственноручное» создание реальности продолжается и в этом романе тоже.

В «Записках кукловода» Тарн позволяет нам заглянуть в святая святых, на тот самый верстак, где Кукловод мастерит и затем вдыхает жизнь то ли в кукол, то ли в персонажей романа, а в «Ракете...» автор, совершенно не скрываясь, предлагает читателям, так сказать, «войти в долю» – ни много ни мало стать соавторами! Выбор у нас, у читателей, правда, пока не шибко велик: дойдя до очередной «развилки» (так в романе называются главы), мы вольны выбрать то или иное продолжение, о чем нас честно, на голубом глазу, предупреждают заранее. Ну скажите, чем не соавторство?

Включиться в эту игру совсем несложно: географические названия и другие предлагаемые автором «научные» термины нарочито условны, отчего мир, постепенно разворачивающийся на наших глазах, кажется ненастоящим, игрушечным, иногда хочется даже нарисовать его карту – наподобие карты леса в «Винни-Пухе» или карты Швамбрании. Судите сами: по одну сторону границы живут обитатели *Страны – странники*, по другую – жители *Полосы – полосята*, где-то совсем рядом находится не менее загадочная страна *Бединет*, куда находчивые полосята то и дело прорывают туннели (а странники время от времени их обнаруживают). Полосята разговаривают на весьма условном наречии (например: *Хрю-хряб!.. А-хрю-хрю!..*), наемных тайландских рабочих зовут *относительно просто: Лонгхай-рачук и Верихотчайгек* – сокращенно Чук и Гек, а ракеты, в зависимости от настроения драной бездомной кошки, принимающей у треноги, летят то в Матарот, то в кукурузное поле, а то и в соседний город N. (*пусть будет просто «город N.», N с точкой, да и все тут*).

Аллюзии прозрачны и очевидны, но подобный сказочный, притчевый настрой (*Долго ли коротко, поссорились N-цы и полостинцы, сильно поссорились...*) приподнимает читателя над обыденностью и приглашает к игре, благо автор то вдруг сетует, подобно Кукловоду из «Записок...», об очередном сюжетном тупике (*Черт... Но делать нечего... Охо-хо...*), куда привела его приверженность к исключительно правдивому повествованию (*Нет. Стоп. Так не годится. Это просто неправдоподобно.*), то делится опасениями, что следующая развилка может превысить *сюжетно-бюджетные* нужды, и предлагает *действительно занятым людям* спрямить дорогу, а потом с самым невинным видом замечает, что никто никуда так и не отлучался, даже несмотря на свою занятость, потому что *действительно занятый человек больше всего на свете боится, как бы чего не пропустить*.

Еще, конечно, подкупают настойчивые и проникнутые неподдельной искренностью (*Я обещал не скрывать от вас ничего, включая свои сюжетные намерения.*) и озабоченность обращения автора к читателю за советами – типа как же быть бедному сочинителю дальше: читатель поневоле чувствует себя полноправным участником процесса, и какого процесса – чуть ли не сотворения мира!

Ведь как ни поверни, но ситуация в гостиной довольно безысходная... Я могу, к примеру, вот прямо сейчас толкнуть Ами под ребра, привести его таким образом в чувство и надеяться, что он, во-первых... Честно говоря, даже «во-первых» представляется мне весьма сомнительным... Вот я и спрашиваю: оно мне надо?

Само собой, это тоже игра, автор и без нас отлично знает, что и как ему писать, и не собирается прислушиваться ни к каким советам, но от этой игры в поддавки ты получаешь отдельное удовольствие, замечая, как красиво тебя «делают», причем прямо на твоих глазах.

К чему, зачем эти легкомысленные и ни к чему не обязывающие игры? Мне кажется, что, несмотря на кажущуюся легкомысленность, намерения у автора вполне серьезные – попробовать, так сказать, перетящить читателя на свою сторону, дать ему на собственной шкуре ощутить вкус этого восхитительного творения-творчества, а отсюда уже остается совсем небольшой шаг до понимания того, что каждый человек может сам, своими собственными силами из мыслей, из слов – сотворить свою реальность, и она будет ничуть не менее «объективной», чем любая другая.

Примечательно в этом смысле самое первое в романе обращение к читателю:

История, которую я собираюсь вам поведать, вымышлена на сто процентов, а значит, абсолютно правдива. В самом деле, перевернуть можно только реально произошедшие события, что, как правило, и делает любой рассказчик...

Верьте лишь тем, кто честно гарантирует вам чистейший, стопроцентный вымысел. Например, мне.

В романе «Облордоз»⁹ сотворчество читателя и автора доведено Тарном до своего возможного максимума – дальше уже если только ролями меняться. *Разве человек по природе своей – читатель? Нет, нет и нет. Каждый человек по природе своей – писатель, вот как.*¹⁰

В предисловии автор предлагает правила игры (опять «правила игры»!): четыре повести, написанные в разных жанрах и составляющие единый роман, идут вразбивку; к ним приложена инструкция – ключ, определяющий порядок чтения. В общем-то, в таком подходе нет ничего принципиально нового (см., например, Х. Кортасар «Игра в классики»), если бы не одно «но»: действие в этих частях-повестях происходит в разных странах и в разное время, но при этом у них обнаруживаются не только общие герои, но и общие главы, причем расположены они совершенно непредсказуемо! Как в таком случае читать роман, в каком порядке?

Вот поэтому-то читателю и предлагается самому определить свой маршрут – либо в точности следуя ключу, либо читать всё подряд, удерживая в голове несколько сюжетных линий и попутно устанавливая многочисленные связи между ними, что, безусловно, намного сложнее, но где наша не пропадала! – либо и вовсе выбрать свой собственный маршрут, композиция вполне допускает и такую возможность.

⁹ Облордоз: интерактивный роман. Электронное издание на сайте автора.

¹⁰ Гиршуни: роман. Электронное издание на сайте автора.

Повторяю: чувствуйте себя совершенно свободно. Творите. Это ваш текст – почти в той же степени, что и мой. В самом деле, главы этого романа представляют собой мозаику, из которой вы вольны составлять любые узоры.

Подобным подходом автор бросает неслабый вызов как самому себе (попытаться увязать десятки разрозненных концов в единый, хотя, возможно, и уродливый узел), так и готовому на не самые привычные эксперименты читателю.

Ну чем же не собственноручное сотворение реальности? Тем более что в том же предисловии читателю сулят нечто и вовсе небывалое и заманчивое – возможность *выйти на уровень понимания, неведомый даже автору...* После такого щедрого предложения даже мало-мальски азартный читатель практически не способен устоять.

Роман «Книга»¹¹ – в каком-то смысле это реинкарнация «Протоколов сионских мудрецов». В «Протоколах...» Шломо Бельский легкомысленно сочиняет свои «урюпинские рассказы», даже не предполагая, что придуманные им сюжеты и персонажи самым серьезным образом вмешаются в его собственную жизнь. Но если Шломо, что называется, собственноручно подписывает свой «протокол», то герои «Книги», самые обыкновенные люди: профессиональный искатель истины Клим, программист Сева, ученый-археолог Ханна, бедуин Наджед и многие другие – оказываются втянутыми вообще в чужую историю! Мало того что в чужую, но еще и сочиненную вымышленными персонажами две тысячи лет назад!

Авторы истории – древние иудеи Шимон и Йоханан, именно они продумали все до мелочей, *по-настоящему, со свидетелями*, – так, чтобы сочиненная ими *потешная сказка* не только стала мифом, способным пережить своих собственных постановщиков, но и была принята за неоспоримую истину миллионами потомков. Причем, что характерно, история эта отвечала всем законам литературного произведения: *мы рассчитывали на непрерывность действия, на его нарастающий темп, на его постоянное развитие*; в нее были заранее встроены знаки, смысл которых станет ясен вдумчивому читателю потом.

Но какое отношение эта древняя история имеет к сегодняшнему времени? И каким образом в нее оказались втянуты совершенно посторонние люди? В том-то и дело, что если история была кем-то придумана и записана, то, по мысли Тарна, она становится вполне полноправной реальностью и, соответственно, вмешивается в нашу жизнь, а то и вертит ею, как этой истории заблагорассудится. Точнее, не «как заблагорассудится», а ровно так, как в ней и записано.

Алекс Тарн, в сущности, ставит знак равенства между перипетиями людских судеб и авторским вымыслом:

...Крохотные песчинки... простые молекулы, неразличимые и неотличимые сверху от миллиардов других, таких же, как они – мельчайших буковок, пылинок, частичек одной огромной и всеобъемлющей Книги...

¹¹ Книга: роман. М.: «Эннеагон Пресс», 2010.

Степан Балакин

ЭЛЕТИИ РАЗНЫХ ЛЕТ^{*}

ТОЧИЛЬЩИК

На перекрёстке пыльных улиц,
Где липа листьями сорит,
Над стареньким станком ссутулясь,
Точильщик целый день стоит.

Работа вовсе непростая:
Скрипит педаль, шуршат круги,
И гаснут звёзды, вылетая
Из-под морщинистой руки.

Ножи и ножницы тупые
Лежат и ждут своей весны.
Ах, только бы не позабыли
Вернуть им прелесть новизны!

И я подумал: может, где-то
И мой точильщик ждёт меня?
А листья, словно искры лета,
Летят из-под ладони дня...

1967

* * *

Один упал головой к Москве.
Другой упал головой к Берлину.
А где-то матери плачут две –
У них и было всего по сыну.

А где-то пушки гремят во мгле.
Визжит снаряд, накрывая роту.
Идёт война по моей земле
Тяжёлым маршем чужой пехоты.

Артподготовки стихает шум.
Давай в атаку, кому охота!

* 2 февраля 2015 года умер Степан Балакин – поэт, бард, один из основателей ташкентского КСП «Апрель». Легендарный этот клуб в каком-то смысле был предшественником «Иерусалимского журнала».

Я похоронки вам подпишу
Свинцовым росчерком пулемёта.

...Патроны кончились... Бой угас...
Но что со мною? И волос липок...
Я сам попался на этот раз –
Смеётся детство в июльских липах!

* * *

Когда кругом война –
Недолго собираться,
Кого-то на прощанье
Обнимешь второпях,
Когда кругом война –
Не время разбираться,
Война – успеи расстаться,
Не мешкая в дверях.

Когда кругом война –
Мечты о счастье чаще,
Слова о жизни чаще
Слетают с языка.
Когда кругом война,
Мир кажется пропащим
И лишь пылает ярче
Звезда издалека.

Когда кругом война,
Не думают о смерти,
А думают о жизни
И ценах на неё.
Когда кругом война,
То всё равно, поверьте,
Какое там про нас
Покажут вам кино...

Когда кругом война,
Недолго собираться,
Бессмысленно копать
В коробках, сундуках,
Когда кругом война,
Не время разбираться,
Кому из нас остаться,
Кому уйти в века.

Когда кругом война...

БЕЛАЯ ПТИЦА

Пролетела белая птица,
Уронила белые перья.
Полыхнула вдали зарница,
Закачались во тьме деревья.

Позовёт нас война-разлука,
Да вернёт ли обратно – бог весть.
Мы уйдем, запевая глухо
Про свою боевую доблесть.

А потом по пыли, по грязи ли
С вещмешочками за плечами
По Европе бегом, по Азии –
Упаси нас Бог от печали!

Кто отбегает, кто отмается –
Может, в памяти и останется.
А кто останется да назад придёт –
Пусть свой дом найдёт
да жену найдёт!..

1975

ОСЕНЬ-ЛИСА

Мечется, мечется, мечется, мечется
Рыжая, рыжая осень лисицею.
Страхом бездонным глаза её светятся,
Но от охотника-ветра не скрыться ей.
Нет,

никуда
ей не скрыться!

Катятся, катятся, катятся, катятся
Желтые, желтые листья по городу.
Самое время пойти и покаяться,
Застраховать свое сердце от холода.
Что

мне ещё
остаётся?

Может быть, может быть, может быть, может быть,
Ветер лишь хочет коснуться волос твоих.
Осень застынет ледышками-лужами.
Всё беспокойство – стремление к спокойствию.
Видно,
не ждать
мне покоя!

Снегом покрыта земля неуютная.
Лисьих следов на снегу многоточие.
Осень ушла, затаилась, и нет её.
Значит, охота на осень закончена.
Значит,
 зима
 наступила...

1977

РУБАИ

* * *

Прилепился на время я к миру сему.
Ненадолго, конечно, видать по всему.
Я скитанья оставил, чтоб сын мой подрос,
Чтобы сладость скитаний познать и ему.

* * *

Одинокий и дряхлый старик на пути
Повстречался мне. Мимо хотел я пройти,
Но глаза вдруг увидел: как будто ребёнок
Ищет маму свою и не может найти.

* * *

Если пропасть откроется с краю тропы,
Ты не очень осла своего торопи.
Если камень тяжёлый покатится в бездну,
Будь с ним вежлив – дорогу ему уступи.

* * *

Достигает земли только малая часть
Жара солнца, что катится в небе, лучась.
Хорошо, что мы истины полной не знаем,
А не то бы сожгла она всех же тотчас!

* * *

Я из чаши бездонной немало отпил,
Но остыл в моём сердце таинственный пыл
От кого эта чаша пришла, я не знаю.
И кому я сегодня её уступил?..

1983

АНХОР

Я встану с майнами к рассвету
И прогуляюсь до Анхора.
И пару яблочек в диету
Я подберу из-под забора.

А там, за ним, за тем забором,
Немые плиты с именами.
Там спят, укрытые минором,
Те, что вчера лишь были с нами.

А здесь река с упругим телом,
Почти как время, быстротечна.
Я плюхнусь в воду полусмело
И поплыву бревном беспечным.

А надо мной стрижи да майны,
А вдоль реки рыдают ивы.
Мы в этой жизни так случайны
И почему-то – несчастливы.

А ведь и надо-то всего-то –
Подняться с птицами к рассвету
И сердца вечную работу
Соединить с рекою света!

1996

* * *

Однажды я устану и усну.
Однажды я не захочу проснуться.
Мне сон приснится: я иду ко дну.
Мне сон приснится: я небес коснусь.

Да, я раздвоен буду в этот миг,
Но парадокса в том не обнаружу.
Как новорожденный, я свой услышу крик
И яркий свет увижу я снаружи.

Моя душа останется жива.
Но, к новым испытаниям готова,
Она не вспомнит вещие слова
О том, что изначально было Слово.

О том, что это Слово было Бог
И что оно всегда было у Бога.
Его искать – бессонная дорога,
Чтобы найти его в итоге между строк!

2014

«ЕСЛИ Б КАЖДЫЙ ЕВРЕЙ...»

* * *

Мы все хорошие люди и, если что-то случается с родными, друзьями и близкими, нередко готовы прийти им на помощь. Инна же всегда была готова помогать каждому, в том числе и тем, кто, мягко говоря, был не очень ей симпатичен, – и в разрешении серьезных животрепещущих проблем, и в повседневных мелочах и заботах, которые выглядели совершенно необязательными пустяками.

Праведница.

Однажды ей показалось, что, обратившись к проживающему в соседнем поселении (основанном Инной же) министру (с которым Инна была знакома не один десяток лет), можно поправить финансовую ситуацию с нашим журналом. Министр, понятно, всегда занят, но в субботу наверняка дома, а доехать до него – семь минут. То есть ради благополучия ИЖа Инна готова была нарушить шабат.

Слава Богу и спасибо министру, времени встретиться с нами у него не нашлось и в день седьмой. Хотя бы один грех – стать причиной осквернения святой субботы (а Инна, в отличие и от министра, и от меня, человеком была религиозным) – меня миновал.

Последние десять лет мне посчастливилось прожить в соседнем с Инной доме, в доме, не отделенном забором от ее благословенного дома, где всегда были рады и моим гостям. Работая вместе с ней в не менее благословенном Доме Ури Цви Гринберга – согретый теплом Инны, он стал естественным местом постоянных встреч русских израильтян столицы и всей страны. Встречаясь с Инной практически ежедневно – и на общей нашей лужайке, куда она выходила с рассветом – прибрать, постричь, полить, прополоть, посадить цветы и накормить окрестных котов и собак тоже. И за утренним чаем с ее неизменными блинами. И в дороге – в любимый наш Ерушалаим, в еженедельную Шдему, в суровый библейский Хеврон, в каббалистический Цфат ли, в дороге, которую Инна начинала с традиционного «Да будет угодно Тебе, Господь наш, Бог наших отцов...» – и Всевышний, внимавший ее молитве, благополучно возвращал нас домой.

Посчастливилось прожить, купаясь в солнечном свете любви, которую излучала Инна, и в ответной любви к Инне всех-всех моих друзей.

На надгробном камне, стоящем над могилой ее, высечены немногочисленные и неподробные слова: «Инна Винярская, возобновившая еврейское поселение в Текоа».

Не основательница, но продолжательница – многотысячелетней истории своего народа на своей земле.

Настоящий же памятник Инне – построенный вместе с мужем дом, полный их внуков и правнуков, и всё наше благословенное Текоа.

Жить и работать рядом с праведницей было непростым испытанием. Далеко не уверен, что испытание это мне удалось пройти.

Игорь Бяльский

* * *

Не могу представить себе Текоа без Инны Винярской. Она была душой этого поселения. И душой множества поселков всей страны. Она была их создательницей, она в буквальном смысле слова строила эту страну. Была хозяйкой, чувствовала себя так, как и должен себя чувствовать человек на своей земле. А будучи хозяйкой, знала, как лучше обустроить свой дом. Именно это ощущали все окружающие, именно поэтому ей так доверяли.

Каждый день ездила по подопечным поселениям – могла утром направиться в Газу и вечером вернуться уже с севера, из Самарии. Знаю это наверняка, потому что не раз была в этих поездках вместе с ней. Возвращались мы поздно ночью, и Инна шутила, что, если она заснет за рулем, это не страшно – машина сама знает дорогу домой... А однажды, в начале 1991-го, во время саддамовских бомбежек, ночью на подъезде к Текоа нас застала сирена, и по радио зазвучали указания – немедленно надеть противогазы и зайти в защищенную комнату, а тем, кто в пути, остановиться... «Ага, сейчас», – прокомментировала Инна. «Попадание ракеты пока не зафиксировано», – вещал диктор. В этот момент мы увидели у обочины несколько силуэтов, и в нас посыпался град камней. В стекло машины попал крупный булыжник. «А вот и попадание!» – весело отметила Инна. Она притормозила, и силуэты тут же исчезли в ночи.

День независимости 1987 года. На этот раз – праздничная прогулка, а не рабочая поездка, в ней участвовало несколько сотрудников Инны из «Аманы», а также легендарная Геула Козн, которая первым делом, не успев даже сесть в машину, снабдила всех до одного бутербродами собственного приготовления. Мы двинулись в Газу. Гуш-Катиф, Кфар-Даром, Алей-Синай... Первой нашей целью был пограничный пункт рядом с Рафияхом. На вышку пустили всех желающих. Мы поднялись и помахали египетским пограничникам, те ответили нам приветственным жестом. На вышке – подзорная труба, направленная в определенную точку. «Там был Ямит», – пояснили наши спутники. Пустынное место, где еще несколько лет назад был новый белый город, разрушенный при передаче Синая Египту. Инна и ее друзья долго смотрели туда безо всякого бинокля. Там не было ничего, кроме песка, но я понимала, что они видят много прекрасного, утерянного... Понимала, что молчание и тоска этих людей обернутся не отчаянием, а импульсом к созиданию нового...

...Все мы знаем, что Текоа – это своего рода центр мира. Буквально каждый, с кем ни заговоришь об этом поселении, сразу восклицает: «О! А у меня там живут родственники (друзья, одноклассники, знакомые...)!» Мне хотелось бы подчеркнуть – для тех, кто об этом не думал, и особенно для тех, кто об этом, возможно, и не знает, – что именно благодаря Инне Винярской Текоа стало тем, чем оно является сейчас – местом, в котором любой говорящий по-русски л обретает духовную опору, близких друзей, «свой круг». Поселение Текоа еще в конце 80-х широко распахнуло свои ворота перед новыми репатриантами и стало центром для нескольких тусовок русскоязычной ин-

теллигенции. Инна без особых видимых усилий собирала вокруг себя все лучшее. Наверняка даже и не думая в таких терминах, она строила город своей мечты. И построила его.

Помню день, когда это началось: праздник Симхат-Тора 1987 года, когда поселение праздновало свое десятилетие. Мне кажется, что именно тогда Инной было принято решение о том, что Текоа распахнет свои двери для репатриантов. Да, для этого нужно было именно волевое решение: ведь на пути каждого, кто хотел жить в поселении, изначально вставали преграды – приемная комиссия, материальное положение, противодействие части старожилов... Еще невозможно было предположить, какие масштабы примет надвигающаяся волна, которую потом назовут Большой алией, но для нее уже был подготовлен дом в Иудейских горах – поселение Текоа.

Прорвался железный занавес, и все, кто в СССР долгие годы сидел в отказе, получили разрешение на выезд. Придя на центральную площадь поселения, где на исходе праздника должны были состояться танцы со свитками Торы, я увидела въезжающую в ворота вереницу автобусов, которые привезли свежих репатриантов, заполнивших за предыдущие недели иерусалимские центры абсорбции. Распахнулись двери автобусов, и я неожиданно оказалась в большой толпе друзей... я даже не знала, что все они уже не в Москве, Питере, Одессе, Киеве, а в Иерусалиме! В разгар счастливых объятий зазвучала музыка, толпа превратилась в круги танцующих. Мы тоже образовали такой круг, очень большой круг, и вдруг кто-то круг этот разорвал и повел его на *квиш табат* – кольцевое шоссе вокруг домов Текоа, образовав живую цепочку, символически заключившую внутри себя все поселение. И я увидела, что ведет эту цепочку Инна Винярская, перед тем находившаяся рядом со мной.

...Именно благодаря Инне я узнала, прочувствовала и полюбила настоящий Израиль. Ее уютный гостеприимный дом с видом на плоскую вершину Иродиона был для меня вторым домом. К Инне я приводила знакомиться всех своих друзей по мере того, как они репатрировались в Страну. Инна находилась со мной в больнице, когда я рожала своего первенца. Она помогла мне найти новый дом и перевезти в него свою семью, когда мне пришлось покинуть Текоа...

Я виделась с ней и в последующие годы, какое-то время даже довольно часто – на организованном ею семинаре переводчиков в Доме Ури Цви Гринберга. Я привозила к ней в гости в Текоа своих подросших детей и восхищалась ее перестроенным домом, который теперь был похож на уютно свернувшуюся улитку, с лестницей-раковиной: в пролетах – двери в комнаты внуков хозяйки, а в окнах – все тот же Иродион, но и новые дома, которых не было прежде.

А два года назад она позвонила мне и пригласила в гости. Сказала, что срочно. Мне трудно описать этот визит, я тогда еще пыталась это сделать, искала слова, чтобы выразить вдруг накрывшую меня черную тоску по безвозвратно уходящему прошлому, и не смогла. Мы попрощались, и я уехала с мыслью, что нужно вернуться еще раз как можно скорее... Не успела.

* * *

Знаете ли вы, что историю создания поселения Текоа надобно писать по-русски и в женском роде, тщательно избегая стереотипных фраз об «отцах-основателях»?

Имя Инны Винярской известно в Израиле многим: она координатор русских программ Дома наследия Ури-Цви Гринберга.

Выпускница Одесского Гидрометеорологического института, Инна вышла замуж за Марка Винярского, окончившего Институт инженеров морского флота. В городе на берегу Черного моря родилась дочь Юля.

Устроиться по специальности Инне не удалось: работать пришлось в Одесской обсерватории. Позднее друзья пригласили Инну в заводское бюро, где она занималась физикой.

– А потом меня оттуда уволили, потому что, с точки зрения начальства, слишком много собралось в бюро евреев.

Внезапно – один за другим – умерли бабушка, дедушка, а потом и мать Инны.

– Для меня это был жуткий удар. Вскоре после смерти мамы мы с Марком и Юлей переехали в Подмоскowie, в Апрелевку...

Марк начал работать инженером на заводе «Борец», а Инна – физиком в лаборатории НИИ «Промгаз».

Однажды Марк вернулся с работы взволнованный. «Слушай, – сказал он жене, – по-моему, Жаботинский очень даже прав...» «При чем тут Жаботинский?» – удивилась Инна.

– Марк напомнил: есть у Владимира Жаботинского фельетон о том, как в Одессе хоронили матроса Вакуленчука. В порту собралась толпа. Один за другим выступали замечательные ораторы – каждый с большим кадыком и кудрявыми волосами – и произносили речи. Жаботинский стоял в толпе с простыми мужиками. И когда на трибуну взлетел очередной оратор с курчавыми волосами, один из мужиков сказал другому: «Опять эти жидаы учат нас жизни...» Мой Мафа (так мы звали Марка, благословенна его память) пришел от этого фельетона в восторг: «Прав Жаботинский: чего ради мы сидим в Подмоскowie?!»

Доработать в НИИ до отъезда Инне не удалось.

– Как только замдиректора узнал, куда мы собираемся, вызвал моего начальника Шуру Калину и сказал: «Что, твоя Винярская намерена занять пост Голды Меир? Не пройдет!» «А если пост пониже?» – попытался отшутиться Шура Калина. С юмором в начале 70-х у советских чиновников была напряженка.

Пришлось Инне устроиться в Апрелевке на почту.

– Зато именно там, прямо в почтовом отделении, я спустя два с половиной года получила разрешение на выезд.

Инна тут же бросила работу и объявила: «Всё, бабы, меня нет!» – «Как? Тебе ведь полагается еще одна зарплата?!» «Ничего не хочу», – воскликнула Винярская и бросилась на радостях домой...

Впервые на землю Эрец-Исраэль Винярские (Инна, Марк и двенадцатилетняя дочь Юля) ступили в 1973 году. Война Судного дня только что окончилась, но в Галилее еще sporadически стреляли.

Полгода Винярские прожили в Цфате.

– Он до сих пор из самых любимых моих городов, но работы там не было – разве что в гостинице или на чаеразвесочной фабрике.

Однажды учащихся ульпана повезли на экскурсию в Иерусалим.

– Автобус поднялся на Масличную гору. Оттуда мы любовались местом, где должен стоять Храм. Не было среди нас никого, кто бы не плакал. Мы с Мафой решили: «Остаемся!»

Винярские перебрались в Иерусалим. Сняли квартиру в новом по тем временам квартале Армон а-Назив «Весь он состоял из восьми домов», – вспоминает Инна. Оба устроились на завод авиадвигателей в Бейт-Шемеше.

Инна попала на работу по недоразумению: чиновник, помогавший Винярским в трудоустройстве, бегло посмотрел ее одесский диплом, заверенный в израильском Министерстве образования, и слово «метеорология» (огласовок нет!) прочел как «металлургия». А Инна промолчала и спорить не стала. Потому как спорить на иврите пока не умела.

– На этом предприятии мы проработали три года. Познакомились с замечательной женщиной – журналистом Рахель Инбар. У нее и родилась идея создать поселение типа тех, которые уже строились в разных местах активистами движения «Гуш-Эмуним». Мы тогда еще мало знали о поселенческом движении, но Рахель заразила нас идеей основать поселок, в котором будут жить светские и религиозные, репатрианты из России и из Америки и, конечно же, сабры... Вот мы и записались к Рахель в «гарин» (поселенческое ядро).

Однажды Рахель пригласила Винярских в очень необычное место. Называлось оно Маале-Адумим.

– Приехав, мы увидели на горке крошечный поселок (это сегодня Маале-Адумим – город со всеми вытекающими последствиями). Познакомились с потрясающими людьми. Им тоже пришлось по душе идея создания смешанного поселения. Всю субботу, перебивая друг друга, мы строили планы. А на следующей неделе я встретила в Иерусалиме женщину, и она спросила: «Ну, вы уже записались на дачу?» – «На какую дачу?!» – «Рахель Инбар собирается строить дачный поселок». Я возразила: «То, что собирается строить Рахель, – вовсе не дачный поселок, а самое настоящее поселение!»

Из окна квартиры Винярских в Армон а-Назив открывался поистине марсианский пейзаж – Иудейская пустыня.

– Мы видели большую гору – некое подобие Фудзиямы. Я спрашиваю мужа: «Как ты думаешь, что это? Вряд ли в этом районе можно обнаружить вулканическую активность». Муж ответил: «Не знаю». А вскоре кто-то из друзей свозил нас в Бейт-Лехем. Посмотрели мы оттуда на «Фудзияму» и выяснили, что это – Иродион!

Поначалу в «ядро» будущего поселка записались две семьи, включая Винярских.

– Мне не нравилось, что в «ядре» одни «русские» и что ходят слухи о строительстве дачи. Возможность основать поселение Текоа подвернулась случайно. Я была дома, мыла посуду. Вдруг звонит человек из «Гуш-Эмуним» и спрашивает: «Есть ли в ядре у Рахель Инбар лишние люди?» – «Лишних людей нет нигде, а в чем дело?» – «Есть неподалеку от Иерусалима место, называется Текоа».

Собеседник Винарской объяснил: в Текоа живут солдаты, но министр обороны Арик Шарон решил перевести их в Самарию, где предполагалось основать поселок Сарит, и если кто-нибудь хочет... Инна не дала ему договорить: «Мы хотим!»

– Начали готовиться: наша семья, Бабели и несколько холостяков из ешивы рава Ицхака Зильбера – все репатрианты из СССР, совсем «зеленые». В одну из пятниц повез нас Ханан Порат, благословенна его память, показать место, где предполагалось основать Текоа. Приехали. Местечко крошечное – и все огорожено колючей проволокой. Смотрю сверху, с горы: внизу синеют две лужи. Значит, хотя бы вода здесь есть! Я – Порату: «Что это?» Он: «Это канализация».

Солдат и солдаток в Текоа проживало человек пятьдесят. Жилье более чем спартанское: два барака (в них жили солдаты) с уборными во дворе и пять двадцатипятиметровых бетонных «кубиков», в которых ютились девушки-солдатки. На дворе стоял 1977 год...

– С солдатами мы прожили три месяца. Наши мужчины потеснили военнослужащих, подселившись в их бараки: трехъярусные нары позволяли... Украсили жилище гирляндами из туалетной бумаги – утащили у нас целых три рулона, раскрутили и повесили на стены.

Женщин среди будущих поселенцев было всего пять. («Лена Бабель, я, моя подруга Влада и две девочки, наши дочки. Солдатки уступили нам один "кубик": спальня, крошечный салон и некое подобие кухни».)

– Солдатки очень любили, когда мы для них варили. Они объяснили нам, как поддерживать кашрут. Мужья научили солдат обслуживать электрогенератор. Всё было очень симпатично.

Как-то опытные люди посоветовали Инне: «Поезжай в Сохнут и сообщи, где вы живете».

– Я поехала. Нашла заведующего каким-то отделом. Зашла, объяснила ему про Текоа. Он: «Впервые слышу. И что вы там хотите делать?» – «Мы там хотим жить. А делать?.. Вон у вас за спиной висит замечательная картина (всю стену действительно занимало огромное полотно с рядами цветущих яблонь). Я хочу, чтобы такой же пейзаж появился в Текоа».

Услышав это, начальник велел Винарской обратиться в другую инстанцию.

– Видимо, руководство Сохнута смущало, что основывать новое поселение взялись одни «русские». Ивритом никто из нас не владел...

Инна быстро смекнула: чтобы вести с инстанциями диалог на равных, срочно требуется коренной израильтянин. Вскоре Винарским повезло – они познакомились с Мики Саломоном.

– Он занимался хозяйственной деятельностью в поселках, – рассказывает Инна, – и сразу полюбил нас, а мы – его.

Саломон спросил: «Что вам нужно?» – «Большой автомобиль и трактор, чтобы деревья посадить, – ответили мамыши-основательницы Текоа, после чего нерешительно добавили: – И телефон». Мики парировал: телефонизация – не в его компетенции, но попробует помочь.

– Однажды, когда здесь еще находились солдаты, прилетел на вертолете Арик Шарон и принялся нам объяснять: не наше это место – здесь будет заложен город Эфрата. Я встала и заявила: «А мы

хотим основать здесь поселение сельскохозяйственного типа!» Шарон парировал: не вам решать, что здесь будет построено. Разнервничался, съел всё, что было на столе, и улетел... Впоследствии Шарон все-таки нас полюбил. Приезжал, поддерживал, воодушевлял... Что стряслось с ним к 2005 году, когда был уничтожен Гуш-Катиф?..

Пауза...

– В декабре, после отъезда военнослужащих, мы заняли все пять «кубиков». Это стало для всех огромной радостью: отныне мы снова жили семьями. В столовой солдаты оставили нам посуду: огромные кастрюли, приспособление для резки картофеля – Мики Саломон не позволил им увезти с собой это добро: «Здесь люди будут жить».

Началась зима, а вместе с ней (Иудейская пустыня!) – собачий холод.

– Мы пытались обогреть свои барачные «кубы» электропечками, питавшимися от генератора. Но удавалось это далеко не всегда.

Походная жизнь продолжалась три года. За этот период «русские» первопроходцы успели набраться сугубо израильского опыта.

– Главной задачей было привлечение в Текоа новых людей. В этом нас поддерживали активисты «Гуш-Эмуним», и прежде всего – Муни Бен-Ари, основатель Кфар-Адумим, по инициативе которого мы, собственно, и приехали сюда жить. Затем из «Гуш-Эмуним» в помощь нам направили замечательного молодого человека – Ури Ариэля, сейчас он депутат Кнессета. Детей у них с Хагит еще не было, они заняли комнату в солдатском бараке (уборная и душ – во дворе). Ури оказался человеком незаменимым: сколько у него такта, сколько терпения...

Однажды основателей Текоа пригласили к себе в гости первые жители Кфар-Адумим:

– Их адвокат должен был составить для Текоа примерно такой же устав, который уже действовал в Кфар-Адумим. Устав мы сочинили. И продолжили лихорадочно искать людей, которые согласятся приехать к нам в захолустье и захотят здесь жить.

Желающие приехали! Несмотря на то что добраться до Текоа треть века назад было непросто – это сейчас поселок с Иерусалимом соединило шоссе, проходящее вдоль столичного квартала Ар-Хома.

К моменту приезда долгожданного пополнения Инна Винярская уже занимала ответственный пост: репатриантку из России избрали секретарем поселкового совета! В марафоне по инстанциям Инну сопровождал Шило Галь из Гуш-Эциона («К чиновникам я старалась заходить после него, – вспоминает Винярская. – Радостный, улыбочивый, обходительный, он создавал замечательную атмосферу...»).

– И только в коридорах Минстроа Шило Галь предупреждал: «Здесь мы меняемся ролями: вначале заходишь ты, а потом я».

Инна, мобилизовав свой одесский юмор, старательно играла роль Галя. Прежде чем покинуть тот или иной кабинет, она – теперь уже на сносном иврите – произносила ключевую фразу: «Как вам повезло: вы сотрудничаете с Шило Галем». После чего к чиновнику «въезжал» сам Галь. Бегал с Инной по инстанциям и Пинхас Валерштейн, основатель Офры, впоследствии председатель Совета поселений.

На холме в Текоа тем временем кипела работа. Марк Винярский взял на себя обязанности ответственного за хозяйственные нужды поселка.

– Функции моей «секретарши» исполнял израильтянин Хаим Казакович. Инвалид, в детстве перенесший полиомиелит, он был моей правой рукой: ездил со мной по министерствам, выбивал необходимые разрешения...

Чтобы ускорить заселение, основатели Текоа периодически проводили самостоятельные «маркетинговые» акции: ставили в оживленных районах Иерусалима столы, на которых раскладывали фотографии Иудейской пустыни, и приглашали прохожих хоть разок посетить это дивное место – а вдруг решат остаться?!

– Когда мы немного обжились, привезли в свои «кубики» стиральные машины. Питались они от генератора, а он больших нагрузок не выдерживал, приходилось перед каждой стиркой обойти всех соседей и договориться: «Мы стираем – вы печете, а через час меняемся: мы печем, а вы включаете стиралку». Так и жили...

– Сижу я как-то у себя в конторе и вдруг слышу: на лужайке кто-то громко говорит по-английски, – рассказывает Винярская.

В те годы услышать американский диалект английского в Иудейской пустыне доводилось не каждый день.

– Выглянула и вижу: иностранцы (их довольно много) разлеглись на первой в Текоа траве, которую мы с Владой специально посадили для детей. По случаю появления первой детской площадки Мики Саломон где-то добыл, привез и установил качели. А тут... сидит на травке группа молодых людей. Жены некоторых, нисколько не стесняясь, кормят младенцев грудью, хотя все мужчины – в кипах. Дикий Запад! Я выхожу: «Здравствуйте, вы кого-нибудь ищете?» «Ищем себе поселок, – объяснил на плохом иврите один из американцев. – Хотели поселиться в Кохав а-Шахар, но оказалось, что его еще не существует. Поехали в Элазар. Поселение вроде уже есть, но нам оно не подходит. А затем забрели сюда». – «Вот вы свой поселок и нашли!»

Будущие соседи пригласили Инну в центр абсорбции в Гило, где они жили, пока не перебрались в Текоа.

– Я поехала. В зале полно репатриантов из США, «вязанные кипы». Я их с ходу предупредила: наш поселок смешанный, верующие соседствуют со светскими, но мы с большим пиететом относимся друг к другу: нам тоже есть чему поучиться у религиозных. Американцы несказанно удивились: «Как же вы живете?» – «Каждый варит то, что хочет. В нашем уставе так и записано: в своем дворе и доме ты вправе делать все, что тебе вздумается». Тогда один из участников собрания, Эли Беренбойм, задал каверзный вопрос: «А если я приду к кому-то в гости и захочу у него поесть, но пища у него некошерная?»

Инна не растерялась: «Если ты такой фресер («фресн» в переводе с идиша – «обжираться»), отправляйся в гости к тому, у кого кошерная кухня, и угощайся там».

– Приняли этих американцев, а они перетасили в Текоа своих родных и друзей. Огромной радостью стало рождение в Текоа сразу двух мальчиков. Первый – сын Иегудит и Хаима Амихаев, оба из Кирьят-Шмоны. А второй появился в семье Беверли и Амиэля Унгеров. Он из Америки, она – из Англии, познакомились в Израиле.

Тем временем в поселке начали строить капитальные дома.

– Доди Бен-Ишай, сотрудник Минстроя, очень нам помог. Поначалу завез тридцать бетонных домов: комната, кухня... Дома эти мы решили передать новичкам. А сами отправились на поиски строительного подрядчика. Нашли. Но – не очень удачно. Да и проект оказался не самым лучшим. Впрочем, как видите – живем, слава Богу!

Вижу. Мы с Инной ведем беседу во дворе ее дома в одном из первых кварталов Текоа. Красноречивее всего указывают на историю поселка деревья: вон как вымахали за двадцать с лишним лет – до небес!

Кому-то из поселенцев со строительством повезло, другим – гораздо меньше. Например, семья Ленских (Шломо, Циля и пятеро детей) попала в лапы к подрядчику, отравившему им жизнь: ипотечную ссуду приходилось исправно возвращать, но «подрядчик» бесследно исчез, и окончание строительства дома затянулось на долгие годы.

С Ленскими Инна познакомилась в начале 1993 года – в страшный для Текоа день.

– Поселились у нас Лена Липкина с мужем – художником Моти – и сыновьями. В январе 1993-го террористы устроили на шоссе засаду совсем недалеко от Текоа. После теракта мы долго сидели на том месте, где его застрелили. Собирались – в качестве сионистского ответа врагу – заложить там новый поселок...

Основывала новые поселения в Иудее, Самарии и секторе Газа организация «Амана», в которой Винярская проработала двадцать лет.

– Мои поселки – это Кфар-Даром, Алей-Синай, ну и многие другие – Иудея, Самария, Гуш-Катиф... – произносит Инна и замолкает. – Нет, простите, говорить о Гуш-Катифе я не в состоянии. Не могу...

Сегодня Текоа – поселок городского типа, более шестисот семей.

– Мы пережили и времена, когда арабы обстреливали ведущую к нам дорогу. Конечно, жить у нас готовы далеко не все, а лишь люди особого склада. Я бы назвала их искателями приключений – в хорошем смысле слова. Сейчас в Текоа есть грибная ферма, всевозможные мастерские, ресторан... Несколько семей, в основном выходцы из Франции, посадили виноград и производят замечательные вина. Циля Ленская основала в Текоа уникальную балетную школу. Развивается и туризм: наш сосед Натан Маркус отвечает за Иродион – работает в Управлении национальных парков и заповедников.

Наша беседа прерывается на самом интересном месте: в гости к Инне приехала Михаль Слук из поселенческого отдела Всемирной сионистской организации. У меня на глазах происходит трогательная встреча двух женщин, посвятивших себя заселению страны. Михаль много лет работает в ВСО, а живет в Гиват Зеэве, расположенном на стратегически важной высоте возле Рамаллы.

Увидев Михаль, Инна мгновенно переходит на иврит.

– Пойдем, Михаль, глянем на Иродион, – предлагает Винярская.

По улице поселка, поднявшегося в глуши Иудейской пустыни, шагают две женщины. Сильные женщины сильной духом Страны.

Из очерка «Инна Винярская: женский портрет на фоне Иудейских гор», персональный блог, 2011.

* * * *

С первых моих израильских лет наши пути часто пересекались. Я встречала Инну «на передовой» – то была постоянная борьба за какой-то новый холм, за рождение нового поселения. Работая на радио, рассказывала о ней в своих репортажах. А познакомились мы в Текоа.

Текоа... Имя это то промелькнёт в древних книгах, то надолго исчезнет. словно птица в небе пустыни, от которой осталось одно видение. Вот вспомнили Текоа в книге Нехемии. Вернулись евреи из Вавилонии, и жители Текоа помогали восстанавливать Иерусалим. Вот упомянули его в войнах Хасмонеев, потом имя вновь пропало из виду. И вдруг появилось в переписке Бар-Кохбы. А потом действительно исчезло на много веков... Как будто навсегда...

В этих местах пас овец и пророчествовал Амос. И звучали в его речах грозные предупреждения о разрушенных домах, от которых останутся одни лишь обломки, о полях на месте былых жатв, о пустоте и опустошении. Но сквозь опускающуюся над землёй тьму он увидел пробивающийся луч света: «И насажу я их на земле их, и не будут они сорваны более...» Эти слова, последние в пророчестве Амоса, выбиты на огромном округлом камне, который словно бы врос в землю Текоа.

Стоял жаркий летний день. На протяжении всего пути из Иерусалима мы ехали по выжженной солнцем пустыне. Казалось, эта дорога никогда не кончится. Коричнево-пепельная земля, словно выгоревшие холмы, серые скалы, рыжие камни. Голос редкого жилья прорывался лаем собак, криком петуха, блеяньем коз. Иудейская пустыня... Мы едем по ней, той самой земле, что увидел Моше с гор Моава. По ней, обжигаемые солнцем, шли наши праотцы, о ней веками мечтали наши деды. Она вернулась к нам, земля Иегуды. Когда-то на самом краю пустыни в этом наделе был город Текоа... Прошли тысячелетия, и прежнее имя обрело вторую жизнь...

У поселения были всё те же коричнево-рыжие краски, что и у пустыни, над ним всё так же нещадно палило солнце, но уже стояли дома и зеленели деревья. Текоа родилось в Суккот 1977 года. Ко времени моего с ним знакомства ему было около пяти лет.

Еврейские поселения, вставшие на холмах Иудеи и Самарии, трудно пробивались к жизни. Мы свидетели изгнания из Синая, трагедии Гуш-Катифа, уничтоженных домов Амоны и выкорчеванных бульдозерами форпостов. Но тогда борьба только разгоралась. Движение «Гуш-Эмуним» («Блок верных») опиралось на идеологию рава Ицхака Иегуды а-Козна Кука и требовало от правительства заселения Эрец-Исраэль. «Это исконно наша земля, и мы вернулись», – говорили они.

Инну и Марка Винярских выбросило на гребень волны. Марк – все называли его Мафа – как-то, возвращаясь домой с работы, присоединился к проходящей в Иерусалиме демонстрации. Движение «Гуш-Эмуним» выступало против политики правительства и Киссинджера, заявившего, что он заставит Израиль отступить со всех территорий, освобожденных во время Шестидневной войны. Всем было ясно, чью сторону держал этот хитрый дипломат, которого Анвар Садат называл «Мой брат Генри». Встреча с демонстрантами бы-

ла для Марка случайной, но всё, что с ними произошло потом, зрело уже давно, и нужна была лишь искра, чтобы внутренний огонь вырвался наружу. Кто знает, что стоит за случайностью... Может быть, это сама судьба приходит к тебе на помощь, как тот камень из русского эпоса, что стоял на развилке неизвестных дорог.

Они приехали вскоре после войны Судного дня. Страна трудно заживала раны, к боли фронтовых потерь добавились потери в терактах. В Маалоте террористы расстреляли школьников, приехавших из Цфата на экскурсию. Инна с мужем были с теми, кто провожал их в последний путь... До сих пор она не может спокойно возвращаться к пережитому в те дни... Цфат, где проходили первые месяцы их израильской жизни, по-прежнему один из любимых её городов, но самый любимый, конечно, Ерушалаим. Они, одесситы, мечтали жить в Хайфе, там, где море, но экскурсия в Иерусалим решила всё. Они стояли на Масличной горе, а внизу лежал город. И сердце само сделало выбор.

И вот теперь они вновь стояли на «развилке дорог». После репатриации у них была квартира в Иерусалиме, работа на заводе в Бейт-Шемеше. Жизнь входила в налаженное русло: друзья, такие же, как и они, репатрианты, книги на русском языке, музыка...

Неожиданная встреча с поселенцами из «Гуш-Эмуним» сблизила их с израильтянами. Они принимали их взгляды на будущее страны, заселение земель в глубинных районах, рядом с арабскими деревнями, завидовали их решительности и смелости. Но как оставить всё, что уже обретено, и броситься в неизвестность? Ведь они уже немолды. И у них дочь... Всё сложилось так, как сложилось, потому что Инна и Мафа во всём были едины: в своей любви к литературе, в своих взглядах на страну, в которой до недавнего времени жили, и вот теперь – на Израиль. И они решились...

Текоа... Нет, им ничего не говорило это имя. Спекшаяся, заросшая сухой травой земля, камни. Трудно ходить, невозможно строить. Лишь через год, когда трактор выкорчевал камни, смогли подготовить стройплощадки. Инна стала секретарём поселения, Мафа отвечал за техническую часть. Зарплата обоих составляла четверть того, что они получали на заводе.

Секретарь поселения... Пока это был лишь голый холм. Без дорог, электричества, воды, канализации. Всё это теперь «висело» на ней. Училась на ходу.

У движения «Гуш-Эмуним», едва оно родилось, были свои сторонники и противники. Яростные споры взрывали страницы газет и журналов, вспыхивали на демонстрациях. «Нет равнодушных в Сионе», – писал Сол Беллоу, побывав в Израиле. Я очень быстро определила своё отношение к поселенцам: всей душой была с ними. И моя встреча с Текоа и с Инной была заранее предопределена. Меня поразила в ней раскованность. Если бы она не говорила по-русски, я бы приняла её за израильтянку: во всём её облике было что-то очень израильское... Она не отличалась сентиментальностью, и её рассказ о поселении был лишён излишней эмоциональности: «Это была большая дыра, удалённая от Иерусалима, с ужасными дорогами. Первое время, когда мы сюда ехали, казалось, что это край света. Углубляем-

ся в Иудейскую пустыню, проезжаем Бейт-Лехем, арабские деревни и едем, едем... Поначалу было неприятно, но со временем чувство опасности атрофировалось...» Она показала мне прачечную – они закупили оборудование и принимали в стирку бельё от школьных интернатов: создавали рабочие места. А как иначе? Выезжать из Текоа на работу было просто невозможно. Древнее Текоа славилось своими оливками, они шли на масло для Храма. Потом, как во времена Амоса, появились свои овцеводы. За ними – свои виноградары...

...Мы беседовали с Инной и Марком в их новом доме. В уютном светлом салоне центральное место занимала прекрасная библиотека: книги – единственное, что они привезли из России. Мы говорили о том, что было понятно и близко нам троим: о вхождении в совершенно незнакомый мир, который менял многие прежние представления о жизни. То, что совсем недавно казалось главным, неожиданно отодвигалось на второй план. Вот ведь оставили они дом и работу, потому что прислушались к голосу своих душ. Это души однажды спросили у них, как спросил Бог у Адама: «Где ты?»

Быть может, только сейчас Инна понимает этот вопрос: «Где ты, в своём мире?» Свой мир... Мир души, который нельзя обмануть благополучием. Как-то совсем недавно мы разговаривали о поэзии, и Инна сказала, что стихи рождаются, когда человек внемлет своей душе. Как подсолнух утром поворачивает голову к солнцу, так душа ищет свой свет, чувствует то, что приносит ей радость, от чего рождается боль, что ей нужно для полноты ощущения жизни... В их будни вошли субботы и праздники, лекции по иудаизму, и душа откликалась на это. Инна хорошо помнит, как в открытую в поселении синагогу внесли свиток Торы, тайно вывезенный из Союза и переданный им равом Ицхаком Зильбером. Изменилось их окружение. Это были люди, составлявшие ядро «Гуш-Эмуним». Все они: Дуду Айхенбойм, Муни Бен-Ари, Тамар Адлер, Эзра Зоар, Ханан Порат, Зеэв Хевер, Моше Мерхавия, Пинхас Валерштейн, Ури Элицур – помогали становлению Текоа.

Глубже понять Инну мне помог образ человека, который был её близким другом. Вглядываюсь в фотографию Рахель Инбар в статье, посвящённой её памяти. Даже не зная её биографии, чувствую: она вождя. Высоко поднятая голова, умный испытывающий взгляд, чуть ироничная улыбка. Младшая дочь адмора из Слонима, седьмое поколение в Эрец-Исраэль, она приняла решение присоединиться к Лехи немедленно после чёрной субботы 1946 года, когда британские солдаты в городах и кибуцах, устроив облавы и аресты, конфисковали еврейское оружие. Она была публицистом, прозаиком, поэтом. И немедленно откликалась на то, что происходило в стране. Рахель одной из первых оказалась в центре борьбы за создание новых поселений. Она искала и находила людей своего типа: сильных, энергичных, убеждённых в своём праве на эту землю. Такой была Инна. Встреча с Рахель проявила в ней те черты характера, которые до поры были сокрыты от неё самой. Инна обрела уверенность в себе и чувство свободы...

Сегодняшнее Текоа подобно оазису в пустыне – чистая яркая зелень. Издали, из моего района в Иерусалиме кажется, что это роща, но я знаю, что это два поселения, расположенных рядом: Текоа и Нокдим.

Рассказ о рождении Нокдим со временем будет звучать как легенда, но в наши дни это просто печальная история о гибели двух молодых людей из Текоа: Эли Прессмана и Давида Розенфельда. Эли погиб в Первой ливанской в июле 1982 года, в ту же неделю на Иродионе был убит арабом из соседней деревни Давид. После похорон Давида Инна с группой поселенцев установили напротив Иродиона палатки, Мафа подключил генератор, принесли цистерну с водой, и началась борьба за создание поселения. «Сколько вы собираетесь здесь сидеть?» – спрашивали Инну журналисты. «Пока на этом месте не встанет поселение», – отвечала она. «Вы захватили частную арабскую землю», – стыдила Инну адвокат, не раз защищавшая арабских террористов. «Мы находимся на государственных землях», – спокойно парировала Инна, хорошо зная, что этот участок земли никогда не обрабатывался арабами и не принадлежал им. Я следила за событиями на новом форпосте, звонила, спрашивала, как они выносят эту жару. Инна отвечала: «Держимся... Есть вода, есть туалеты...» Тон её был неизменно бодр, даже шутив, хотя, конечно, нетрудно представить, каково им было сидеть на таком пекле, не будучи уверенными, что через час не поступит приказ от армии немедленно разогнать их. После семидневного траура к ней присоединились две молодых женщины, две вдовы... И всё-таки поселение встало. Первое его имя «Эль-Давид» несло память о двух молодых людях, павших, защищая свой дом... Позже дали имя «Нокдим». Оно – из пророчества Амоса. И напоминает о пастухе овец, который «получал видения» от Бога и пророчествовал об изгнании и возвращении на эту землю...

Память ведёт меня к ещё одному этапу борьбы: и вновь летний месяц, теперь уже 1993 года. Над страной нависла тень Осло. Грозная, пугающая тень, которая ещё заволочёт небо тёмной тучей, но пока это тень, и ещё не всем дано увидеть, что нас ждёт впереди...

Один из обычных холмов на дорогах Иудеи: словно выложенный из камня от основания и до невысокой вершины. Вдруг он стал печально известен: рядом с ним убили художника Мордехая Липкина, которого многие знали и любили. Внизу, под холмом, на месте, где произошло убийство, ещё валялся шприц, свидетельство о попытках спасти... Он стал одной из первых жертв «Нового Ближнего Востока». Мы сидели на камнях. Шумели деревья, поднялся сильный ветер. Четверо детишек Моти были рядом с нами. Старшие сидели молча, и только младшего, которому едва исполнилось два года, Илана, жена Моти, никак не могла уговорить... Со дня гибели Моти Липкина прошло тридцать дней. Всё это время Инна вместе с друзьями делала попытку создать на месте убийства новое поселение, но безуспешно. Не тогда ли она написала: *И вот мы снова на холмах. / И снова нервы на пределе...*

И всё же что-то серьёзно изменилось в атмосфере страны. За каждое поселение теперь предстояла долгая, тяжёлая и далеко не всегда успешная борьба. Строительство «замораживали», в уже готовые дома не разрешали вселяться. Её связь с этой землёй становится всё глубже, и оттого боль за страну – острее. Поселенцы всё чаще погибали на дорогах. Им не возводили памятников. Лишь простой камень порой стоял на дороге. Камень – всей своей сутью связанный с этой землёй.

Текоа уже прочно стояло на ногах. Тылом Инны была семья. Дочь, шестеро внуков. Мафа. В одну из спокойных минут, когда душа ощущает свет, исходящий от твоего дома, Инна написала:

*В окне моём прозрачный виноград.
Весь сизо-розовый, пчела на нём пасётся.
Лоза упрямая по пыльной стенке вьётся.
И ягод давленных настойчив аромат.
Ах этот август, этот месяц ав,
Он предваряет осени явление.
Тоску, и страх, и грусть, и нетерпенье –
А скоро Йом Кипур, так страшно величав.
Дни праздников важны, неторопливы,
Хотя и осень, зелен влажный сад,
И Мафа мой, почти совсем счастливый,
Всё пробует – созрел ли виноград...*

Мафа ушёл внезапно. Инфаркт... После смерти матери это была самая тяжёлая утрата. И сегодня, одиннадцать лет спустя, она говорит о муже с чувством тоски и тепла. Во всём они были едины. Им было хорошо вдвоём: *Бок о бок и в молчанье, и в беседе...*

Однажды ночью я возвращалась с Инной в Иерусалим из поселения, где жила моя дочь, и тревожно вглядывалась во тьму. За деревьями, совсем близко к дороге, прятались арабские дома. Разговор зашёл о её семье. Бабушка её родилась в Румынии, была оперной певицей. Приехала в Россию, но вернуться назад уже не смогла: шла Гражданская война. Мама в шестнадцать лет вышла на сцену Харьковского театра. Она была красива и талантлива, и в неё с первого взгляда влюбился молодой инженер, немецкий еврей, коммунист, который, спасаясь от нацистов, бежал в Советский Союз. Два года счастья были оплачены дорогой ценой. Отца, строившего «Запорожсталь», расстреляли, мать с годовалой Инной отправили в лагерь. До четырёх лет Инна росла в бараке «мамок», жён врагов народа с крохотными детьми... Замуж её мать так и не вышла, к своему призванию не вернулась, работала в цехе по изготовлению гвоздей. Жизнь потребовала от неё мужества и силы духа. Ради дочери, оставшейся у неё на руках. И, слушая Инну, я подумала, что, наверное, не раз в тяжёлые минуты жизни перед ней возникал образ матери.

...Одиннадцать раз ей разбивали стекло, но Бог миловал. Долгое время Инна ездила по дорогам одна, конечно же, – с оружием, которое в её поездках вряд ли могло помочь. После перенесённого ею инфаркта Ури Ариэль заставил её ездить с водителем.

Инна, может быть, только в стихах давала выход своим чувствам. Теперь я понимаю, как много скрывалось за внешней сдержанностью, какую самодисциплину нужно было проявлять, чтобы изо дня в день делать своё дело, изнывать от жары в палатках, которые кочевали с холма на холм всякий раз, когда начиналась борьба за новое поселение, возвращаться домой ночами по опасным дорогам. Но её вело желание помочь людям и любовь к этой земле. Она умела видеть, чувствовать и наслаждаться красотой библейской природы.

Историю Рехелим, в котором жила семья моей дочери, я знала не понаслышке. Ицхак Шамир дал согласие участвовать в Мадридской конференции, и группа поселенцев из Шило выехала в Тель-Авив на демонстрацию протеста. Как всегда, когда мы делаем очередной шаг навстречу уступкам, нам то ли с земли, то ли с неба дают понять, чем это кончится... Погибло двое: водитель автобуса Ицхак Рофе и Рахела Друк. После похорон подруги Рахелы не вернулись домой. Они собрались на месте убийства, но армии было приказано немедленно разогнать людей. Единственная уступка, на которую после встречи с женщинами согласился командующий округом: кто-то один может здесь остаться до окончания семидневного траура на месте убийства... Осталась Инна. С непрерывными ливневыми дождями. Ветрами. Ночная мгла, дождь, одинокая фигура Инны, и перед ней свеча памяти в солдатской каске. Инна одна несла свою вахту днём и ночью на дороге, где произошло убийство. Как-то утром рядом с ней остановилась машина. Шофёр, молодой еврейский парень, положил перед ней коробку с фруктами, печеньем: «Это тебе моя мама прислала». Вспоминая это проявление человеческого тепла, Инна в своей сдержанной манере сказала: «Он потряс меня...»

...Поселенцы не ушли. Теперь у них было две палатки и два перевезенных ночью через арабские деревни каравана. К ним присоединилась Геула Козн, тогда депутат Кнессета от партии Тхия. А когда прибыла армия с твёрдым намерением разогнать вахту протеста, Замбиш (Зеэв Хевер) разобрал заранее приготовленные цепи и, приковав ими Инну и других женщин к караванам, защёлкнул замок. Теперь солдаты не могли оторвать их от земли: словно земля, на которой пролилась еврейская кровь, сама держала их. Как часто она лилась в те годы, когда солнце всходило над «Новым Ближним Востоком»...

Только тот, кто близко столкнулся с историей борьбы за заселение земли, понимает, каким усилием оплачен каждый шаг. Слишком много унижений мы познали, слишком часто опускали свою неповинную голову, и, как видно, теперь её нелегко держать высоко поднятой.

Написал Ури Цви Гринберг: *«Мы сгорблены, и мы горим...»*

Когда Инна уходила на пенсию, Хаим Фогель написал ей от имени всех, с кем она работала в «Амане»: «Дорогая Инна! Ты была с нами и в радости, и печали: в созидании, в строительстве, в заботах о репатриантах... Мы учились у тебя бескомпромиссности в достижении цели. Береги себя. Ты ещё очень нужна в борьбе за Эрец-Исраэль».

Недавно Хаим Фогель проводил в последний путь сына, невестку и троих внуков, убитых террористами в поселении Итамар.

Мне трудно вспомнить прежний облик Инны. Я уже давно привыкла к Инне сегодняшней, с собранной назад копной седых волос, внимательным, чуть ироничным взглядом из-под очков. В сегодняшней Инне больше мягкости, явственней проявляется доброта, которую так хорошо чувствуют люди. Вспоминаю слова Сент-Экзюпери о Гийоме в «Планете людей»: «Он из тех больших людей, что подобны большим оазисам, которые могут многое вместить и укрыть в своей тени. Быть человеком – это и значит чувствовать, что ты за всё в ответе. И знать, что, укладывая камень, помогаешь строить мир».

Недавно, рассказывая о своём увлечении хокку, Инна дала мне почитать только что написанные ею строки. Японские поэты умели в трех строках передать мысль и выразить чувство. Инна пишет их с лёгкостью и с каким-то детским озорством:

*Хокку – игра ума.
А что – не игра?
Нет ничего, что «не».*

А вот ещё одно трёхстишие:

*Этот запах! Нет ничего
Свежее осенней розы
На ржавом кусте. Октябрь.*

Осень... Её тоже нужно уметь встретить. Насладиться свежестью утра, запахом трав, красотой расцветшей розы на порывшем кусте. Осень не только грусть расставания...

Быть может, именно созданный Геолой Коэн Дом Ури Цви Гринберга, где после выхода на пенсию работает Инна, дал ей возможность вернуться к тому, что всегда составляло часть её души: к творчеству. Уже много лет она переводит израильских поэтов на русский: Наоми Шемер, Хану Сенеш, Рахель Инбар, но главное, конечно, Гринберга.

В моей библиотеке книга Зезва Султановича «Ури Цви Гринберг. О Боге. О мире. О времени нашем». Мне её подарила Инна. Читая надпись, я невольно улыбаюсь: «Нет, я не Зезв, я другой». И тут же вполне серьёзно: «Я, Инна Винярская, счастлива, что кое-что перевела из великой поэзии Ури Цви Гринберга для этой книги».

И сегодня, спустя годы, я испытываю чувство глубокой печали, перечитывая строки Гринберга. Это холодное солнце, и лунная серна, и сияние напева, и тенеты из синевы и золота создают впечатление холодной лунной ночи, и одиночества, и неприкаянности... Еврейская судьба, еврейское одиночество и боль...

Наверное, те же чувства испытывала и Инна. «У него нет почвы для лирики, – говорит она. – У него есть почва для страданий».

Я люблю стихотворение «Униженный день» в её переводе. В нём проявление еврейской гордости и еврейской боли. За львов, забывших самое главное: язык, на котором говорят львы.

*Видел я сон, и во сне львы
с гор высоких и светло-туманных спускались
и за лисами рыжими крались
гнилого поест винограда...*

Нужно было пройти тот путь, что она прошла в Израиле, чтобы ей открылось истинное величие Ури Цви Гринберга, его *ноша боли* и *ноша радости*. Для неё это не поэтический образ, а сама жизнь, её личная ноша боли и ноша радости.

«Я никогда не любила громких слов, – сказала она мне. – Но сейчас они мне не кажутся громкими. Они для меня естественны».

*Из очерка «И вот мы снова на холмах...», сетевой журнал
«Заметки по еврейской истории», 2011*

* * * *

Инна возникла перед нами из каменного двора старинной улочки и отметилась тогда в моём сознании фразой, произнесённой в старомосковской интеллигентской интонации: «Да, – сказала она со вздохом, когда мы выруливали на улицу Яффо, развороченную строительством трамвая. – Да, уходит, уходит былая иерусалимская милота».

Мы ехали по запруженному машинами центру, где продолжалось народное гуляние, на перекрёстках в районе гуляльной улицы Бен-Иегуда ещё играли музыканты, но по мере нашего движения город расширял свои улицы, освобождая их от транспорта для разбега нашей машины. Могучий всё-таки город.

Ехали мы не слишком долго, как если бы я вёз друзей на такси из центра к себе в Орехово-Борисово, – привычно отступали в сторону ряды огней, всё шире становилась полоса шоссе; и вдруг я обнаружил, что мы едем по какому-то каменному жёлобу, справа и слева – щебёнка на откосах, потом снова огни вдалеке, но редкие и далёкие, машина сбросила скорость, поднимаясь по склону небольшого холма, и в свете фар в чёрном небе вдруг вспыхнули фосфоресцирующим светом спецовочные штаны дорожного рабочего.

– Ну, вот и наши кальсоны, – сказала Инна.

Шлагбаум, на котором они висели, поднялся, и машина вкатилась как бы в широкую парковую аллею, с пальмами и чёрными кустами. Проехав ещё минуты две, мы остановились.

Я вышел из машины в коровинский (раннего периода) пейзаж: залпанная лунным светом трава с чёрными тенями огромной толстоногой пальмы и лимонного дерева, сквозь кусты и кроны невысоких деревьев с той стороны сада-газона оранжево светили окна коттеджа в саду, ну а над нами высилась стена двухэтажного дома с крыльцом, охраняемым двумя каменными (или гипсовыми?) львами. В дом за деревьями, попрощавшись, ушла Инна, а мы поднялись меж львами по ступенькам в дом моего товарища N.

Когда, проснувшись утром, я вышел из комнаты на площадку перед лестницей вниз, первое, что я увидел, был горящий прямоугольник окна, в который, как в раму, была вставлена картина: рыжая голая земля, вздымающаяся по центру обрезанным конусом горы. Над ними – густая синева утреннего неба. В окне была пустыня и гора Иродион. Композиция воспроизводила гравюру Хокуса с Фудзиямой.

В доме ещё спали, и я вышел наружу. Проживание открывшегося пейзажа началось с почти физического ощущения неба. Его было много. Очень много. Мир передо мной был поделён на яростно-жёлтый низ уходящей вдаль земли, светившей белыми каменными арабскими деревушками на пологих склонах, и покойную бездонную синеву сверху. Передо мной – Иудейская пустыня. Ну а я стою на её берегу, на краю цветущего – буквально цветущего – оазиса. Пейзаж вокруг заставлял вспоминать рекламные картинки подмосковных коттеджных посёлков, только без высоких заборов, – с открытыми газонами, огороженными невысокими каменными оградками, по камням этим стекает красная и розовая пена цветущих бугенвиллий, в

зелени деревьев жёлтые пятнышки уже созревших лимонов. Ну а в глубине садов – двухэтажные дома с черепичными крышами.

Из звуков – яростное щебетание птиц в кроне дерева за домом и шарканье вдали чьих-то подошв по асфальту, и мне пришлось подождать, пока из-за поворота не возникнет фигура пожилого сухощавого мужчины. Поравнявшись наконец со мной, он улыбнулся и что-то сказал на иврите. «Доброе утро», – ответил я и долго ещё слушал потом звук удалявшихся шагов, не потревоженный вкрадчивым шуршанием колёс проехавшей машины. Такая стояла вокруг меня тишина – тишина деревенская.

Я вдыхал воздух пустыни со слабым сухим запахом незнакомых мне растений. Солнце, ещё не слишком жаркое, но уже полноценное, грело моё тело, недоверчиво впитывающее в себя покой вокруг.

...Да нет, ничего чрезмерно пафосного в деталях этого пейзажа не было. В поле моего зрения находились также тёмно-зелёные мусорные баки под оливковыми деревьями, гора щебёнки, иставили вдали нити высохшего виноградника, начинавшегося сразу за дорогой перед домом моего товарища. Вдали прерывистыми чёрточками – забор, надо полагать, обозначающий границы Поселения. Такая вот рамка для райского сада на границе Иудейских гор и Иудейской пустыни.

И это что? Это и есть Территории?! Место противостояния евреев и арабов? Противостояния Востока и Запада?

Да. Это и есть Поселение.

С перерывом в год я приезжал сюда дважды, жил по несколько дней, не делая никаких специальных усилий для «сбора материала», – просто жил, общаясь с родными моего товарища и кругом его друзей, пытаюсь почувствовать ток здешней жизни. И если поначалу мне казалось, что Поселения для меня будут ещё одним объектом для наблюдения и размышлений про Израиль, то достаточно быстро я понял, что разбираться во внутренней логике израильской жизни лучше всего отсюда, то есть имея точкой обзора именно Поселение.

А также держа в голове услышанное от здешнего поселенца Шимона, когда я пожаловался ему, что чем дольше живу здесь, тем меньше понимаю: «Ага, – сказал Шимон. – Но вы успокойтесь. Мы тоже мало чего понимаем. Это ощущение знакомо здесь всем».

Итак.

Поселение называется Текоа. Расположено в восточной части Гуш-Эциона. Здесь свой магазин, школа, детсад, синагоги. Асфальтовые дороги и дорожки, дорожные указатели в центре на перекрёсточке у магазина, площадки автостоянок. Деревянными будочками автобусных остановок для здешнего объезжающего ещё два соседних поселения рейсового автобуса. Своя охрана, ворота со шлагбаумом и строением для охранника – местный вариант блокпоста.

Текоа – смешанное светско-религиозное поселение. За составом его (то есть соблюдением баланса светского и религиозного населения) следит совет поселения. Вопрос этот стоит, как правило, при выделении участков для новых жителей. Кипы в основном вязаные, разноцветные, то есть по большей части здесь живут так называемые религиозные сионисты. Но есть, разумеется, и чёрные кипы ортодоксов.

А есть и поселенцы без кип, как N, например, но в гости к нему может зайти любой, потому как обрядовая часть общения (посуда, угощение) соблюдается и в его доме. Местные девушки, стоящие по утрам у ворот в ожидании автобуса или попутной машины, делятся примерно поровну – на одетых в джинсы и футболки, с открытыми головами, и на одетых в чёрные длинные юбки, глухие блузки, с беретами на головах. Такая же разница в одежде молодых людей, плюс у некоторых военная форма и наличие автомата.

Говорят в Текоа не только на иврите, но и на русском, английском, французском.

Безмятежный «загородный» пейзаж не должен обманывать. Это не дачный посёлок – будильники в домах начинают звонить в половине шестого. Для того чтобы хозяйки успели приготовить завтрак для многочисленного, как правило, семейства, нарезать всем бутерброды на день, поднять детей и т. д. Ну а с семи часов начинается разъезд на работу, загрузка безлошадных односельчан, кучкой стоящих у ворот в ожидании, в свою машину. По большей части работают в Иерусалиме. Он совсем близко – 30–40 минут до центра столицы, если на машине, и минут 40–50 на автобусе, заезжающем ещё и в соседние Нокдим и Кфар-Эльдад, названный так в честь Исраэля Эльдада, соратника Владимира Жаботинского. К восьми утра жизнь на улицах затихает – дети в школе или в садике, родители на работе.

Стиль общения с незнакомыми открытый и доброжелательный. Во время одной из прогулок обратил внимание на чёрный длинный автомобиль. Он дважды проехал мимо меня, потом появился в третий раз, обогнал меня и остановился метрах в пятидесяти. Наружу неторопливо, как бы даже с ленцой, вылез рослый бородатый парень в кипе, вроде как покурить вылез, на пустыню полюбоваться. И когда я поравнялся с ним, кивнул мне: «Шалом!» – «Доброе утро!»

– А вы здесь у кого-то гостите? – по-русски продолжает он.

– Да, у N. Но вот гостевание главным образом только в доме. По улицам погулять можно утром и вечером, днём не высунешься.

– Да, – благожелательно откликается парень. – Ну и как переносите наш хамсин?

– В общем-то, легко. Даже не ожидал.

– В первые разы мы все почти не замечали его, – словоохотливо объясняет парень. – А вот через несколько лет хамсин начинаешь уже чувствовать в полную силу. Тяжёлая на самом деле штука. Ну, спасибо вам. Привет N, – говорит он и поворачивается к своей машине.

В открывшуюся дверь успеваю увидеть небольшую рацию и автомат на сиденье. Парень из охраны Текоа, которую содержат сами текойцы. Проверка личности проходит в тональности доброжелательного соседского разговора.

...Накануне мы договаривались о поездке в Хеврон.

– Да-да, – сказал за завтраком N, – поедем обязательно. Только давай на часик завернём в одно место. Тебе это может быть тоже любопытно. Посмотришь нашу культурную акцию. По пятницам мы тут проводим разные мероприятия на одной горе, в судьбе которой принимаем участие. Инна с нами тоже едет. Ты как?

– Поехали, разумеется.

Инна уже стояла у машины.

– Мы не опаздываем?

– Нет-нет, успеем, – уверенно сказал N, и мы сели в машину.

До Хеврона в тот день мы так и не добрались. Запланированная экскурсия отложилась на год, до следующего моего приезда. Но в своих поездках я старался придерживаться правила – не суетиться и не слишком настаивать на своих планах. Доверяй обстоятельствам, смотри на то, что они тебе показывают, – ничего случайного тут не бывает.

В очередной раз взметнулся в воздух шлагбаум («А где же кальсоны?» – «Их только по ночам вывешивают – чтоб машины не въезжали в шлагбаум»), и зелёная зона оазиса кончилась. За стеклом буро-зелёные клоки каких-то жёстких трав на каменистых осыпях полых холмов и чёрно-лиловая под синим небом полоса дороги, стекающая вниз. Я приготовился к смакованию пейзажа пустыни, но проехали мы от силы минут десять. Свернули на какую-то узкую асфальтовую дорогу между склонами, проехали пару километров, и N начал тормозить. Но как-то нервно. Сидевшая сзади Инна чуть подалась вперёд, как бы сказать что-то N, но ничего не говорила – впереди от дороги, по которой мы ехали, отходила направо и вверх, на невысокую гору, дорога грунтовая, и как раз на этом повороте стоял приземистый, ошетилившийся грязно-рыжим военным металлом широкоскулый армейский джип. Возле него – два рослых израильских солдата в пузатых касках с чёрными длинными автоматами.

– Они что, тоже участвуют в вашем мероприятии?

– Похоже, да, – буркнул N, пропуская встречную машину и вырывая на обочину слева.

По тому, с какой решимостью двинулся он от машины к солдатам, я почувствовал, что дело наше, похоже, безнадежно.

– Нет, нет, – говорил солдат, – это не ко мне. У меня приказ не пропускать вас на гору.

– Но, – говорил N, – там ведь ничего не происходит, несколько человек проводят философский диспут. Абсолютно мирная акция. И вообще, мы местные жители. Я не понимаю, какие могут быть основания для вашего вмешательства.

– Вы не подавали заявки на проведение своего мероприятия, у вас нет разрешения. Мы не можем вам обеспечить охрану.

– Нам не нужна охрана, – резко сказала Инна. – Слава богу, мы на своей земле.

– Повторяю, у меня приказ. Говорите с тем, у кого есть право решать. Я вам сейчас вызову старшего офицера.

Солдатик был спокойно-несокрушим. Второй солдат, смуглокожий, явно не понимавший по-русски, внимательно смотрел на лица и читал развитие диалога по выражению лиц и интонациям.

N что-то тихо обсудил с Инной.

– Сейчас, Сергей, – сказал он, – сейчас приедет офицер. С солдатами действительно разговаривать бесполезно.

Ну да, хорошо бы. Только откуда он вдруг возьмётся, этот офицер, думал я. То есть вот картинка: три человека молча стоят на обо-

чине периферийной по здешним местам дороги, в ложбинке между каменными осыпями. Проезжают мимо редкие машины, и кажутся они на этой дороге старыми и запылёнными, как вот этот пыхтящий на не слишком крутом подъёме пикапчик с открытым кузовом, заваленным досками и брёвнами, в кузове под бортом сидит мужчина в грязной рубаше, с головой, укутанной в серый платок. Октябрьское солнце набирает силу. Откуда здесь офицер? Чего ради? Типа вот так сейчас всё брошу и побегу, так, что ли?

Пикапчик сворачивает за гору, а оттуда выскакивает грязно-рыжий военный автомобиль, что-то вроде небольшого бронетранспортёра. Машина тормозит возле нас. Из кабины спрыгивает белокурый атлет-красавец в форме. С ума сойти – действительно офицер! А откуда-то сзади из машины вываливаются ещё пятеро солдат, поправляя на ходу каски и прилаживая свои автоматы. Я никак не могу привыкнуть к количеству оружия в быту израильтян. И оружия отнюдь не бутафорского, вроде кортиков у наших морских офицеров.

Переговоры возобновляются, но идут, как я понимаю, по уже пробитому руслу. Говорят на иврите. Чувствуется, что не в первый и не во второй раз офицер ведёт эти диалоги. Привычным, как бы ритуальным кажется протестное клокотание в речи N, и таким же привычным кажется упорство обороняющегося офицера. В речи офицера можно даже различить наличие как бы некоторой рефлексии по поводу, который вынуждает его бодаться с таким вот интеллигентным милым человеком. То есть произносится им что-то вроде: да нет, вы не подумайте, я вас прекрасно понимаю, но поймите и моё положение, я обязан... и т. д. Стоящая рядом Инна подаёт только несколько реплик, как я понимаю, достаточно язвительных и резких, а потом и вовсе отходит.

Я же стою в сторонке, естественно, не вмешиваясь. Я здесь гость. Свидетель происходящего. Не более того.

Вяловатый спор-бодание N с офицером продолжается, а мы с Инной закуриваем, и она говорит: «До чего ж осточертело бороться с собственной армией».

Ситуация наша, как я понимал, была тупиковая. Один солдат или даже два, стоящие на дороге, может быть, и согласились бы зажмуриться и не заметить поднимающуюся на гору машину. Но когда перед нами целое подразделение Армии обороны, силы уже явно неравные. Нас-то всего трое, точнее, двое, Инна и N, а я – так, для мебели, изображаю массовку, тупо соображал я, глядя на голую, с влажной чернотой разогретого асфальта дорогу, на светло-серую легковушку, которая на подъезде к нам зачем-то сбрасывает скорость. Более того, машина эта начинает манёвр выруливания для парковки рядом с нами. То есть, похоже, и к нам идёт подкрепление. Только вот подкрепление не слишком внушительное – за рулём две дамы лет тридцати, а если и постарше, то немного. Но когда дамы заглушили мотор, вылезли из машин, как бы не слишком и торопясь, деловито приладили рюкзаки на спину, прикрыли дверцы и со спокойными почти лицами твёрдым шагом – чуть не написал «строим», но ощущение было такое – двинулись к офицеру, я почувствовал, что, возможно, поторопился с оценкой их боевых качеств. Офицер продолжал что-то говорить N, но смотрел уже

через его плечо на приближающихся дам, и с лица его сходило выражение «сострадательного противостояния», а из интонаций – полуизвиняющиеся нотки, типа «не считайте нас бездушными церберами». Дамы уже стояли напротив него, открыто и прямо глядя на него из-под беретов религиозных сионисток. Заговорили они тихо, но с упором, офицер отвечал, но коротко, односложно. Смена тактики произошла мгновенно. Офицер, видимо, сразу же оценил, как сказали бы на моей исторической родине, степень упёртости этих на вид хрупких женщин и уже ничего не объяснял, не полемизировал, ушёл в глухую оборону, выбрав непрошибаемо-армейское «не положено».

Диалог оказался на удивление непродолжительным. Дамы были лишены интеллигентной обстоятельности и пафоса N. Они и не собирались полемизировать, они подошли просто выяснить: да или нет. Выяснили, что нет. Ну а дальше-то чего с этим офицером говорить? Только время тратить. Развернувшись, они подошли к нам. Произошло короткое деловое совещание, после чего N и одна из прибывших дам двинулись к машинам. Мы, я и две женщины, остались на месте.

– И что дальше? – спросил я Инну.

– Пройдём пешком, – сказала Инна.

– Пропустят?

Она пожала плечами.

Отогнав машины на самый край обочины, подальше от проезжей части, N и молодые дамы вылезли наружу, закрыли дверцы, проверили их и вернулись к нам. И мы тронулись. То есть сначала остановились на несколько секунд, пропуская идущие машины по дороге, и в этот момент я обнаружил, что стоим мы уже как-то сплочённо и осмысленно, мы с Инной чуть впереди, N с дамами чуть по сторонам; что-то такое полузабытое из школьного учебника для шестого класса, обозначавшееся там, как помнится, словом «свинья». Дорога освободилась, мы пошли на солдат. Те стояли неподвижно, ничего не предпринимая. Мы прошли рядом, почти сквозь, и вступили на грунтовую дорогу вверх. Какого-либо противодействия армия не оказывала.

Поначалу мы поднимались впятером. Но скоро две молодые дамы, оценив ситуацию как разрядившуюся, прибавили шаг. Тащиться по жаре неторопливым шагом, как мы с Инной и N, люди уже в некотором роде в возрасте, дамы не стали. Их ждала работа наверху.

Инна рассказывала мне про то, что раньше на этой горе была военная база. Для поселенцев это было очень хорошее соседство. Ну а потом базу перенесли, и место это стало ничьим. И, соответственно, на него нацелились местные арабы.

– Что значит «ничьё»?

– То и значит. Для того чтобы получить разрешение что-то построить, ну, скажем, культурный центр для жителей окружающих поселений, нужно собрать неимоверное количество бумаг, подтверждающих, что земля эта не находилась ни в чьей собственности. И только тогда военная администрация даст ход этим бумагам наверх. Мы в зоне С. Здесь в качестве администрации военные. И дикая путаница законов – израильских, иорданских, есть в ходу даже какие-то законы из времён турецкого владычества. Правда, если вдруг араб-

ская семья быстренько что-нибудь такое сляпает, то, в отличие от самопального еврейского строения, его вряд ли тронут. Такая вот политкорректность. Ну, мы и приучаем местных к тому, что на эту горку ходим мы. Устраиваем культурные акции.

– А как арабы к этому относятся?

– Внешне спокойно. Они особо и не вмешиваются. Потому как в ситуации с этой горой у них появились неожиданные союзники – анархисты. Леваки. Наши отечественные и приехавшие к нам из Европы защищать права угнетаемого оккупантами обездоленного палестинского народа. Ну, вот поднимемся наверх, вы там всё и увидите.

Сзади захрустела каменная крошка под тяжёлыми армейскими ботинками. За нами быстрым шагом поднимались четверо солдат.

– Это идут охранять нас, – сказала Инна. – Нормально.

Солдаты обогнали нас.

И, глядя в их ещё совсем близкие спины, Инна закончила:

– Засранцы!

Хорошо, что они молодые и наверняка не говорят по-русски, поёжился я.

– Вчера был в Вифлееме, – сказал я, – и там была стена, и пропускной пункт, и палестинские полицейские, и т.д. То есть всё чётко, ясно. Стена. Граница. Тут израильтяне, тут арабы-палестинцы. Вы-то как к стене относитесь?

– Если б это зависело от меня, никаких стен бы тут вообще не было. Срыла бы. Своими руками.

– Ну а здесь-то как вы границы различаете? Мы же вроде как на Территориях?

– И не «как бы», а именно на Территориях, – она кивнула вслед удаляющимся солдатам. – Это ситуация, сложившаяся после Шестидневной войны 1967 года, но оформленная юридически только в 1995 году договором «Осло-2». Все так называемые территории делятся на три зоны. Зона А – арабские (палестинские) территории с их собственной администрацией и силовыми структурами, скажем, Вифлеем. Их теперь и огораживают стеной. Зона В – администрация тоже арабская, но с участием в управлении израильской армии. Ну и наша зона – зона С. Здесь хозяин армия. Тут могут жить и арабы, и евреи тоже. Но опять же, после очень долгой и трудной процедуры получения разрешения. Так что основание еврейского поселения – песня долгая. Вот холм этот был еврейской территорией, пока здесь была база. А сейчас непонятно чья. Мы хотим сохранить, так сказать, память о её принадлежности. По пятницам устраиваем здесь собрания, детские праздники и т. д. Психологически воздействуем на округу, показываем, что мы есть.

Мы наконец поднялись на гору, точнее, к невысокому кирпичному зданию слева от дороги, обошли его, свернули налево, и я увидел наконец, куда мы шли.

Небольшое плато, окружённое одноэтажными длинными зданиями с тёмными проёмами пустых окон. Бывшие казармы, образующие каре. В центре небольшой двухэтажный дом; из верхних, тоже давно выбитых окон когда-то просматривалась вся территория базы. Светлые стены бывших казарм разрисованы граффити.

Ну а в центре этого пейзажа армейских руин, в тени под командирским домиком – группка людей, сидящих на белых пластмассовых стульчиках и расстеленных циновках. Сумки, рюкзаки, термосы, пластмассовые стаканчики. В центре на стуле – мужчина средних лет в белой рубашке, с чёрной бородой и в кипе. Передо мной мизансцена из спектакля по чеховской пьесе или со старинной фотографии с пикников русских интеллигентов начала XX столетия.

Только над сидящими на этой горе – безмятежно-синее небо древней Палестины, а на горизонте – пустыня и невысокие горы. По углам плато на возвышенностях чёрные силуэты солдат с автоматами – обогнавшие нас солдаты уже заняли стратегически выгодные точки.

Наше появление было отмечено короткими аплодисментами, то есть у меня появилась возможность немного погордиться своим мужеством в борьбе за торжество сионистской идеи.

Инну усадили на стул, я пристроился на циновке, и мне тут же налили тёплого кофе в стаканчик. Какое-то время Н переводил мне то, о чём говорил чернобородый в белой рубашке – местный раввин. Речь шла об этимологии слова «левые» и о том, как слово это постепенно меняло своё содержание. Я слушал, рассматривая граффити на окружавших нас стенах. Всё-таки странные граффити. Тут тебе и серп с молотом, и пятиконечная звезда. И написанное латиницей «Аллах акбар!».

– Не думал, что арабы такие писучие, – сказал я.

Инна, проследив мой взгляд, усмехнулась:

– Это не арабы. Это анархисты. Вон видите, левак написал «Аллах акбар», но с ошибкой. Пришёл араб и исправил.

На циновочке в окружении вполне интеллигентных сионистов я провёл минут сорок. Потом начались сборы. В отличие от нас, большинство участников акции успели подняться на гору на машинах и двинулись к своим припаркованным здесь же, на горе, автомобилям, ну а мы в сопровождении двух мужчин из Нокдим пошли к дороге.

Мы снова выходим на дорогу, оставляя уже слева крайнюю казарму, и тут я вижу то, чего не мог видеть, сидя на площадке, – за время, что мы сидели наверху, армия подтянула свои силы – над дорогой стоял небольшой бэтээр с тремя солдатами на броне, естественно, вооружёнными.

Идущие впереди меня поселенцы поочерёдно, проходя мимо бронетранспортёра, произносят: «Шабат шалом!» – ну да, сегодня же пятница. И солдаты, сидевшие на броне, хором откликались: «Шабат шалом!» Я шёл последним и мучился – пройти молча мимо солдат было бы чем-то вроде демонстрации моей нелюбви к Армии обороны, ну а у меня к ней нет никаких претензий, но и сказать «Шабат шалом!» мне, не еврею, как-то неправильно, я – гость. И, уже набравший воздуха в грудь для приветствия, я говорю: «Счастливо, ребята!» И ребята («засранцы») – двое из троих, сидящих на броне, – также отвечают на автомате: «Счастливо, батя!»

Из очерка «Туристов в Хеврон не возят», интернет-издание «Частный Корреспондент», 2011.

Сергей Костырко

* * * *

Жизнь нашего небольшого русскоязычного культпросвета в Иерусалиме клубилась, главным образом, вокруг Инны Винярской, на втором этаже славного Дома наследия Ури Цви Гринберга, в зале на сто мест, – и кого там только не было! Список вечеров, презентаций, воспоминаний, авторских песен и декламаций занял бы не одну страницу. И поэтому уход Инны ощутился нами как внезапное наше сиротство. Замечательной души была Инна человек. Не заведующая, не начальница, а такая наша мать Тереза с любимым её приютом и уютом, с кофе-чаем и лёгким всегдашним угощением – родной дом с родной хозяйшкой. Насколько велик был дар доброты, отпущенный ей небесами, настолько щедро она им делилась.

Вечная память её светлой душе.

Вот стишок, который я успел ей спеть.

*Как люблю я у Инны Винярской,
Под крылом Ури Гринберга Цви,
Распевать с широтою гусарской
Распрекрасные песни свои.
Инна-свет,
 Инна-честь,
 Инна-совесть,
Инна другу поможет всегда.
Если б каждый еврей
Уподобился ей,
Весь бы мир переехал сюда!*

Юлий Ким

Владимир Жаботинский *ИЗ ПУБЛИЦИСТИКИ (1906)**

АВТОНОМИЯ ПОЛЬШИ¹

25. Немедленно, по установлении общеимперского демократического представительства с конституционными правами, в Царстве Польском вводится автономное устройство... причем в Царстве Польском должны действовать общегосударственные гарантии гражданской свободы и права национальности на... самоопределение и должны быть обеспечены права меньшинства.

Из программы к.-д.

Сознательный еврейский националист должен очень осторожно подходить к этому вопросу. Наш народ и без того разрублен на части чужими пограничными заставами; и без того при случае войны, допустим, между Австрией и Россией, нам придется месить штыками друг друга. Стремление объединить еврейство заставляет нас сочувствовать и содействовать всякому сближению между странами, где рассеян еврейский народ. И если большая половина этого народа волею истории скоплена теперь в одном государстве, было бы необыкновенным легкомыслием с нашей стороны не дорожить – и весьма – этим обстоятельством. Организация «всемирного еврейства» не есть еще прямая возможность сегодняшнего часа, но тем важнее для нас организация «всероссийского еврейства», как единого политического целого на политической арене огромного могущественного государства. Дробление этого целого, раздел всероссийского еврейства на новые клочки, т. е. дальнейшее кромсание нашего национального организма было бы для нас страшным ударом – особенно теперь, когда лозунг объединения захватил самые широкие массы нашего народа и почти всю его интеллигенцию, недавно еще ассимиляторскую. «Всероссийское еврейство» должно стать краеугольным принципом нашей национальной политики в России, а единое российское еврейство мыслимо только при сохранении единства в России – единства в том смысле, в котором этот термин принимается федералистами. Эту простую истину необходимо положить в основание нашей платформы и бороться за нее без всякой робости, без всяких колебаний.

С этой точки зрения мы, конечно, ничуть не собираемся бороться – если бы даже имели на то силы – против автономии отдельных

* Статьи, напечатанные впервые в российской периодике в 1906 году, планируются к публикации во второй книге четвертого тома Полного собрания сочинений Владимира (Зезва) Жаботинского, который выйдет в свет в 2015 году. Редакция благодарит за предоставленные материалы инициатора, составителя и главного редактора издания Феликса Дектора и просит ссылаться при перепечатке материалов не только на «ИЖ», но также и на ПСС В. Жаботинского.

¹ Хроника Еврейской Жизни, № 18, 10.05.1906.

областей, в частности Польши. Напротив, от чистого сердца желаем и Польше, и Украине, и вообще кому только угодно – полнейшей свободы «самоопределения». Кроме мотивов справедливости, нами здесь руководит еще и то соображение, что в центральном парламенте России мы, евреи, в лучшем случае можем рассчитывать на 4 процента депутатских кресел, а в польском сейме – опять-таки в лучшем случае – на 11–12 процентов. Это, конечно, далеко не лишено для нас важности. Но автономия Польши нанесла бы удар нашим интересам, если бы она раздробила нас, оторвала бы польское еврейство от все-российского еврейского организма. И против такой тенденции польского автономизма нам придется пустить в ход все свои силы.

Сил у нас мало, но пусть поляки – именно в этом случае – не переоценивают и нашей слабости. Дело в том, что то раздробление нашего национального организма, о котором я говорю, по самой сущности своей возможно только при раздроблении России как единого государства. Государственное единство не нарушается никаким расширением органических прав той или иной области, той или иной народности, лишь бы при этом было соблюдено основное условие: гражданин России есть прежде всего гражданин исключительно России, а не той или другой области и на всем пространстве государства он пользуется всей полнотой своих гражданских прав и свобод. Автономия областей должна передать в его руки заведование местными делами в самом широком объеме, но не должна отрезать его от общегосударственного союза; автономия областей соединяет его с ближайшими соседями на почве местных интересов – опять-таки, в самом широком размере, но она не должна отрезать его от самого тесного общения с далекими согражданами на почве интересов, выходящих за грань местных рамок. Автономия областей не должна мешать тому, чтобы гражданин России всюду в России сознавал себя дома и всюду в России мог осуществлять свое братство с теми, кого ему угодно признавать своими братьями. Иначе автономия превращается в сепаратизм, иначе она дробит и расчленяет государство в механическую связку совершенно закрытых, совершенно друг другу чуждых кусков. *Такая* постановка вопроса об автономии Польши встретила бы резкое несочувствие преобладающих политических групп России, и наше противодействие в этом случае оперлось бы на самую внушительную силу, перед лицом которой сепаратисты оказались бы совершенно изолированными. Мы сильны тем, что наши интересы в данном случае совпадут с настроением политического большинства, и разумно поступят господа счастливые победители недавнего избирательно-крестового похода в Царстве Польском, если на сей счет заранее воздержатся от всяких иллюзий.

К сожалению, приходится опасаться, что в некоторых польских умах идея автономии приняла именно этот агрессивный оттенок. Национал-демократы в этом отношении, конечно, особенно подозрительны, или, вернее, вне всяких подозрений: внутри Польши они собираются проводить политику активной ассимиляции, так сказать, национального крестительства, причем вряд ли остановятся перед прямым угнетением: такова, например, заветная для многих из них мечта – пре-

доставить избирательные права только грамотным *по-польски*. Гораздо мягче в этом отношении ППС: не в пример Дашинскому, его товарищи в российской Польше признают жаргон языком и согласны дать ему законное место в народной школе и в учреждениях. Но в вопросе о «всероссийском еврействе» надо ожидать со стороны обеих этих партий самого непримиримого противодействия. Привыкнув издревле считать местного «Мошку» за свое панское добро, они резко восстанут против всякой попытки включить еврейское население Польши в организацию, объединяющую все еврейство России. Они не позволят «польскому» еврею смотреть на себя как на члена какой бы то ни было семьи, выходящей за пределы автономной Польши: его гражданские чувства должны кончаться там, где кончается польская провинция. Это, если хотите, дальнейшее развитие бундовской точки зрения, согласно которой только еврейство России представляет из себя некоторое подобие единой нации, а галицийские евреи не в счет, ибо уже это совсем другое государство. *Cuius regio, ejus Judaeus*². Здесь только на место полицейского государства подставляется автономная область: области будут завоевывать автономию, а евреи будут закрепощаться за областями, точно крестьяне во время оно за помещиками, и спасибо хоть за то, что одна из двух великих польских партий – ППС – разрешит нам в утешение перевести на жаргон соответствующую историческую поговорку: вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Мы не должны закрывать глаза на эту опасность. II съезд еврейского союза принял резолюцию о созыве «*всероссийского* еврейского национального собрания для установления, согласно воле *всего* еврейского населения, форм и принципов *его* национального самоопределения и основ внутренней *его* организации». *Его* – значит еврейского населения России, а не России без Польши, или без Украины, или без Литвы. Будем ли мы бороться за сейм или за другую форму организации, за «культурное» самоопределение или за автономию общинно-бытового типа – это другой вопрос, который мы, евреи, решим промеж себя; по какова бы ни была организация еврейства по объему ее компетенции, она должна охватить все еврейство России – дабы когда-нибудь, в свое время, охватить все еврейство мира. Еврей Варшавы и еврей Одессы должны иметь полную свободу союза для своих национальных задач, для своей национальной политики.

Прошлой зимою некий эпэзэсовский официоз уверял, что одни только сионисты выставляют подобные вредные требования. Следовало бы деятелям ППС и всем вообще руководителям польской политики верхов и низов отказаться и от этой иллюзии. Для Сиона или нет, для выселения отсюда или для вящего процветания здесь – но за организованную национальную самостоятельность твердо стоит теперь огромное, подавляющее большинство еврейских общественных сил. Наши польские крестители думают, будто связь между евреями разных мест выражается только в том, что одних бьют, а другие посылают им денег и старого белья, после чего битые с благодарностью выдают квитанции – и кончено. Это большая ошибка, уважаемые со-

² Чье царство, того и евреи (*латынь*).

седи! Мы не намерены довольствоваться такой припадочной солидарностью для взаимного наклеивания пластырей на застарелые раны: мы хотим установить эту солидарность навсегда, чтобы от пластырей перейти к основательному профилактическому лечению, т. е. посмотреть, нельзя ли как-нибудь избавить себя раз и навеки не только от погромов, но и от такой травли, какую сопровождалась, например, избирательная кампания в Варшаве. Как мы достигнем этой цели, через сионизм или другим путем, — это, опять-таки, отдельный вопрос, который мы, евреи, сами уже разрешим; но наши польские соседи могут быть уверены в том, что, совершенно независимо от этого решения, первым шагом еврейского народа в освобожденной России будет организация еврейских сил — всех еврейских сил огромного государства, от Вислы до Днепра и дальше.

Люди злого умысла, конечно, истолкуют эти слова так, будто мы против польской автономии. Я уже сказал, что это ложь. Даже больше: мы признаем, что в делах польского края «польский» еврей должен быть хорошим польским гражданином, должен отстаивать самостоятельность края и содействовать его процветанию. Но лишь тогда, если он сам не угнетен — если этот край со своей стороны гарантирует ему, еврею, полную свободу от польского вмешательства в его еврейском национальном деле. Как гражданин польского края, он подчиняется Польскому сейму; как гражданин еврейского народа, он руководится директивами центральных органов объединенного всероссийского еврейства. Польский народ требует свободы от гнета, и он прав; но при этом должно быть ясно и четко оговорено, что свобода Польши не может быть использована для угнетения других народностей.

Еврейская парламентская группа должна спокойно и выдержанно вести в польском вопросе эту единственно справедливую политику. Может быть, оно лучше, что от Царства Польского не прошел ни один еврей: вряд ли удобно было бы тамошнему еврею взять на себя смелость откровенной постановки вопроса. Наши депутаты, представители еврейского населения Литвы, Белоруссии и юга, могут себя в этом отношении чувствовать гораздо свободнее, и эта свобода от всякого постороннего давления поможет им, я надеюсь, сразу взять надлежащий тон, не пересаливая ни в ту, ни в другую сторону, не переоценивая ни своих, ни чужих сил. Они, конечно, примут во внимание, что идея автономии Польши пользуется известным сочувствием, и справедливо, — но они не забудут и того, что это сочувствие вытекает из общего признания национальных прав, и потому малейшая перспектива непризнания национальных прав других народностей со стороны самих поляков внутри Польши сильно подорвала бы это сочувствие. Наша парламентская группа все это взвесит и учтет, и тогда она, без сомнения, найдет пути для содействия такому разрешению вопроса, чтобы всем было хорошо и никому не обидно.

Да будет полная автономия и Польше, и Литве, и Жмуди, и Чуди; но прежде чем начнется выкраивание автономных областей, должны быть незыблемо утверждены для всей России основы демократической свободы и, в их числе, свобода национальной жизни и национального союза для всех и повсюду.

ТОЧКА НАД «І»³

В 1-м номере «Украинского вестника» проф. Мих. Грушевский говорит: «На вопрос, как широко должно быть самоуправление этих маленьких областей, – на этот вопрос, разумеется, может быть только один ответ – как можно шире!»

Почтенный автор сам, вероятно, согласится, что это слишком неопределенный ответ. Не потому, что в нем тут же не перечислены все предметы, долженствующие войти в компетенцию национально-областных автономий, а потому, что не указано, *кто же* в надлежащий момент составит это перечисление, *кто* определит эту компетенцию. «Как можно шире», говорит проф. Грушевский, но – *кто же* явится судьей в основном вопросе о том, что «широко» и что не «широко», что «можно» и что не «можно»?

Насколько известно, все народности России – кроме некоторых партий Царства Польского – согласны признать и в этом отношении верховную волю всероссийского законодательного учреждения, как бы оно ни называлось к тому времени – учредительным собранием или государственной Думой. От этого учреждения, выражающего высшее согласие и единение всех народов государства Российского, должно зависеть окончательное *утверждение* всех статусов, устанавливающих органические права отдельных областей и народностей. Но есть огромная разница между утверждением и *выработкой*. Должно ли и может ли центральное, общегосударственное учреждение взять на себя также и *выработку* этих статусов?

Вот вопрос, который, насколько знаю, до сих пор не затронут ни в одной партийной программе, кроме, как уже сказано, польских. Эти последние, в свою очередь, его разрешили бы со своим радикализмом, который многих, даже подлинных друзей польской автономии несколько беспокоит. PPS говорит о Конституанте в Варшаве; «Czerwony Sztandar» – орган PSD – напечатал недавно проект резолюции, которая будет предложена ближайшему съезду и которая, отвергая конституанту, говорит, однако, о сейме с учредительными полномочиями; наконец, недавно был напечатан проект польского демократического союза, где тоже говорится об учредительном сейме. Ни в одной из этих программ не указано сколько-нибудь определенно, подлежат ли решения этого варшавского собрания *утверждению всероссийской законодательной палатой* или, помимо последней, сейчас же становятся неприкосновенной конституцией Царства Польского? Не указано также, *где* должен быть решен трудный вопрос о правах национального меньшинства – во всероссийском учреждении, представителями *всех* племен, для *всего* государства и для Польши в том числе – или варшавским сеймом, т. е. его польским большинством, отдельно и самостоятельно для польского края?

Эти сомнения заставляют некоторых доброжелателей отнестись не без осторожности к тому крайнему характеру, которым отличается польское решение вопроса. Но именно и только к *его* крайнему ха-

³ Украинский вестник. № 7, 2.06.1906.

рактеру, а не к самому решению в принципе. По существу, польское решение есть единственно правильное: *выработка* польской автономии, от основных начал до мельчайших деталей, должна быть произведена не в Петербурге, а в Варшаве, не выборными всего государства, а выборными Царства Польского.

Этот принцип должен лечь во главу всех национальных программ. Общегосударственной палате принадлежит только верховное право окончательной санкции на самые статусы автономии Украины, Литвы. Закавказья, также как и все положения о правах отдельных национальных меньшинств могут быть выработаны только национальными собраниями Украины, Литвы, Закавказья, евреев, татар и т. д. Было бы логическим противоречием всецело предоставить центральному законодательству конструирование таких уставов, целью которых и является именно некоторая эмансипация от центральной власти и которые, таким образом, по самой сущности своей требуют разрешения «на местах», собственными силами заинтересованных групп.

Можно возразить, что в общегосударственном парламенте имеются представители всех областей и народностей и проект, скажем, эстонской автономии может быть разработан эстонскими депутатами, так что незачем созывать еще специальное национальное собрание от эстонского народа. Но такое возражение противоречило бы и принципиальному назначению государственного парламента, и фактическому положению вещей. С принципиальной точки зрения, центральный парламент в разноплеменном государстве должен выражать именно общегосударственное единство, а не национальные различия. Специфические национальные интересы должны быть изъяты из непосредственного ведения центральной палаты и переданы отдельным национально-областным сеймам или органам самоуправления национальных меньшинств именно для того, чтобы при выборе депутата в центральное учреждение избиратель мог более или менее отрешиться от своих племенных или местных выгод и считаться главным образом с интересами всего государства. Поэтому депутат центрального парламента является менее всего представителем своей народности или области: он представляет все население и всю территорию государства. Следовательно, он и формально *не может считаться компетентным* для разрешения вопросов, специально касающихся его родной области или национальности. Факты только подтверждают эти формальные соображения отвода. При выборах депутатов в общегосударственную палату избиратели вынуждены руководствоваться не только национальными программами кандидатов, но и (и часто *главным образом*) их взглядами по другим вопросам политического и социального характера. В результате, таким образом, эта группа депутатов будет верно и пропорционально отражать настроение своих избирателей по другим вопросам. Так оно случилось, например, кое-где в России. Газеты сообщают, что социал-демократы, избранные на Кавказе, «считают преждевременным» говорить об аннексии этой окраины или отдельных ее областей. Между тем мы знаем, что на Кавказе имеются сильные национально-автономные течения. Кто же знает, почему течение польское выбрало именно социал-демократов:

за их осторожное отношение к автономии или (что гораздо вернее) за их интенсивную борьбу с режимом Алиханова и Накашидзе?

Если бы центральный парламент взял на себя выработку областных и национальных статусов, ведь он очутился бы в довольно тяжелом положении: ему пришлось бы в некоторых отдельных случаях брать на себя роль судьи – арбитра между препирающимися представителями одной и той же национальности. Ибо далеко нельзя поручиться за то, что все депутаты Украины или Белоруссии окажутся единомышленниками в вопросе о желательном объеме автономии соответствующих областей. Я лично знаю украинцев с именами на *-енко*, которые вообще высказываются против выделения «Малороссии». Кто-нибудь из них за другие заслуги может случайно оказаться депутатом и заявить тогда перед парламентом свою точку зрения на автономию родного края. И было бы наивно ожидать, что эти разногласия так-таки всегда и можно будет примирить внутри украинской группы, не вынося их на парламентскую трибуну: особенно трудно в этом случае рассчитывать на уступчивость такой, например, влиятельной группы, как социал-демократы. В результате парламент может получить два или три различных мнения об автономии того или иного края из уст его же представителей: один скажет, что автономия должна охватывать, скажем, и уголовное законодательство, другой, что она должна быть гораздо уже, а третий – что и совсем никакой автономии не надо. Как же тогда поступит парламент? Должен ли он считаться с тем, за каким мнением в этой группе большинство? Но, как я уже указывал, менее всего можно ручаться, что депутаты центрального парламента верно и *пропорционально* отражают взгляды своих избирателей по национальному вопросу. Большинство депутатов может случайно выражать в этом вопросе точку зрения ничтожного меньшинства населения, и значит, население останется неудовлетворенным. Или, быть может, палата сама должна «вникнуть» и решить, кто прав, кто не прав из этих разномыслящих детей одной и той же народности, и по своему усмотрению принять взгляд хотя бы даже меньшинства? Но это значило бы предоставить решение спора наименее компетентному судье, ибо центральный парламент *in pleno*⁴ уж наверное меньше понимает в бытовых особенностях Закавказья или Эстляндии, чем даже самый худший из местных депутатов. Это значило бы просто-напросто решить судьбу народности согласно не ее собственным требованиям, а чужой и чуждой воле. Это значило бы допустить резкое отрицание того самого принципа *самоопределения*, который ведь и служит исходной точкой для всяких разговоров об автономии.

Конечно, в полном объеме принцип самоопределения означал бы именно ту крайность, до которой доходят польские партии, – означал бы полноту того, что у немецких юристов-публицистов называется *Kompetenz-Kompetenz* (право на самостоятельное установление собственной компетенции), вне всякой зависимости от верховной санкции общегосударственного законодательного учреждения. Думаю, что большинство народностей России, даже не по необходимости, а из

⁴ полностью (*латынь*).

принципиальных соображений признает, что отдельные требования народностей и областей должны быть между собою согласованы, примирены, сообразованы с общегосударственными задачами – и для этой цели должны быть переданы центральной законодательной власти на окончательное утверждение. Но сами эти требования должны исходить из единственного безусловно авторитетного источника – от национальных собраний, *ad hoc*⁵ избранных соответствующими группами населения. Здесь, внутри национального собрания, должны быть согласованы или поглощены все внутренние разномыслия, здесь должно выясниться, в каком объеме понимает и желает автономию неподдельное большинство каждой данной национальности, – и тогда перед общегосударственной законодательной властью будут уже не разноречивые мнения отдельных партий, а *национальные петиции*, точно выражающие демократическую волю народов!

Платформы всех национальных партий ближе и прямее били бы в свою цель, если бы вместо ряда конкретных требований, прецизирующих⁶ уже по существу содержание национальных прав, в них было начертано одно основное положение: «Разрешению государственным представительством всех вопросов о правах народностей и областей должен *предшествовать* созыв национальных собраний на основе всеобщих, равных, пропорциональных, прямых и тайных выборов с целью выработки национальных петиций». Это естественный и в то же время безусловно совместимый с государственным единством вывод из лозунга самоопределения, начертанного во всех передовых программах.

V

НАШИ ЗАДАЧИ⁷

Нам, как известно, предстоит общий делегатский съезд сионистов в России. Когда удастся его осуществить – другой вопрос, ответ на который зависит больше от русского начальства, чем от нас. Но мы ждать особенно не можем, и если дело затянется, придется тогда временно заместить общий выборный съезд небольшим частным совещанием из более деятельных работников. Полагаю, что такое совещание было бы весьма полезно даже наряду с общим съездом в качестве подготовки к нему, так как уж очень мы разбрелись за это время, и вряд ли нам выгодно сразу выступить пред обществом на открытой сцене большого съезда, не столкнувшись раньше приватно за кулисами. Но кроме того, полагаю, что и само по себе такое совещание могло бы иметь известный авторитет, если бы даже не удалось немедленно за ним созвать правильный съезд: общие основания нашего нового курса приблизительно одинаково, хотя и смутно, вырисовываются в сознании большинства сионистов, и организация ждет теперь не «нового слова», а просто более ясной и отчетливой формули-

⁵ специально для данного случая (*латынь*).

⁶ уточняющих (от *французского* «*préciser*» – уточнить что-либо).

⁷ Хроника Еврейской Жизни. № 23, 25–28, 15.06–20.07.1906.

ровки назревших и всем уже понятных задач. Работа почти редакционная, и если частная группа возьмет ее на себя и исполнит сколько-нибудь удачно, большинство организации будет, мне кажется, очень признательно и согласится временно принять эту программу к приблизительному руководству впредь до пересмотра ее при первой возможности на официальном съезде.

Во всяком случае, как материал для совещания или съезда я считаю небесполезным дать сжатую сводку наших ближайших задач, какими они рисуются мне и, насколько я мог выяснить, тем многим из работников нашего дела, с которыми довелось мне за последнее время сталкиваться. никоим образом не беру на себя, конечно, задачи сколько-нибудь исчерпать предмет; по некоторым насущным вопросам я вообще не компетентен, да и по остальным, которыми имел случай больше заниматься, тоже не притязаю на полноту.

Предстоящие нам задачи правильно было бы, на мой взгляд, распределить по следующим отделам:

I. Наши политические и национальные требования в России.

II. Программа ближайшей деятельности в России:

а) на общеполитической арене;

б) внутри еврейства.

III. Программа ближайшей деятельности для Палестины.

IV. Отношение к группам, выделившимся из сионизма.

V. Укрепление и приспособление нашей организации к новым задачам и условиям.

Собственно, только по первым двум пунктам я намерен здесь высказаться более подробно – не слишком нарушая, однако, условия сжатости. В остальных пунктах ограничусь отдельными замечаниями, но надеюсь, что пробел восполнят более компетентные единомышленники.

I. Наши требования в России

Близорукое мнение, будто сионистам нечего требовать в России, ибо всякий успех «здесь» противоречит сионизму, – это мнение крепко держится у наших противников, или, вернее, они за него крепко держатся и будут держаться, потому что им оно выгодно для полемики. Но среди сионистов этот взгляд можно, кажется, считать похороненным. Наше сознание вмещает и органически связует в одном построении экзод из чужбины с созидательной работой на чужбине. Надо только формулировать эту связь.

Чужбина есть чужбина и всегда ею останется, а основной признак чужбины по отношению к нам есть вытеснение. Не злая воля соседей, которую можно было бы перевоспитать, не случайные трения, которые можно было бы устранить, а сила вещей, которая не может быть изменена, гонит нас прочь, покуда мы – мы, покуда не перестанем быть собою. Эта тенденция чужбины присуща ей органически; эта тенденция неудержимо разрушает все связи, которые прикрепляют нас к почве чужбины, и делает из нас принципиальных эмигрантов.

Всякая попытка противодействовать этой тенденции, т. е. умножить или укрепить нашу связь с чужбиной, пустить корни в этой земле – бесплодна и обречена на неудачу; говоря модным жаргоном – она реакционна, потому что перечит неизбежному ходу вещей и тормозит естественное развитие еврейской истории. Мы, сионисты, наотрез отвергаем такие попытки. Исходной точкой наших требований в галуте даже мимолетно не может быть стремление «упрочить» положение еврейского народа в галуте. Исходной точкой наших требований в галуте может быть только сионизм.

Что такое сионизм? Сионизм есть идеал и будущий результат еврейской национальной политики. Национальная политика, достойная этого имени, возможна только тогда, когда нация объединена, во-первых, общим сознанием, во-вторых, общими учреждениями. Первое условие называется национализацией, второе – организацией; первое начертано в III пункте Базельской программы; второе – во II; оба эти пункта вместе представляют необходимые предпосылки национальной политики и, следовательно, монизма, и если мы не создадим их еще на чужбине, мы не выйдем из чужбины. К чему же должны свестись наши требования здесь, т. е. наша созидательная работа в галуте? К созданию этих предпосылок. Больше ничего еврейству от галута не нужно, и ничего больше галут органически не может еврейству дать. Из этого основоположения вытекает вся «платформа» сиониста по отношению к России; и так как сионизм есть обобщающий вывод из объективного положения еврейского народа в галуте и у народа в его целом поэтому фактически не может быть иных тенденций, кроме (сознательно или бессознательно, прямо или косвенно) сионистских, – то наша платформа будет нормальной платформою еврейского населения России.

В эту платформу не вкрадется ни одно требование, под которым таилась бы тенденция прикрепить еврейство к этой земле: в эту платформу войдут исключительно требования о свободе самостоятельности. Эту платформу правильно будет резюмировать так: мы не просим чужбину решить наш вопрос – мы требуем только возможности свободно решить наш вопрос нашими собственными силами. Один из недругов монизма формулировал эту платформу еще короче: «собраться... чтобы убраться». Сквозь ироническую форму он был совершенно прав. Жизнь еврейского народа в галуте есть – объективно – постоянное вытеснение, субъективно – постоянное выселение. Но последнее совершается в беспорядке, и мы желаем *организовать* это выселение. Что такое в последнем итоге еврейская «автономия», которой мы требуем? Организация выселения. Наше понимание еврейского вопроса безошибочно говорит нам, что народ наш в галуте находится на наклонной плоскости, которая не может быть никакими силами выпрямлена и по которой он неудержимо стремится вниз – вон из чужбины. Мы заботимся только о том, чтобы, во-первых, содействовать этому стремлению, внести в него план, сознательность и отчетливую ясность, и, во-вторых, облегчить еврейству этот процесс. Мы смеемся над попытками остановить катящийся под гору поезд эксода: наша задача – расчистить дорогу, проложить новые рельсы

и – насколько удастся, как полезный паллиатив, – перевести путников в более удобные вагоны.

Эту последнюю деталь нашей программы и предстоящей работы – паллиативный «подъем» еврейского благосостояния в галуте – противники наши будут особенно упорно перетолковывать по-своему. Всюду, где мы захотим улучшить условия *экзода*, они скажут: вы хотите улучшить условия *галута*! В логических выводах из нашего основного догмата они постараются увидеть противоречие нашему догмату. Надо заранее вдуматься в эти попреки отмирающих элементов еврейства, чтобы они потом не смущали нашей внутренней цельности: надо твердо усвоить принципиальную разницу между содержанием и целью *нашей* работы для «подъема» и *их* стараний в том же направлении. Разница не только в том, что для *нас* это будут явные паллиативы, а для *них* радикальные меры. Разница гораздо глубже: она в том, что для *них* объектом «подъема» будет еврей как *оседлый житель* чужбины, то есть фикция, и к воображаемым потребностям этой фикции будут они приспосабливать свою работу – между тем как для *нас* объектом «подъема» будет еврей реальный, еврей как принципиальный *эмигрант*, и все наши мероприятия будут приспособлены к реальным условиям национального экзода. Там, где *они* бесплодно будут мечтать о полной хозяйственной натурализации еврея в экономическом организме чужбины, – там пред *нами* будет лишь трезвая задача смягчить, насколько возможно, угловатости вытесняющего поршня, промывать и бинтовать раны, неизбежно наносимые его толчками, поддерживать и восстанавливать лекарственными способами народные силы, убывающие на тяжелом пути экзода. *Они* захотят остановить экзод, *мы* захотим сделать его, насколько можно, безболезненным. При благоприятных условиях может случиться, что в этом направлении мы достигнем полной удачи и к концу эпохи экзода народ наш окажется несравненно более здоровым духовно и материально, чем теперь. Мы пламенно желаем такого результата. Но достигнуть его можно только при том условии, чтобы работою «подъема» руководило не утопическое стремление «опочвить» еврея на чужбине, а сознательное желание подкрепить странника на пути и *для* пути. Чтобы принести пользу еврейскому организму, каждый кусок здешнего хлеба должен быть, как соль, пропитан сознанием чужбины, экзода, сионизма⁸.

⁸ Элементарное требование равноправия стоит совершенно в стороне от всех этих соображений: в этом требовании, по существу, нет вообще ничего политического. Я уже указывал однажды на то, что вопрос о нашем бесправии, по всей справедливости, следовало бы отнести к области частного права, а не публичного. Граждане содержат государство кровью и податями только ради тех прав, которые оно им гарантирует; и если одна категория граждан, отягощенная всеми повинностями, лишена части элементарнейших прав, то это, в сущности, недостойно даже названия политического гнета: это просто один из видов незаконного присвоения чужой собственности – отказ от выдачи товара, за который деньги сполна получены. Это кажется парадоксом, но, в сущности, если бы в России было правосудие, нам следовало бы добиваться равенства перед законом не в порядке законодательной реформы, а в порядке гражданского иска. – *Вл. Ж.*

II. Национально-автономные права

На первом месте нашей платформы должно быть выставлено требование Национального Собрания. В нескольких полемических заметках я уже пытался выяснить разницу между Национальным Собранием и национальным «сеймом». Общего между ними только то, что и первое, и второй представляют собою съезды выборных от еврейского населения; но «сейм» есть постоянный орган автономии, орган, функционирующий по определенным принципам; тогда как Национальное Собрание должно еще только выработать эти принципы автономии, учредить этот постоянный орган. Разница приблизительно та же, что между обыкновенным парламентом и учредительным собранием.

Национальное Собрание потому необходимо, что только оно может с полным авторитетом выработать национальные требования евреев в России. У разных еврейских партий эти требования то сведены до минимума и далее до нуля, то раздуты до утопических размеров. Вынести эти разногласия на трибуну всероссийского парламента (или всероссийского учредительного собрания) значило бы предоставить разрешение этого внутреннего спора не евреям, то есть резко погрешить против принципа самоопределения. Это разномыслие должно быть соглашено или поглощено еврейским Национальным Собранием, и решение последнего должно быть представлено всероссийскому парламенту как единая национальная петиция.

Поэтому и наша сионистская платформа прежде всего должна быть обращена к Национальному Собранию, и только через него к парламенту России. Нашей первой задачей должно быть проведение всех наших требований через Национальное Собрание, чтобы они были представлены всероссийской законодательной власти не как платформа одной партии, а как платформа всего еврейского населения. Только в случае полной невозможности по тем или иным причинам созвать Национальное Собрание до разрешения национальных вопросов во всероссийском парламенте — только в этом случае пришлось бы и нам скрепя сердце выступить со своими требованиями сразу перед Россией, не получив на них заранее санкции еврейства. Но все наши усилия должны быть направлены к тому, чтобы выработка принципов еврейской национальной автономии была предоставлена Собранию выборных от еврейского населения России и только петиция этого Собрания была представлена на утверждение имперского парламента.

Конечно, созыв Национального Собрания может и должен быть, прежде всего, делом самого еврейства. Необходимо его осуществить независимо от того, будет ли к тому приглашение со стороны государства или нет. В этом смысле я буду говорить о Национальном Собрании дальше — под пунктом о ближайшей деятельности внутри еврейства. Но именно потому, что созыв Национального Собрания есть национальная необходимость, мы должны заранее обеспечить ему надлежащее признание со стороны законодательного института империи. Мы должны добиться того, чтобы принцип национальных собраний был вообще принят руководящими партиями России как единственный метод для разрешения национальных проблем. До сих пор ни в одной

программе – кроме польских – метод не указан.⁹ Кто установит юридические пределы и формы отдельных автономий? Центральный парламент для всех или каждая заинтересованная группа для себя через собственное выборное собрание? Мы должны отстаивать последнее, не отрицая, понятно, за всероссийским парламентом верховного права на согласование и окончательное утверждение отдельных областных и национальных статуты. Вот почему, наряду с непосредственными действиями для осуществления Национального Собрания волею самого еврейства, мы должны одновременно включить этот лозунг в нашу политическую платформу и пропагандировать среди других политических групп как естественный и необходимый вывод из принципа национального самоопределения.

Формулировать этот пункт нашей платформы я попытаюсь ниже, вместе с другими пунктами, относящимися уже до существа наших национальных прав. К этому существу я и перехожу.

В том, что принято понимать под общим ярлыком национальных прав, следует различать *отдельные* категории. Для цели моего изложения достаточно установить две, хотя при более строгом анализе это число надо было бы еще удвоить. К первой категории относятся права народности на самостоятельное ведение своих национальных дел. Здесь народность требует от государства только одного: уступи мне эти функции и предоставь мне самой их осуществлять! В эту категорию входит «самоопределение» в собственном и тесном смысле слова; мы будем называть эту категорию органических прав народности «*национально-автономными правами*». Вторая категория касается, наоборот, именно тех функций, которые остаются и должны оставаться в руках государства. Народность не претендует вырвать эти функции из компетенции государства, но требует для себя, во-первых, участия в их осуществлении, во-вторых, чтобы само государство, осуществляя их, постоянно считалось с ее интересами. Сюда относится то требование, чтобы в своих сношениях с членами данной народности государство пользовалось ее национальным языком или чтобы члены ее имелись в личном составе центрального парламента и бюрократического аппарата. Эта категория, таким образом, относится не к той области, в которой член данной народности желает быть свободным от вмешательства государства (*Staatsfrei*⁹ у Шпрингера), – а напротив, к той области, в которой он тесно связан с государством разнообразными отношениями гражданства (у Шпрингера – *Staatsbürger*¹⁰, *Staatsuntertan*¹¹ и пр.). Поэтому, в отличие от первой группы, мы эту категорию назовем «*национально-гражданскими правами*».

В разных еврейских программах все это свалено без разбору в одну кучу: права языка попадают в одну рубрику с автономией школ, представительство меньшинства за одну скобку с автономией общин и т. д. Мы должны впервые рассмотреть *обе* категории отдельно.

Важнее для нас, конечно, первая. Национально-автономные права – это и есть санкционированная форма той организованной самостоятель-

⁹ свободный от государственного принуждения (нем.)

¹⁰ гражданин государства (нем.)

¹¹ подданный государства (нем.)

ности, логическим завершением и обобщением которой естественно явится восстановление нашей национально-территориальной государственности. Но каков должен и может быть объем этих прав? В каких вопросах, в каких областях своей жизни должно и может еврейство диаспоры добиваться автономии? В этом отношении, как известно, существуют большие разногласия. Отбрасывая взгляды прямых ассимиляторов, мы можем отнести все прочие оттенки к двум главным подразделениям: с одной стороны – так называемая «культурная» автономия, проповедуемая Бундом, с другой стороны – так называемый «политический» сейм возрожденцев. В этой статье не место для подробной критики чужих программ, и потому я ограничусь немногими соображениями об этих двух лозунгах. Первый представляет из себя одно сплошное недоразумение, начиная с названия. «Культурой» в научном смысле называется решительно все, что исторически создано и накоплено человеческим творчеством как в области духовной, так и материальной (смотри хотя бы Липперта). Если даже сузить понятие «культуры» до одной лишь духовной стороны, то и тогда в это понятие войдут, например, все общественно-правовые нормы, то есть законодательство. Поэтому в истинном смысле «автономия в делах культуры» означала бы нечто гораздо более широкое, чем то, что действительно имеется в виду Бундом. Бундовский рецепт правильнее было бы назвать «автономией в делах народного просвещения». Но и под исправленным ярлычком этот рецепт остается, по существу, недоразумением, вытекающим из неправильного диагноза национальной болезни. Ненормальное положение евреев в диаспоре выражается, главным образом, не в стеснениях еврейской школы и литературы, а в политическом бесправии (законном и незаконном), общественном угнетении (выражающемся иногда в кровавых формах) и хозяйственном вытеснении. На все это автономия школ и музеев не дает никакого ответа. Почти так же, хотя в другом смысле, несостоятельна и «политическая автономия возрожденцев. Что значит «сейм с политическими функциями»? Термин «политика» употребляется в двух значениях: во-первых, можно говорить о «политике» в смысле моего планомерного воздействия на внешние, мне не подчиненные *силы* с целью добиться у них определенных выгод (в просторечии это называется «делать политику»; для нас, сионистов, в эту категорию входили бы сношения с правительствами, партиями, учреждениями, «дипломатия» и т. п.); во-вторых (и это истинный смысл), политической функцией выборного учреждения называется преимущественно его законодательная деятельность, его право издавать обязательные правила поведения для субъектов, ему подчиненных. Тем и отличается понятие «областного самоуправления», которое лишено политического характера, от понятия «областной автономии», которому политический характер безусловно присущ, что вторая включает право законодательства. В каком же из этих двух значений употребляют возрожденцы термин «политических функций» в применении к еврейскому сейму? Ясного ответа мы в их литературе не находим... Если речь идет о праве «делать политику», то нет никакого сомнения, что вести национальную политику евреям необходимо, но эта функция вряд ли поддается, по крайней мере, в нашем случае, юри-

дическому санкционированию – и, с другой стороны, она не может быть присвоена сейму как таковому. Разве парламенты «ведут политику»? Вести политику поручается исполнительным органам, которые для этой роли нуждаются не в формальном праве на «делание политики», а в формальном праве на заключение юридически значительных договоров. В нашем случае речь может идти только о договорах имущественного характера (о приобретении или продаже земель, зданий, транспортных средств, концессий и т. п.). И действительно – нам необходимо добиться формального признания за еврейской народностью в лице ее органов права на приобретение имуществ и концессий как внутри, так и вне России. Опираясь на это право, наши исполнительные органы получают полную возможность вести плодотворнейшую политику, но это еще не дает повода говорить о «политической» автономии. Если же возрожденцы имеют в виду «политический сейм» в настоящем смысле термина, то есть сейм с правом издавать для евреев правила общежития, то для безземельной народности это, по-моему, чистая и бесполезная утопия. Пространно доказывать это теперь не буду – сошлюсь только на нивелирующий характер современного хозяйства, который с трудом терпит исходные правовые нормы даже на соседних территориях (оттого и введен единый гражданский кодекс для всей Германии) и совершенно не потерпит их на одной территории. «Dina de-malchuta dina»¹² – этот железный закон галута поняли еще талмудисты, и сила здесь даже не в злой воле наших территориальных хозяев, а просто в объективной невозможности, так что если бы евреям даже дали сейм с полными правами законодательства, они сами не знали бы, какие для себя законы сочинить, кроме законов страны или области. Ибо законы страны или области являются выражением тех объективных, общественных и хозяйственных условий, в которых живет все население края и, значит, евреи тоже. Других законов быть не может. Есть, конечно, исключения – именно те правовые нормы, которые касаются интимнейших сторон национального быта, *тесно* связанных с национальной психикой и национальным культом. Таких исключений много, кажется, у мусульман, у евреев же я знаю только один пример – наше брачное право, о котором я буду особо говорить ниже. В этих немногих областях безземельная народность может и должна добиться права на сохранение и развитие собственных бытовых норм, независимо от соответствующих законов края, – да и то лишь потому, что эти самобытные нормы сохранились и фактически существуют. Вообще, в смысле «внутреннего законодательства» можно только сохранить то, что уцелело, – сохранять и, пожалуй, ремонтировать от времени до времени эти рудименты, но за пределами этих тесных рамок никакое экстерриториальное правовое творчество положительно немыслимо. А сейм, издающий законы о браке, но не могущий законодательно влиять ни на взаимоотношения работодателя и работника, ни на условия владения и отчуждения, вообще ни на одну из важнейших сторон современного общежития, –

¹² Закон страны – это закон (*арамейский*). Закон страны, в которой проживают евреи, обязателен, а в некоторых случаях даже предпочитается еврейскому закону. Это не распространяется на сферы религиозной и семейной жизни.

такой сейм не может называться «политическим», и автономия, которой он служит органом, не есть политическая автономия.

Это и надо установить, твердо и раз навсегда: каковы бы ни были размеры диаспоральной автономии в смысле количества охватываемых ею функций, *политического характера эта автономия не может иметь*. Поэтому к ней, в сущности, даже неприменимо самое имя «автономия», ибо когда говорят об автономии Польши, Грузии, вообще какой-нибудь области, имеют в виду, как я уже указывал, чисто политическую конструкцию, в отличие от неполитического самоуправления. Таким образом, правильнее было бы и нам говорить лишь о «национальном самоуправлении». Если я здесь тем не менее повторяю термин «автономия» в применении к евреям, то это с моей стороны простая дань установившемуся обывательскому словоупотреблению. Но читатель постоянно должен помнить, что говорить о диаспоральной автономии* можно только в том ограниченном смысле, в каком говорят об автономии университетов, корпораций и т. п. Что же касается до центрального органа этой «автономии», то к нему совершенно не подходит имя «сейм». Термин этот употребил несколько раз и я в других статьях по данному вопросу; но более внимательное изучение привело меня к уверенности, что ни в истории, даже ни в словоупотреблении нет прецедента, который давал бы нам *право* называть «сеймом» орган, не имеющий политических полномочий. Поэтому в дальнейшем изложении всюду, где мне придется упоминать о центральном органе национального самоуправления, я буду употреблять термин «*ваад*», предложенный С. М. Дубновым на 11-м съезде союза полноправия и имеющий вполне определенное и вполне подходящее историческое содержание (см. «*Vaad arba aracot*»¹³).

Необходимо, таким образом, подчеркнуть и запомнить, что еврейская автономия не может выразиться в праве издавать какие бы то ни было обязательные постановления для еврейского населения, кроме принудительного обложения на национальные нужды. Еврейская автономия может выразиться только в праве учреждать и поддерживать в пределах законной компетенции соответствующие институты и корпорации, издавать для них уставы и инструкции, приобретать нужные для этой цели имущества и, следовательно, взыскивать необходимые на то налоги. Это – все, что объективно возможно в смысле национально автономных прав для народа в диаспоре. Это надо иметь в виду при обсуждении даже такого робкого проекта, как «культурная» автономия Бунда: и в этой узкой области возможно только создавать соответствующие институты, а не издавать законы для населения. Можно устроить еврейскую школу, но нельзя приказать евреям учиться обязательно в этой школе, а не в инородческой, ибо это противоречило бы всем нашим понятиям о гражданской свободе. Точно

* Не надо смешивать «автономию» с той принципиальной «автономностью» еврейского народа в галуте, о которой я говорил в XI книжке «Еврейской жизни» за прошлый год. «Автономность» – фактическая историческая тенденция, «автономия» – юридическая конструкция, которая нуждается в формальной санкции. – Вл. Ж.

¹³ Совет четырех земель (*иврит*).

так же нельзя обязать евреев лечиться непременно в еврейских больницах или эмигрировать непременно туда, куда советует эмиграционное бюро, содержимое официальными органами еврейской автономии. Все эти вопросы решительно не поддаются принудительной регламентации. Но (и в этом суть дела) они в ней и не нуждаются. Органы национальной автономии, избираемые всем еврейским населением на строго демократических началах, будут естественным образом выражать и обслуживать реальные потребности масс и, следовательно, учреждать лишь те институты, которые вызываются этими реальными потребностями. Вместо принудительных постановлений здесь будет действовать нечто гораздо более сильное – объективная необходимость, и вся самостоятельность организованной нации должна будет выразиться именно и только в том, чтобы созданием целесообразных учреждений помогать естественному развитию этой исторической необходимости.

Этим же критерием исторической необходимости, проявляющейся в объективных данных, должны мы руководиться и для точного установления так называемой «компетенции», то есть желательного содержания наших национально-автономных прав. Можно, конечно, установить это содержание и обратным путем, посредством дедукции, исходя из сионистского понимания еврейской действительности. Но к еще более наглядным выводам приведет нас путь индуктивный, анализ этой действительности. Мы должны опираться на то убеждение, что если объективная необходимость действительно требует от еврейства самостоятельности в определенных направлениях, то зародыши этой самостоятельности должны были возникнуть сами собой. Политический гнет мог задержать их развитие, мог их изуродовать, но в принципе все основные тенденции еврейской исторической «автономности» должны были хоть слегка наметиться на фоне еврейской общественной жизни. Вскрыть путем анализа эти основные тенденции и придать им правильную формулировку — это и значит установить содержание или «компетенцию» еврейской национальной автономии в диаспоре.

Для проверки результатов такой индукции есть прекрасное средство: сравнить их с выводами, полученными путем дедуктивного рассмотрения того же вопроса. Если, с одной стороны, сионистское понимание еврейской действительности правильно; если, с другой стороны, анализ еврейской общественности произведен нами с надлежащей вдумчивостью – тогда результаты дедукции и индукции должны совпасть. Ограниченный размерами этой статьи, я не могу здесь воспроизвести во всех подробностях это двухстороннее исследование еврейской действительности, но из немногих указаний сам читатель, быть может, увидит, что в нашем случае действительно получается полное совпадение выводов дедукции с данными индуктивного изучения. В самом деле, идя дедуктивным путем и исходя из сионистского взгляда на всю историю диаспоры как на одно сплошное «шествие в Сион», мы логически приходим к выводу, что разумная организованная национальная самостоятельность должна ставить себе задачи, соответствующие этой исторической тенденции, то есть, во-первых – целесообразное *просвещение* народа, которое давало бы в результате и высокую культуру, и ясное нацио-

нальное сознание; во-вторых – создание конкретных условий для реализации сионизма, или, иначе говоря, правильную *колонизационную деятельность*; в-третьих – паллиативное противодействие обнищанию и вырождению вытесняемого еврейства, или, выражаясь обычным термином, так называемый «подъем», средствами для которого являются рациональные работы в области *народного здоровья, общественного призрения и экономической взаимопомощи*. В этом перечне имеется, таким образом, пять рубрик (я их отметил курсивом); и, если мы затем перейдем к анализу еврейского общественного быта, мы убедимся, что все отдельные проявления национальной самостоятельности (за исключением только области религиозного культа, о которой будет речь особо) действительно вполне укладываются в эти основные рубрики. Мы увидим, что национальная самостоятельность создала, с одной стороны, свои школы, с другой стороны, свои просветительные организации – все это зародыши, говорящие о тенденции к автономному заведению делами национального *просвещения*. Мы увидим, что национальная самостоятельность создала свои больницы, а кое-где даже более характерные институты, вроде еврейских санаторных ферм на юге России: все это зачатки, из которых должно развиваться правильное попечение о *народном здравии* под руководством и на средства органов национальной автономии. Значительный процент безработных – неизбежное следствие вытеснения – всегда требовал от евреев особой энергии в смысле благотворительности: эта благотворительность, рационально поставленная, то есть перенесенная с шатких плеч отдельных жертвователей на прочную спину национального целого, может превратиться в планомерную организацию *общественного призрения*, с целой системой страхования на случай старости, болезни и т. п. Равным образом различные мелкие общества беспроцентных ссуд, общества погребения и т. п., при всей их неказистой внешности, суть не что иное, как эмбрионы, доказывающие, что национальная самостоятельность *инстинктивно* стремилась выработать формы экономической *взаимопомощи*, и эти несовершенные формы в руках официальных органов национального самоуправления могут развиваться в густую сеть кредитных учреждений, потребительных товариществ и тому подобных институтов, сеть, которая поможет еврейству с наименьшим уроном переносить процесс экономического вытеснения. Наконец, та же национальная *самостоятельность* создала несколько обществ для колонизации – явный признак, что в содержание национальной автономии должно войти также и право на регулирование эмиграционного и переселенческого движения, как путем создания справочных учреждений, так и путем материального содействия – то есть, одним словом, *колонизационная деятельность*, которая в руках демократически избранных органов национальной автономии не замедлит принять под давлением сионистов характер, наиболее соответствующий интересам национального целого.

Дедукция и индукция приводят нас, таким образом, к одним и тем же пяти областям национального самоуправления. Со стороны ассимиляторов последуют, конечно, возражения, что все или некоторые из этих областей необходимо денационализировать, что заботы о народном здравии, общественном призрении, взаимопомощи и даже регули-

рование эмиграции должны находиться в руках «общих» органов, а не национальных и если до сих пор существовала у евреев обратная тенденция, то виновато самодержавие и т. д. Но со стороны сионистов, для которых достаточно ясен совершенно особенный, чисто специфический характер еврейской экономики, еврейского физического вырождения и еврейской эмиграции, характер, безусловно требующий особых методов и, следовательно, особых органов – со стороны сионистов вряд ли можно ожидать возражений этого рода, почему я здесь на них и не останавливаюсь. Скорее возникнет у наших единомышленников вопрос не о желательности, а об осуществимости – обычный вопрос: дадут ли нам эти права? Я и на этом пункте не буду останавливаться, так как считаю, что при редактировании политической платформы надо сообразоваться прежде всего с принципиальной необходимостью, а не с гадательными предположениями о том, что «выгорит» и что «не выгорит». Но лично я безусловно убежден, что осуществление и официальное признание еврейской «автономии» в этом объеме при нынешнем положении вещей в России нисколько не выходит из пределов безусловно достижимого. Не надо забывать, что и в российской Польше, и в некоторых государствах Запада еврейские общины пользуются правами принудительного обложения на дела «благотворительности», а под этим термином скрываются (конечно, в зачаточном состоянии) по крайней мере три из этих пяти рубрик, которые я выше установил: народное здравие, призрение, взаимопомощь. К этому присоединяется право учреждать конфессиональные школы, аттестаты которых имеют официальное значение. Нам, конечно, необходимо все это расширить и усилить, перенести с «конфессиональной» почвы на почву национальную, вместо разрозненных общин провести принцип единого всероссийского еврейства и добиться формального признания этого принципа – но, в сущности, все это будет лишь развитием того, чего без труда в свое время достигли наши западные братья, при несравненно меньшей национальной активности. Несколько ново здесь только одно – право на автономное заведование делами эмиграции и переселения. Но именно в России я не жду особенных возражений против этого требования. Поскольку речь идет об эмиграции за границу, нам безусловно и охотно развяжут руки. Но и что касается до «переселения», то есть эмиграции во внутреннюю Россию, то и здесь я не предвижу трудностей. Дело в том, что основным моментом равноправия общественное мнение России считает отмену черты оседлости, то есть, иными словами, констатирует у евреев большую потребность к переселению во внутренние области. Так ли в самом деле велика эта потребность – это особый вопрос, которого я здесь не разбираю; здесь для нас важно то, что общественное мнение России считает право на внутреннюю эмиграцию одной из наших насущнейших нужд. Но в таком случае бесспорно есть шансы, что оно без особых трудностей признает за нами также право на самостоятельное (конечно, под контролем государства) *регулирование* этого передвиженья в смысле рационализации и упорядочения. Это тем более осуществимо, что и здесь может идти речь, повторяю, только о создании институтов информационного характера и о приобретении имуществ. Но все это в скобках; для нас, сионистов,

эта сторона эмиграционного вопроса имеет наименьшее значение. С нашей точки зрения, важно включить в национально-автономные права пункта о регулировании заграничной эмиграции, а уж в этом отношении нас меньше всего пожелают стеснять.

Читатели, конечно, заметили, что в наших пяти рубриках нет одной существенной отрасли еврейской духовной жизни: я не упомянул о религии. По воззрениям народного большинства, она, несомненно, должна составить шестую рубрику наших национально автономных прав, и органы нашей автономии, согласно этим воззрениям, должны взять на себя также заведование институтами религиозного культа — содержать синагоги, оплачивать труд кантора, хористов, проповедника и т. д. Так дело поставлено, конечно, и на Западе, где весь *raison d'être*¹⁴ еврейской общины в ее религиозном характере. Я почти не сомневаюсь, что народное большинство потребует того же и у нас. Для огромного большинства синагога все еще субъективно такая же потребность, как больница или школа, если не больше. За так называемую «лаизацию», то есть за полное исключение религии из ведения автономных органов, выскажется, вероятно, слабое меньшинство. Это и есть один из тех вопросов, которые могут быть решены только Национальным Собранием, где ясно выразится, на чьей стороне перевес. Но мы, сионисты, заранее должны решить, какую из двух точек зрения будем поддерживать мы. Вопрос надо разобрать совершенно независимо. Нет смысла заранее покориться мнению предполагаемого большинства, если мы сами сторонники лаизации: в том и состоит данность всякого голосования, что каждый и высказывает свой собственный взгляд, не стараясь угадать большинство и примкнуть к нему. Я допустил эту ошибку в своей статье «О нашей платформе» (1905, XI кн.), включив в функции «сейма» заведование вероисповедными делами. Не сомневаясь по-прежнему, что народное большинство так именно и пожелает — и мы покоримся, — я теперь, однако, думаю, что сионисты как таковые должны поддерживать в агитации и в Национальном Собрании полное отделение религии от национальности. Органы национального самоуправления ведают исключительно дела светского характера; институты культа могут содержаться па частные средства верующих. Во всяком случае, каково бы ни было мнение других наших единомышленников по этому поводу, вопрос о включении в нашу платформу шестой рубрики должен быть категорически решен в ту или иную сторону на ближайшем нашем съезде¹⁵.

Следуют еще два кардинальных и спорных вопроса, которые должны быть окончательно разрешены съездом сионистской органи-

¹⁴ разумное основание (*франц*).

¹⁵ Здесь будет кстати упомянуть об одном побочном вопросе, не входящем в систему национально-автономных прав, но важном для нас самих. По какому признаку устанавливается принадлежность к еврейской народности? Полагаю, что совершенно независимо от того, войдет или не войдет область культа в компетенцию национального самоуправления, еврейство должно признать за своими членами полную свободу религиозной совести. Принадлежность к еврейской национальности должна устанавливаться личной декларацией безотносительно к вероисповеданию данного лица. — *Вл. Ж.*

зации в России. По разным причинам я здесь ограничусь только постановкой этих вопросов, без своего личного ответа, оставляя за собою право более определенно высказаться в другой раз. Первый из них касается обложения. Оно может быть организовано двумя способами: путем собирания национальных налогов непосредственно с обывателя или путем пропорциональных ассигновок из общей (государственной, областной или городской) кассы. И в том и в другом случае обложение имеет принудительный характер, причем, конечно, в первом случае квитанция национального налога освобождает обывателя от уплаты соответствующей доли общих налогов. Оба способа имеют свои достоинства и свои неудобства; так, первый требует очень сложной организации и регистрации податного дела, зато второй вынуждает местное национальное меньшинство подчинять свой бюджет бюджетным нормам большинства и расходовать, например, в области просвещения ровно столько же рублей на душу, сколько расходует большинство, хотя у меньшинства могут оказаться более развитые культурные потребности. Возможен и третий способ, состоящий в сочетании первых двух: национальные органы получают пропорциональные ассигновки из общих касс, но имеют право непосредственного дополнительного обложения, неограниченного или с установленною предельностью. Однако и этот способ гарантирует не всякое меньшинство. Для примера возьмем любой городок Литвы, где евреи составляют большинство, что, конечно, должно отразиться и в муниципалитете; этот муниципалитет устанавливает местное обложение на школьные нужды сообразно потребностям еврейского большинства, тогда как христианское меньшинство, быть может, гораздо скромнее в своих культурных запросах и должно, таким образом, переплачивать¹⁶. Словом, проблема о способах национального обложения нуждается еще в специальной разработке для того, чтобы решение нашего будущего съезда могло быть принято с полным знанием дела и предложено Национальному Собранию в качестве бесспорно лучшего из возможных ответов на этот вопрос.

Менее специальным, но гораздо более ответственным является вопрос о самих органах нашей «автономии». Кратко формулировать этот вопрос можно так: община или «ваад»? Кто должен быть официальным носителем, субъектом национально-автономных прав: каждая местная еврейская община в отдельности или всероссийское еврейство как единое целое? Для нас, сионистов, ответ ясен; но именно в этом вопросе допустимо некоторое сообразовавшее с тем, что с большим вероятно может быть достигнуто. С этой точки зрения многие сионисты выскажутся за общину, в предположении, что государство легче согласится официально признать эту маленькую ячейку, чем единую сплоченную народность в пять с половиною миллио-

¹⁶ Надо вообще иметь в виду, что в принципе диаспоральной автономии заинтересованы не одни евреи. При демократическом строе и развитии муниципальной жизни окажется много городов и местечек, где евреи будут хозяевами и о гарантиях национального меньшинства придется думать русским и полякам. С этим надо сообразоваться при подсчете наших шансов на «автономию». — *Вл. Ж.*

нов душ; единство же нации может быть потом осуществлено помимо государства, посредством формального всероссийского союза еврейских общин, с особым центральным органом – союзным советом, которому общины формально передадут известную часть своих прав. Если бы восторжествовало это мнение, то необходимо было бы добиться включения в устав национальных общин ясно выраженного права вступать между собою в союзы на всем пространстве России, без различия областей (считая, значит, и Польшу), далее права избирать представителей в центральный орган такого союза не от общинных советов, а непосредственно от населения, всеобщим и прямым голосованием, также права формально делегировать этому органу свои полномочия – в том числе и право петиций и т. д. Все это действительно дало бы нам *некоторый* суррогат «ваада». Но нельзя скрывать от себя, что несравненно большее принципиальное и конкретное значение имело бы для нас признание еврейской народности как таковой с выборным центром как ее представителем, выразителем ее национальных требований и носителем ее национальных прав, которые он уже от себя передает отдельным общинам. Я не нахожу, чтобы политическая конъюнктура – насколько можно судить о ней по нынешним признакам – не давала нам никакого права рассчитывать и на такое признание. Что кроме поляков – вся *Россия* признает еврейство *нацией*, это бесспорно; от признания нации до признания ее национального единства один шаг, хотя, пожалуй, и крупный шаг. Лично я, безусловно, высказываюсь за то, чтобы в качестве основного пункта нашей платформы был выдвинут «ваад»; но подробно мотивировать это мнение сейчас не буду и только повторяю, что это – едва ли не важнейший из вопросов, которые нашему съезду предстоит разрешать.

* * *

Этим, собственно, исчерпывается серия вопросов, непосредственно относящихся к категории национально-автономных прав, и можно было бы резюмировать и перейти ко второй категории – к нравам национально-гражданским. Но здесь наше внимание должны остановить на себе два промежуточных пункта, которые, безусловно, не могут быть включены в эту вторую категорию, но в то же время не вполне подходят и к содержанию первой группы. Это – вопрос о еврейском брачном праве и об организации нашей судебной инстанции.

О брачном праве я уже упоминал. Это – именно та узкая, но существенная область, в которой народные массы, безусловно, не пожелают подчиниться случайностям территориального законодательства и где поэтому необходимо добиться сохранения национальных правовых норм. Достаточно указать на то, что в Италии евреи не имеют права развода, потому что общий гражданский кодекс, которому они подчинены, вообще не признает расторжения брачного союза, кроме совершенно исключительных случаев. Надо помнить, что и в России мы сохранили право развода (который до последнего времени был почти недоступен для православных) только благодаря отсталости русского

законодательства, которое рассматривает брак преимущественно как институт религиозного характера, а в религиозном отношении мы и в России автономны. При переработке российских законов на современный лад брак, несомненно, будет целиком водворен на свое надлежащее место – в область законов гражданских, которым должны будем подчиняться и мы. Это ставит нас в области брака и развода в полную зависимость от образа мыслей окружающего населения. Правда, в коренной России мы от этого не пострадаем, так как по всему видно, что русская демократия скажет свое слово и в области брачного права. Но что будет в автономной Польше? В большинстве католических стран принцип развода встречает или встречал большие препятствия в клерикальном настроении масс; есть основания полагать, что так будет и в Польше. Между тем нет надобности доказывать, насколько важно евреям сохранить институт развода. Это осуществимо только путем формальной передачи всех вопросов об утверждении и расторжении брачных союзов между евреями в руки органов национального самоуправления с правом руководствоваться при этом установившимися национальными нормами, а также по мере надобности приспособлять эти нормы к новым потребностям населения. Конечно, о последнем, то есть о праве на изменение норм, речь может идти только при наличности единого центрального органа; отдельным общинам может быть предоставлено только точное применение установившегося еврейского брачного права, но не больше.

Вопрос о правах национальности в области суда многие целиком сводят к вопросу о языке и дают разрешить его посредством закона о том, что судья должен знать местные наречия. Это, однако, не есть полное решение вопроса не только с точки зрения националиста, но прежде всего с точки зрения разумной постановки правосудия. Чтобы хорошо судить, судья должен знать не только язык населения, но и быт населения, и его душу, и его особые традиции, и его особые болячки. Это особенно необходимо для низшей судебной инстанции, ибо ей-то и приходится разбираться в тех мелких столкновениях, которые тесно связаны с интимнейшими бытовыми чертами данной группы населения. Поэтому – повторяю, не с национальной, а просто с рациональной точки зрения, безусловно, желательно, чтобы в тех случаях, где обе стороны принадлежат к одной народности, судья был их единоплеменником. Индуктивное рассмотрение еврейской общественности указывает нам, что и в этом отношении национальная самостоятельность выработала своеобразный институт «даяна», который в глубине местечек еще доньше разбирает не только религиозно-кухонные *schaalot*¹⁷, но и настоящие тяжбы и жалобы. Отбрасывая нынешнюю клерикальную форму этого института, мы можем развить его здоровое ядро в следующее требование: еврейское население избирает своих судей, которые ведают гражданские и уголовные дела между евреями в одинаковых пределах и на равных правах с общими мировыми судьями. Это требование не может встретить особенного противодействия прежде всего потому, что в нем даже для

¹⁷ вопросы (*иврит*).

нынешнего русского законодательства нет ничего нового. Русский закон признает (для гражданских дел) третейского судью, избираемого сторонами *ad hoc*, и решения этого судьи имеют обязательную силу. Мы должны только придать этому институту постоянный характер, распространять его компетенцию на уголовные дела и включить расходы на его содержание в бюджет местных органов национального самоуправления. Законы, по которым этот судья должен будет судить, будут, конечно, законы государства или области; но вообще в современном законодательстве существует тенденция как можно меньше стеснять судейскую совесть, особенно в уголовных делах, предоставляя судье значительный простор в определении виновности и выборе кары. Эта тенденция отразилась даже на новом русском уложении. Имеются, таким образом, довольно широкие пределы, в которых судья, не нарушая закона, может приспособить его к бытовым условиям еврейского населения; в этом отношении органы национального самоуправления могут, рассматривая судей как один из своих институтов, издавать для них инструкции, не противоречащие, конечно, законам государства и области. Впрочем, право издания инструкций для еврейских судей может быть опять-таки признано только за «ваадам»: предоставить это право, за неимением центрального органа, отдельным общинам значило бы ввести разногласицу. Для общин мы можем требовать только права на содержание еврейских судей из средств общинного бюджета.

Считаю нужным опять напомнить, что о специальных еврейских судьях может идти речь только для разбора дел между евреем и евреем. Дела, где стороны принадлежат к разным национальностям, относятся, конечно, к компетенции местного «общего» судьи. Для того чтобы гарантировать себя в этих случаях от национального пристрастия, необходимо провести принцип, согласно которому в составе апелляционных и вообще всех коллегиально-судебных инстанций имелись бы члены разных национальностей, соответственно составу местного населения. Но этот вопрос, касающийся распределения должностей, относится уже ко второй категории – к правам национально-гражданским. Что касается до категории национально-автономных прав, то ее содержание представляется мне теперь исчерпанным.

Резюмируя это содержание, мы получаем следующие основные положения:

Носителем национально-автономных прав еврейского населения признается или община, или «ваад», причем как органы общин, так и «ваад» избираются на основе четырехгранной формулы с представительством меньшинства. Если община, то ей присваивается на всей территории государства право договора и союза с другими еврейскими общинами для совместного осуществления всех задач, законно входящих в общинную компетенцию; если ваад, то ему принадлежит право конституировать местные общины и передавать им свои права. В качестве представителя еврейского населения этот орган – община или ваад – имеет право обращения к власти судебной (право жалоб), исполнительной (право представления) и законодательной (право петиций). Орган имеет право обнародовать обращения к евреям (пра-

во воззваний). Орган имеет право обсуждать все вопросы, прямо или косвенно касающиеся материальных или духовных интересов еврейства, обнародовать свои заключения по этим вопросам (право резолюций).

Орган, далее, имеет право учреждать и поддерживать всевозможные институты и корпорации, предназначенные для целей религиозного культа народного просвещения (причем еврейские национальные школы равноправны с государственными), народного здоровья, общественного призрения, хозяйственной взаимопомощи и для регулирования эмиграционных и переселенческих передвижений. Орган издает уставы и инструкции и для этих учреждений. Орган ведает утверждением и расторжением брачных союзов между евреями согласно установившимся нормам еврейского брачного права и (если органом признан ваад) может изменять эти нормы сообразно потребностям населения. Орган содержит еврейских судей, избираемых им же или населением, и (если органом признан ваад) издает для них инструкции в пределах законов государства и области. Органу принадлежит право принудительного обложения. Орган имеет право приобретать во владение и пользование движимое и недвижимое имущество в пределах и за пределами государства, а равно и право отчуждать свое имущество. Орган самостоятельно избирает свой президиум и вырабатывает порядок своего внутреннего делопроизводства. Орган учреждает свои исполнительные институты, члены которых избираются или ими самими, или непосредственным народным голосованием.

По сравнению с программой, предложенной мною к XI книге «Еврейской жизни» за прошлый год, эта схема не представляет существенных изменений: главная разница в более определенной редакции. Кроме того, я здесь вычеркнул требование права на самостоятельные мероприятия к ограждению неприкосновенности еврейской жизни и имущества. На простом языке это значило бы право содержать вооруженную самооборону. Вряд ли можно будет в демократическом государстве выступить с таким требованием. О его суррогатах в смысле состава местной полиции речь будет ниже, в отделе национально-гражданских прав. Еще более существенным суррогатом могут оказаться гимнастические корпорации, вроде чешского «Сокола», вполне укладывающиеся в рубрику институтов «народного здоровья».

По сравнению с программами других еврейских партий, эта схема, быть может, более или менее счастливо избегает присущих им противоположных крайностей. Она, с одной стороны, не суживает себя до совершенно недостаточных пределов «культурной» автономии, с другой стороны, не притязает на совершенно бессодержательный политический ярлык. Она охватывает все специфически национальные стороны еврейского быта, как духовного, так и материального, и в этом смысле самым точным для нее названием было бы самоуправление в делах национального быта – или, делая уступку общепринятому, хотя и неправильному словоупотреблению – *национально-бытовая автономия*.

III. Национально-гражданские права¹⁸

Относительно этой категории национальных прав, которую постараюсь рассмотреть со всевозможною сжатостью, важно сделать одну оговорку. Необходимость национальной самостоятельности в управлении делами национального быта ни для одного сиониста не может подлежать сомнению; поэтому и требование национально-автономных прав, санкционирующих эту внутреннюю самостоятельность, несомненно, логически вытекает из II пункта Базельской программы. Но не с такой уверенностью можно повторить это целиком и о второй категории – о правах национально-гражданских. В числе их, собственно говоря, только одно не вызовет никакого разногласия среди сионистов ввиду явной и огромной его ценности с точки зрения наших политических задач: это – требование национального представительства (по той или иной системе). Дальше уже начнутся сомнения. Во вступлении к этой статье я говорил, что с точки зрения сиониста было бы «реакционно и утопично» добиваться в диаспоре каких-либо прав ради них самих: мы должны добиваться прав лишь постольку, поскольку они необходимы для правильной национальной самостоятельности в широко понятом сионистском направлении. С этой точки зрения можно спорить даже против строгой необходимости так называемых прав языка, не говоря уже о праве на пропорциональное замещение должностей и т. п. Часть наших единомышленников может найти, что последнее требование, помимо вопроса о его исполнимости, есть утопическая попытка воспрепятствовать тому недопущению евреев на посты официального характера, которое является только деталью общего объективно неизбежного вытеснения, а против таких попыток мы должны, понятно, бороться.

Лично я держусь совершенно обратного мнения. Дальше я укажу, что как раз вопрос о должностях – главным образом, о составе полиции – имеет для нас серьезнейшее значение в смысле предотвращения погромов. Но, помимо этого исключительного довода, я вообще пола-

¹⁸ Считаю лишним особенно подробно останавливаться на том, почему сознание чужбины нисколько не противоречит сознанию гражданства. Впрочем, когда-то в еврейской печати разбирался вопрос: какую «должна быть» психология еврея – психологией «гражданина» или «эмигранта»? Мы, сионисты, полагаем, что одно другого не исключает. Быть гражданином – значит сознавать себя частью органического целого; таким целым не может быть территория, а только нация. Поэтому, несмотря на общепринятое словоупотребление, нельзя быть «гражданином своей страны», можно быть только «гражданином своего народа» и *через народ* уже гражданином той местности, где народ живет. Наоборот, эмигрантом можно быть именно и только по отношению к территории. Таким образом, психология эмигранта и психология гражданина относятся к различным плоскостям и, следовательно, вполне совместимы. Мы – граждане еврейского народа, а через него – той страны, где он живет; поскольку он живет в этой стране, мы, согласно завету Иеремии, заинтересованы в ее благе; поскольку мы из нее вытесняемся на другую территорию, мы сознаем себя эмигрантами и, таким образом, ведем принципиально гражданскую политику по отношению к стране и принципиально эмигрантскую политику по отношению к себе самим. – *Вл. Ж.*

гаю, что борьба за абсолютный максимум национальных прав в диаспоре есть во всем своем объеме только борьба за свободу национальной самостоятельности и не больше. Иметь своих людей в бюрократическом аппарате галута – значит обеспечить себе возможность планомерного воздействия на верхи и низы этого аппарата. Впрочем, относительно верхов никто бы не возражал, потому что все мы вздыхаем о Биконсфильде. Но то же верно и по отношению к низшим ступеням государственной или муниципальной службы, ибо на каждой из них так или иначе должны быть ограждены реальные интересы еврейства, а реальные интересы еврейства прямо или косвенно всегда объективно лежат и не могут не лежать в русле сионизма. И если по отношению к самым верхам бюрократической лестницы почти немислимо выдвигать национальные требования, потому что при выборе заместителей на высшие должности правительство по справедливости должно считаться с личными способностями, а не с происхождением – то тем более важно обеспечить себе известное участие в нижних, ближайших к населению слоях государственного и местного чиновничества.

Таков мой личный взгляд, который я здесь только намечаю и буду подробнее поддерживать тогда, когда это понадобится. В этой же статье я задался целью только перечислить с возможной для меня полнотою все пункты, которые логически могут быть выставлены в качестве естественных требований диаспоральной народности. Я их и перечисляю, а дело будущего съезда решить, какие из этих пунктов должны быть включены в сионистскую платформу.

Должен тут указать еще на одно различие между обеими категориями национальных прав. Отчасти я уже на него указывал в статье о нашей платформе. Если необходимость первой категории для нас более бесспорна, чем необходимость второй, то, в сущности, это предпочтение относится не к самим правам как таковым, а лишь к двум сферам деятельности, понимаемым под этими правами. Возможность внутренней самостоятельности для нас, бесспорно, важнее, чем возможность воздействия на внешние силы – на парламенты, ведомства и т. п.; но отсюда еще не следует, что формальное право на вторую сферу деятельности менее ценно для нас, чем формальное право на первую. Дело в том, что в обеих этих категориях «возможность» и «право» далеко не в одинаковой мере совпадают. Что, например, касается до внутренней самостоятельности, то она «возможна» и без формальной санкции. Конечно, без официального признания, без прав принудительного обложения эта самостоятельность никогда не достигнет истинного расцвета, но все-таки в демократическом государстве, при свободе союзов и собраний, вполне возможно без всякой особой санкции учреждать национальные школы, больницы, колонизационные бюро и даже всеобщие выборные съезды. Наоборот, во второй категории «возможность» самым тесным образом зависит от «права». Если та или другая система представительства меньшинства не будет официально признана в законе, мы не сможем проводить еврейских депутатов. Иными словами, осуществление прав национально-автономных зависит больше от самого еврейства, чем от внешней санкции, тогда как осуществление национально-гражданских прав всецело зависит от

санкции. Это различие надо иметь в виду не столько при выработке платформы, сколько при выработке способов борьбы за эту платформу – способов, о которых я буду говорить ниже по поводу «ближайшей деятельности в России». Национально-автономные права отчасти могут и должны быть осуществлены, не дожидаясь санкции, самим еврейством, путем конституирования общин и созыва Национального Собрания, то есть «явочным порядком», что значительно поможет нам и в достижении формальной санкции; главным образом и особенно в первой стадии это будет вопрос работы внутри еврейства. Наоборот, национально-гражданские права мы можем получить только извне, и борьба за них должна вестись, главным образом, на общеполитической арене, путем соглашений с общими и инородческими партиями.

Переходя к содержанию национально-гражданских прав, полезно будет разделить их на две группы, сообразно двоякой связи между гражданином и государством. Гражданин, во-первых, *участвует* в деятельности государства, во-вторых, *пользуется* ее плодами; с одной стороны, он является отчасти субъектом, с другой стороны – объектом функций государства. Иными словами, в термине «гражданин» заключаются два различных понятия – *активного* и *пассивного* гражданства. Сообразно этому и национально-гражданские права могут быть разделены на две группы – активно-гражданских прав национальности и ее пассивно-гражданских прав. Как субъект функций государства гражданин желает, чтобы его народности было обеспечено соответствующее влияние на эти функции: сюда относятся право национального представительства и вопрос о должностях. Как объект функций государства, гражданин желает, чтобы пользование ими или подчинение им не требовало с его стороны по возможности никаких нарушений его национальной самобытности: сюда относятся права языка, а для нас, евреев, также и вопрос о субботе. Этими четырьмя пунктами исчерпываются, на мой взгляд, наши возможные требования в области национально-гражданских прав.

Достаточно будет немногих замечаний, чтобы раскрыть содержание каждого пункта в отдельности.

а) *Национальное представительство*. Как читатели «Еврейской Жизни» уже, несомненно, знают, оно может быть организовано двояким путем: посредством национальных курий или посредством пропорциональных выборов. Обе системы представляют свои выгоды и свои невыгоды, уже несколько разъясненные в печати. Ближайший съезд сионистов должен окончательно избрать для нашей платформы ту или иную.

Ассимиляторские, национал-ассимиляторские и тому подобные группы, со свойственной им неосведомленностью о конкретном содержании модного термина «самоопределение», упорно смешивают национальное представительство в парламенте с национальной фракцией в парламенте. Ничего общего. Принцип национального представительства обеспечивает каждой народности возможность провести приблизительно соответствующее количество таких депутатов, которых ее члены считают своими выразителями. Это могут быть сионисты, ассимиляторы, монархисты или социал-революционеры; избира-

тели могут поручить им образовать в парламенте одну или несколько еврейских фракций, но могут и запретить им это и потребовать, чтобы они совершенно слились с «общими» партиями; наконец, избиратели-евреи могут даже выбрать своими представителями исключительно русских или поляков, если такова их воля. Цель национального представительства только в том, чтобы эта воля еврейских избирателей, какова бы она ни была, могла свободно выразиться в выборе справедливого количества желательных ей депутатов.

Поэтому надо помнить, что представителем народности как целого может быть признан только орган ее внутреннего самоуправления, а не ее депутаты в общем парламенте, если бы они даже составили случайно все одну группу. Они могут явиться в том или ином случае передаточной инстанцией национальных требований, могут их поддерживать и отстаивать, могут вообще содействовать нации в ее политических стремлениях, но выразителем этих требований и стремлений, представителем национального целого может быть только самостоятельное учреждение, специально ведающее национальными делами. Вообще, национальное представительство в общем парламенте нужно при нормальных условиях не для того, чтобы там вести дела отдельной народности, ибо этим делам место в органах национальной «автономии», — а исключительно для того, чтобы вести там дела общегосударственные и в тех случаях, когда это можно и нужно, только *влиять* на них в интересах народности¹⁹.

Та или иная система национального представительства должна быть проведена, конечно, при всех выборах — в учреждения государственные, областные и местные.

б) Вопрос о должностях. Под равноправием понимается, между прочим, формальное (то есть бумажное) право государственной службы.

Но такая постановка вопроса о должностях несостоятельна с двух сторон. Во-первых, она имеет в виду не права народности на участие в бюрократической деятельности государства, а просто возможность для отдельных евреев, поляков и т. д. занять хлебное или почетное местечко. Во-вторых, она и этой возможности не гарантирует, потому что бумажное право остается для евреев бумажным и в Австрии, и в Германии. Гораздо правильнее — ставить этот вопрос, по примеру Шпрингера, не в связи с гражданским равноправием отдельных лиц, а с активно-гражданскими правами народностей как целого, претендующего на пропорциональное участие в государственном механизме.

Я уже указывал, что такая пропорциональность фактически может быть осуществлена не на высших ступенях этого механизма, где, безусловно, необходимее для пользы дела считаться с индивидуальной

¹⁹ Нашумевший вопрос о «еврейской группе» в нынешней Думе лежит совершенно в другой плоскости. Когда нет не только «органов национальной автономии», но и простых человеческих прав, тогда народ, конечно, избирает депутатов в парламент, главным образом, для защиты национальных интересов. И «группа» нужна была для того, чтобы, во-первых, прокламировать наличие и особенность этих интересов и, во-вторых, координировать действия отдельных депутатов. — *Вл. Ж.*

пригодностью кандидата, чем с его национальностью, – а на средних и даже, главным образом, на низших ступенях. Здесь достаточен средний или даже минимальный уровень способностей, и потому здесь набор личного состава по происхождению не приведет к ущербу для службы. Для населения же это имеет существенное значение. Достаточно указать на роль полиции в межнациональных столкновениях уличного характера: единственное, чем могут быть в корне парализованы факты, аналогичные бакинским и белостокским, это – пропорциональное распределение полицейских должностей сообразно племенному составу местного населения. Да и помимо погромов, при смешанном населении возможны сплошь и рядом злоупотребления должностных лиц на почве племенной розни: полицейские могут составлять неправильные протоколы (это всегда в их власти при самой лучшей конституции), судьи могут потворствовать своим против чужих и т. д. до бесконечности. Все это до известной степени может быть предупреждено путем национально-пропорционального замещения должностей в полиции, в апелляционных и вообще коллегиальных общесудебных инстанциях, в городском управлении – вообще всюду, где это представляется нужным и объективно возможным. Применять это правило следовало бы, конечно, только в местностях со смешанным населением и, кроме того, при выработке закона по этому предмету надо было бы детально перечислить все роды службы и все ступени, где оно должно применяться. В настоящей статье такой перечень, понятно, не нужен – здесь достаточно ограничиться установлением принципа.

Но принцип этот, конечно, не может быть обязательным для самой народности. Если бы евреи, поляки или немцы в данном городе не выразили готовности поступать, например, в городовые – их воля. Здесь не может быть речи о принуждении, как в военной службе. Право должностей есть право, а не повинность. Этот принцип можно формулировать так: в местностях разноплеменных, по требованию местных органов национального самоуправления, такие-то определенные должности замещаются лицами разных национальностей, пропорционально составу местного населения; выбор этих лиц производится подлежащею властью под контролем национальных органов.

в) *Права языка*. Под этим термином понимается, с одной стороны, право гражданина употреблять свой язык не только в школе и в собраниях, но и во всякого рода официальных бумагах, а с другой стороны – обязанность органов государства при сношениях с гражданином пользоваться его национальным языком. Для нас, евреев, этот пункт осложняется своеобразным *embarras de richesses*²⁰: у нас два языка, древнееврейский и разговорно-еврейский. Для *устных* сношений с властями нельзя, конечно, требовать признания обоих языков: здесь необходимо будет ограничиться разговорным; прибавлю, что вообще о национальном языке при *устных* сношениях с должностными лицами – речь может идти только в местностях со смешанным населением. Но требование признания древнееврейского языка наряду с разговорным в *бумагах*, по крайней мере в договорах, расписках, завещаниях и

²⁰ разнообразие, затрудняющее выбор (*франц.*).

т. д., несомненно, имело бы за собою веские основания в виду того, что для многих евреев это – единственный письменный язык.

г) *Вопрос о субботе*. Это – вопрос крайне важный, но и крайне сложный. Суббота (не в смысле еженедельного отдыха вообще, а в смысле празднования именно седьмого дня вместо *христианского* первого) есть религиозное установление, но она так тесно переплетена со всем образом жизни еврея, что ее, несомненно, следует признать за существенный элемент национального быта. Отречение от субботы в пользу воскресенья связано для еврея с мучительною ломкой семейных и общественных отношений; соблюдение и субботы, и воскресенья – крайне разорительно. Для нас, бесспорно, в высшей степени важно было бы сохранить право на замену воскресного отдыха – всюду, где он обязателен, – субботним. Но насколько это осуществимо – вот вопрос, который еще не изучен. Для еврея-торговца или ремесленника право на субботний отдых предполагает право *не* прекращать занятий в воскресенье. Примирятся ли с этим христианские конкуренты? Если в городе приблизительно равное число христианских и еврейских заведений, то еще можно поладить: в субботу христиане наживаются за счет евреев, а в воскресенье евреи за счет христиан. Но если евреев 10–20 процентов? Тогда в воскресенье они могут рассчитывать на всю огромную клиентэлу восьмидесяти процентов христиан, а христиане в субботу даже не заметят ничтожного прироста покупателей. Вообще, хозяйственная жизнь с трудом допускает уклонения от всеобщей нивелировки...

Этот вопрос необходимо в ту или иную сторону решить. Повторяю, решению должно предшествовать изучение, которое пока еще никем, насколько знаю, не произведено. Во всяком случае, минимальным требованием будет то, чтобы вопрос о *дне* (то есть *не* о самом *принципе*) еженедельного отдыха был разрешен не центральным или областным законодательством, а предоставлен усмотрению муниципальных органов. Тогда можно будет провести субботний отдых по крайней мере в тех городах, где евреи составляют большинство. Но я все-таки полагаю, что изучение фактического положения вещей в этом вопросе помогло бы нам из самой жизни почерпнуть более удовлетворительное решение, дало бы нам какой-нибудь способ легально заменить воскресный отдых для евреев повсюду субботним, хотя бы на почве компромиссов или компенсаций.

Особо стоит вопрос о субботнем отдыхе при прохождении государственной службы, гражданской или военной. В Австро-Венгрии при весьма небольшом количестве жителей-мусульман (300 тыс.) имеется специальный мусульманский батальон, с фесками, с отдыхом по пятницам и, конечно, особой кухней. Если это возможно в Австрии, то объективно возможно и в России; но, конечно, выставление *такого* требования здесь было бы в настоящее время актом очень большой смелости. А вопрос о том, возможно ли без выделения евреев в особые воинские части и в то же время без ущерба для боевых качеств армии провести субботний отдых, и в каких пределах – этот вопрос опять-таки нуждается в выяснении силами специалистов, так же как и в отношении к разным отраслям службы гражданской.

Тем не менее при всей неразработанности этого предмета ясно для каждого, что субботний отдых имеет для нас исключительно важное национальное значение и что непризнание за нами этого права явится для нас фактически актом национального угнетения, и притом актом весьма болезненным. Поэтому я считал бы все-таки необходимым выставить это требование пока в общей принципиальной форме, но в применении ко всем отраслям общественного быта и государственной службы, а также (что, бесспорно, важно и легко осуществимо) ко всем выборам – в смысле права подавать голоса в субботу.

И надо несколько дополнить это требование. Есть религиозно-бытовые особенности, с которыми государство может считаться уже наверное без всякого ущерба для службы. Так, например, боевая готовность армии не пострадает нисколько от того, что еврейские солдаты будут есть кошер, если им это угодно. Демократические программы устанавливают полную свободу религиозного обряда, поскольку он не противоречит основным обязанностям гражданина. Но этого недостаточно. Необходимо помнить, что для значительных групп населения религиозная потребность так же насущна, как и всякая другая, и поэтому государство, призывая гражданина к отправлению активно-гражданских функций, должно дать ему фактическую возможность соблюдать предписания своей религии, насколько они коренным образом не исключают правильного исполнения обязанностей.

Вместе с уже выведенной нами схемой (см. «Хронику Еврейской Жизни» № 25) национально-автономных прав эти четыре пункта национально-гражданского характера дают нам полную платформу специально еврейских требований. Но в таком виде последняя все же еще не может считаться законченной. Специально групповые требования имеют почву только тогда, когда им не противоречат принципы, на которых зиждется весь строй данного государства. Выставляя программу национальных прав, мы необходимо должны предполагать как предварительное условие проведение во всем государственном устройстве России тех основных начал свободного Nationalitaetenstaat²¹, без которых невозможно и удовлетворение отдельных народностей. Наша платформа только тогда будет исчерпывающей, когда в ней будут перечислены эти основные начала.

Первое из этих начал – полное народовластие. Чем демократичнее разнородное государство, тем больше в нем простору для развития организованной национальной самодеятельности. Республика нам невыгодна просто по количеству погромов, которыми она будет оплачена, но в принципе, она как идеал политической демократии, безусловно, представляла бы наиболее благоприятную среду для ярко выраженной национально-еврейской политики.

Далее формальное признание всех народностей, их равноправия и их всероссийского единства. Деление на автономные области не должно препятствовать однородным национальным меньшинствам, рассеянными по разным областям, легально объединяться на почве национально-бытового самоуправления.

²¹ многонационального государства (нем.).

Права национальных меньшинств (как национально-автономные, так и национально-гражданские) устанавливаются общегосударственным парламентом для всей России без различия областей. Органы областной автономии не вправе их изменять, и государство постоянно гарантирует всем национальным меньшинствам во всех областях эту неприкосновенность их национальных прав и национального единства. С этой точки зрения мы ясно и определенно должны занять самую враждебную позицию по отношению к проекту польской «конституанты» или, что для нас совершенно безразлично, сейма с *бесконтрольно*-учредительными правами. Проект автономии Польши, конечно, должен быть выработан не Государственной Думой, а специальным выборным собранием в Варшаве; но силу *закона* этот проект может получить только по рассмотрении и утверждении общегосударственным парламентом.

Наконец – краеугольный для нас принцип Национального Собрания. Он может быть формулирован так: «Содержание как областных автономий, так и прав национальных меньшинств устанавливается общегосударственным законодательством на основании петиций от областных и национальных собраний, созданных для этой цели путем всеобщих, равных, прямых, тайных и пропорциональных выборов».

Эти положения должны стать предпосылками нашей платформы; на их основе должна быть формулирована самая платформа, включающая полную схему прав национально-автономных и национально-гражданских – прав внутренней и внешней самостоятельности. Эта платформа должна обеспечить еврею России – ячейке всемирного еврейства – свободу организованной национальной эволюции, а нам, синтетическим выразителям народной воли, – правильную возможность вести эту эволюцию по пути сионизма.

IV. Ближайшая деятельность в России

Здесь мы вплотную подходим собственно к тому, что недавно еще называлось *Gegenwartsarbeit*²². На страницах нашего издания уже не раз было указано, в чем принципиальная разница между первоначальным пониманием этой «работы дня» – и тем толкованием, которое, с сионистской точки зрения, на наш взгляд, является единственно правильным. Достаточно будет вкратце напомнить это различие. Первоначальное понимание «работы дня» стремилось выделить из суммы еврейских текущих нужд определенные категории – скажем, «экономику» – и взять заботу об их удовлетворении в сионистские руки. Наше понимание требует, напротив, чтобы само еврейство сплотилось и взяло эти заботы на себя. Прежде под «работой дня» разумелась помощь еврейскому населению со стороны сионистов – мы же должны разуметь под нею создание всенародной еврейской организации для самопомощи и самостоятельности. Иными словами – для всего того, о чем говорилось выше при выработке нашей платформы, ближайшая наша деятельность в России выразится в осуще-

²² работа ради интересов настоящего (нем.).

ствлении легальным или явочным порядком этой (или другой, более подходящей по усмотрению съезда) национально-политической платформы. Поэтому в применении к нашей деятельности в России термин *Gegenwartsarbeit* уже является неточным. Это – не «работа дня», временная и как бы исключительная, а просто очередная сионистская работа в направлении II и III пункта Базельской программы²³.

Таким образом, вопрос о «ближайшей деятельности в России» принимает следующую постановку: какие шаги могут и должны быть нами предприняты, как на общеполитической арене, так и внутри еврейства для проведения в жизнь наших национально-политических требований?

Подходя к этому вопросу, мы предварительно должны определить наше отношение к освободительному движению. Нет никаких сомнений, что, как оно ни дорого обходится евреям, конечный результат его даст нам если не все то, чего мы вправе требовать, то хоть общие основы политической свободы, без которых немыслима никакая правильная организованная работа. Но «определить отношение» значит выяснить, какую роль в этом движении берем мы, сионисты, на себя. Следует ли нам активно в нем участвовать? И если да, то в какой форме и в каких его моментах?

Революция включает два основных момента: разрушительный и созидательный. Главным, по существу, является, конечно, второй: самое разрушение старого требуется только потому, что создающееся новое нуждается в просторе. Но в *видимом* процессе революции, особенно в первом периоде, наружное место принадлежит обыкновенно моменту разрушительному. Так оно, *видимо*, было до сих пор и в России, и в этом моменте русской революции мы, сионисты, не сыграли (выборы в Думу я отношу ко второй категории), конечно, решительной непосредственной роли.

Разрушение строя, который так хорошо вооружен, есть задача колоссальной трудности. Поскольку под ней понимается непосредственная физическая борьба, она под силу только тем слоям населения, пример которых имеет шансы увлечь за собою войска. Мы убеждены, что евреи не являются такою группой, и даже наоборот. Еврейский налет на революционных выступлениях дает реакции обильный материал для весьма успешного затемнения политического сознания христианских масс. Поскольку же в разрушение входят акты, направленные к дезорганизации государственного хозяйства, мы можем признать за ними политическое значение лишь тогда, когда они направляются прямо на те органы, посредством которых государство само отправляет свои функции: сюда относятся забастовки железнодорожные, почтово-телеграфные, на казенных заводах, вообще забастовки персоналов, состоящих на службе непосредственно у государства. Гораздо меньшее, почти ничтожное политическое значение имеют забастовки круп-

²³ Пункт I – реальную работу в Палестине – мы выделяем особо. Что до пункта IV – «дипломатии» – то вряд ли мы здесь и в эту минуту сколько-нибудь в нем компетентны. Еще наступит время вложить и в этот злосчастный тезис более широкое содержание, но – не сегодня... – *Вл. Ж.*

но-индустриального пролетариата, ибо самодержавие не опирается на крупную буржуазно, и ее потрясения мало отражаются на нем. И, безусловно, никакого политического значения не имеют забастовки мелко-ремесленного и мелкоторгового наемного персонала. Сюда и входит почти весь контингент, состоящий в сфере влияния еврейских революционных организаций. Поэтому, отдавая должное субъективному героизму еврейской крамолы и признавая все ее значение в смысле подъема духа в еврействе, мы скептически относимся к ее объективному значению как разрушающего фактора и крайне невысоко учитываем ту реальную пользу, которую вся ее энергия принесла делу российской революции в смысле непосредственного разрушения старого строя. Дальнейшую затрату этой энергии в тех же формах и по тем же методам мы считаем для революции бесполезной, для еврейства обременительной и находим, что участие нелюбимой, безземельной, количественно слабой, экономически ничтожной инородческой группы, каковы евреи, в разрушительном моменте революции должно выразиться только в осторожном и соразмерном с силами присоединении к солидным устойчивым начинаниям «коренных» групп, при полном отказе от каких бы то ни было самостоятельных инициатив или выступлений, кроме самообороны или актов вроде Дашевского. Не имея возможности предписать эту тактику еврейским революционным группам – нисколько, впрочем, не сомневаясь, что события жизни скоро вынудят их, как уже видно по многим признакам, принять именно такую тактику, – мы должны предписать ее себе и своим и совершенно хладнокровно, за наше прошлое и за наше будущее, отказаться от притязаний на «первые ряды» в этой борьбе с не от евреев зависящим режимом. Честь и место хозяевам!

Но не таково должно быть наше отношение ко второму моменту революции – созидательному. Поскольку идет речь о положительном творчестве, о созидании тех новых форм жизни, во имя которых и ведется борьба со старыми цепями, – здесь каждая группа населения, каков бы ни был ее удельный вес, должна и может сделать свое дело – при одном условии: чтобы это было действительно свое дело, а не чужое, чтобы вотяки и зыряне созидали новые формы не в той области жизни, которая относится до чеченцев и молдаван, а в той, которая непосредственно касается их зырянских и вотяцких интересов. В применении к евреям это может означать только одно: мы должны творчески содействовать возникновению новых форм в области племенных отношений – в организации *Nationalitaetenstaat'a*. Из всех положительных задач, предстоящих российской революции – от уравнивания полов до отчуждения земель, – эта область является единственной, в которой еврейское население может и должно сыграть не «первую», не «преобладающую», по почетную, общепользную и выдающуюся роль – может и должно потому, что единственно в этой области оно будет работать действительно для себя, а не для других и не очутится опять в нестерпимо фальшивом положении ходатая по чужим делам, стерегущего все вертограды, кроме своего собственного. Наше самостоятельное, инициативно-творческое участие в освободительном движении России целиком и без остатка поглощается полем нацио-

нального вопроса – и на этом поле мы еще должны выделить нашу полосу. Выделив путем анализа еврейских национальных требований их общепринципиальную основу, мы должны внедрить ее в сознание преобладающих политических сфер России, найти и объединить союзников, интересы которых в той или иной мере совпадают с нашими интересами: в этом заключаются наши задачи на *общеполитической арене*. В то же время мы должны провести наши требования через широкую массу еврейского *homojn'a*²⁴, сделать их его требованиями, сроднить его с ними, освятить их его авторитетом и, по возможности, положить его силами начало всем тем формам национальной организации, необходимость которых признана в нашей платформе: в этом заключаются наши *задачи внутри еврейства*.

Но прежде чем высказаться порознь о каждой из этих двух плоскостей нашей ближайшей деятельности, надо разрешить раз навсегда один предварительный вопрос: под чьим флагом и от чьего имени должны мы вести предстоящую работу и внутри, и вне еврейского населения? Выступать ли нам всегда и всюду в качестве сионистов или же затушевывать себя, действовать через какие-нибудь смешанные инстанции вроде Союза полноправия? Некоторые сионисты проектируют даже специально для российских дел создать «национальную партию» из сионистов и «близких» элементов...

По этому вопросу съезд наш должен постановить категорическое решение. Лично я всеми силами высказываюсь против второй тактики. Мы можем и должны всюду, где это полезно, заключать соглашения *ad hoc* или хотя бы даже на целый период; мы не мешали до сих пор и впредь (по крайней мере в ближайшее время) не помешаем отдельным сионистам вступать в другие группы, еврейские или общие, для проведения там наших взглядов и защиты еврейских интересов. Но все это могут быть только вспомогательные приемы. Основным методом нашей деятельности должно быть выступление, всегда и во всех вопросах еврейской жизни, в еврействе и за пределами еврейства, – под сионистским знаменем и от имени сионизма. Ни на минуту не вправе мы своим образом действий санкционировать то распространенное заблуждение, будто текущая жизнь сама по себе, а сионизм сам по себе: на каждом шагу своем и нашем должны еврейские массы и внешний мир видеть, что наша платформа для диаспоры вытекает из нашей борьбы за Палестину, что *credo* сионизма органически связует интересы настоящего с интересами будущего еврейского народа, что сионизм есть единое, исключительное и всеобъемлющее выражение еврейской народной воли. Мы не партия – мы нация, но мы докажем это еврейству и миру только тогда, когда выступим пред еврейством и пред миром как партия – ибо тогда на каждом шагу нация будет принимать наши директивы, и пусть же будет видно людям, что это наши директивы.

Мы не говорим: врозь идти, вместе бить. Мы охотно готовы даже вместе и рядом «идти», если найдем хороших попутчиков. Но с кем бы мы ни шли, мы пойдем только под своим знаменем.

²⁴ простого народа (*идиши*).

А. На общеполитической арене

Я уже говорил, что на обширном поле национального вопроса в России мы должны выделить свою полосу. До сих пор мы этого не сделали.

Ни на минуту не следует забывать основной посылки сионизма — что наше положение в корне не похоже на положение других народностей. Оттого бесплодной будет всякая попытка с нашей стороны пристегнуть себя *ohne Weiteres*²⁵ к их колеснице: эта колесница едет просто и откровенно к автономии национальных областей, что про нас не писано, — а туда, куда нам нужно, она даже по дороге не завернет. Еще более нелепы наши попытки сманить ее на наш путь, пристегнуть земельные народности к нам. Как ни смешно, такие попытки делаются. Бунд, надо отдать ему справедливость, первый взял на себя отвагу — под влиянием совершенно непонятого Шпрингера — предложить всем нациям России принцип полного развода между народностью и территорией. Возрожденцы в этом отношении вполне повторяют ошибку Бунда и упорно говорят — для *всех* народов России! — о «национальных» и «областных» сеймах как о совершенно разных категориях, чуть ли не бессознательных друг к другу, и даже весьма откровенно заявляют: «...наша национальная программа предполагает радикальную перестройку отношений между государством и нацией. Вернее было бы сказать: между территорией и нацией». И вся эта радикальная перестройка рекомендуется земельным нациям, в сущности, главным образом ради того, чтобы «аранжировать» безземельных евреев... Надо иметь весьма горячую веру в любезность наших соседей, чтобы строить такие планы. Я с тем большей иронией отношусь к этим мечтаниям, что и сам одно короткое время разделял — хотя не в столь резкой форме — такую постановку вопроса, пока меня не вытрезвили на ноябрьском съезде инородцев, где было многими ораторами разных наций вежливо заявлено, что евреи, конечно, очень милый народ, но есть же разница между народами земельными и безземельными...

Кроме цыган, караимов и евреев, все народности России могут указать свою «территорию» — большую или меньшую по своим размерам область или *местность*, где они составляют преобладающее, почти сплошное большинство. Конечно, у всех народностей имеются группы, рассеянные *вне* «территории», но для каждой из них такие группы представляют слабое меньшинство — не сущность, а второстепенный элемент, и, строя свои требования, каждая народность прежде всего и главным образом считается не с интересами этих групп, а с интересами своей территориальной массы. Поэтому альфой и омегой национально-политического *credo* всех наших *соседей* есть и будет не «национальная», а национально-областная *автономия*. И ничем мы их с этой почвы не собьем. Ни в угоду нам, ни даже в угоду своим зарубежным меньшинствам не согласятся они предпринять переоценку *всех* ценностей, абстрагировать себя самих от обязательной *территории*.

²⁵ не раздумывая (нем.).

Это надо помнить при выборе «нашей полосы» на широком поле всероссийского автономизма. Горшок котлу не товарищ. Нам, евреям, нечего делать в нынешнем «Союзе автономистов», как он выразился в Государственной Думе, ни вообще в союзе «иностранцев», взятых как национальные целые. Все это безусловные областники, которые о наших интересах даже при *полном доброжелательстве* забудут. Нам надо поискать других союзников – и если мы, быть может, найдем их еще наполовину спящими, надо их разбудить и сплотить.

Наш вопрос есть вопрос народности, которая всегда и повсюду в меньшинстве. Поэтому *наши естественные* союзники – это не народности в их целом, а только те их части, те «отрезки», которые находятся в одинаковом положении с нами – в положении национального меньшинства. Нам нужен *не союз автономистов, не союз иностранцев, а союз национально-миноритарных групп.*

Это ставит вопрос на менее «радикальную», но более практическую почву. Народности не разводятся с территориями, а наоборот – основным принципом государственного переустройства признается национальная область. Но именно тогда *положительно у каждой* из народностей России окажутся более или менее значительные группы соплеменников, оставшихся за рубежом родной области и по разным причинам вынужденных там остаться и дальше. Эти группы не всегда количественно велики, но не следует упускать из виду их качественного значения. Как справедливо указывает Д. Пасманик (см. брошюру «Критика “теорий” Бунда»), разнородность населения свойственна почти исключительно городам, особенно большим городам. В деревнях это явление немыслимо. Тщательным черчением можно всегда установить небольшие, но сплошные одноплеменные округа («кантоны») даже в такой губернии, как, например, Елисаветпольская, где разбросаны в беспорядке армянские и татарские деревни, – ибо зато в первых живут *исключительно* армяне, а во вторых *исключительно* татары. Национальное меньшинство существует только в городах. Но именно потому его качественный вес всегда больше его количественного значения. Горожане вообще более активны, более чутки к своим интересам – и в то же время обладают несравненно большим влиянием для защиты этих интересов. Это тем вернее, что в среде таких национально-миноритарных групп имеется по большей части значительный процент интеллигенции. Все это дает право утверждать, что, несмотря на свою роковую роль «меньшинства», эти группы в совокупности далеко не представляют *quantité negligible*²⁶, – а наша задача именно в том, чтобы создать из них такую совокупность.

В настоящее время общественная дифференциация только начинается и в области национального вопроса она до сих пор сказалась еще меньше, нежели во всякой другой. Мы поэтому находим в союзе автономистов без всякого разбора, наряду с представителями коренного населения национальных территорий, целый ряд представителей из зарубежных национальных меньшинств. Последних даже чуть ли не больше, и они при этом, по-видимому, весьма еще смутно созна-

²⁶ пренебрежимая величина, нечто, не стоящее внимания» (франц.).

ют, что их интересы хотя и уживаются, но не совпадают и не покрываются интересами областных соплеменников. В угоду этим элементам, правда, уже внесена в разные автономические программы оговорка о «самоопределении» меньшинства, но есть полное основание опасаться, что на практике об этой оговорке наполовину забывают – и будут забывать до тех пор, пока интересы национально-миноритарных групп не будут выделены из общего понятия автономизма в особую программу, имеющую собственных представителей и поборников в лице особой, хотя и параллельной, но специальной фракции. Этой фракции мы и должны положить начало.

Не надо скрывать от себя сравнительной трудности такой инициативы. Прежде всего необходимо принять во внимание, что у любого национального меньшинства, хотя и зарубежного, но все же где-то имеющего свой одноплеменный «рубеж», потребность в диаспоральном самоуправлении не может быть так интенсивна, как у евреев. Поляки на Литве и на Волыни останутся вне свободной Польши, но ведь и они рассчитывают погреться у восходящего солнца польской автономии – например, отсылать своих детей в польские школы. Это может соответственно уменьшить их требовательность по отношению к диаспоре. С другой стороны, хотя вряд ли можно ожидать массовых возвратов на родину – все-таки часть нынешних выселенцев при торжестве автономизма отхлынет в родные области, и уже теперь, быть может, к этому готовится. Тем не менее самый характер современного хозяйственного строя ручается за то, что национальные меньшинства в городах сохраняются, и далее весьма.¹ Диаспоральные группы останутся и от великороссов, и от украинцев, и от поляков, армян, татар, латышей, немцев, грузин – проще сказать, ни одна из территориальных народностей не соберет под кров родимой области всех своих детей без остатка. И если пока эти «остатки» далеко не так ревниво, как мы, относятся к своим специфическим нуждам, то все же в их сознании, хотя бы только в форме потенциальных зародышей, несомненно должны содержаться приблизительно те же потребности, что и у нас, обусловливаемые средством положения. Содействовать развитию этих зародышей – задача не из самых легких, но, быть может, и не из самых трудных.

Во всяком случае, *это* – наша задача, и за ее выполнение надо взяться немедленно. Она должна быть нами поручена специально подобранному столичному комитету, который, с одной стороны, возьмет на себя пропаганду наших взглядов в русской и инородческой печати, а с другой стороны, выяснит возможных союзников и завяжет с ними сношения. Ближайшим этапом его стремлений должно быть создание соответствующей междунациональной организации, параллельно или внутри союза автономистов, прежде всего, конечно, в Петербурге, немедленно затем – повсюду на местах. Наряду с тем особенно важно сгруппировать наличных представителей национального меньшинства в Государственной Думе, побудив их выделиться в этом смысле из тамошней фракции автономистов: эта задача, как и дальнейшее проведение наших взглядов внутри новой парламентской группы, упадет па наших четырех товарищей в Госу-

дарственной Думе. Возможно, что им удастся привлечь к участию в этой фракции и других членов «еврейской парламентской группы», но если нет, они, конечно, выполнят свою задачу и самостоятельно...

К этим шагам – подбору и объединению наших естественных иноподродческих союзников в борьбе за права национального меньшинства – целиком, по-моему, сведется наша самостоятельно-инициативная ближайшая деятельность на общеполитической арене. Есть, однако, большие вероятия, что придется внести в эту рубрику «ближайшей» работы еще один пункт: новые выборы. К этому надо быть готовыми, и со стороны съезда необходима в этом отношении прочная директива. Уже не раз указывалось на то, что избирательная энергия сионистов, так щедро затраченная прошлою весной, в результате дала еврейскому пароду – всецело по нашей оплошности – несколько весьма и весьма неподходящих представителей. Впредь этого не может и не должно быть. При каких условиях ни произошли бы новые выборы, мы ясно заявим, что *признаем безусловно недопустимым избрание ассимиляторов* хотя бы новомодно замаскированных национально декламацией, и всюду и во что бы то ни стало будем выставять и всеми силами поддерживать только безусловных и беззаветных националистов, а при полной невозможности провести таковых – самым спокойным образом провалим ассимилятора в пользу хорошего арийца. Мы больше не дадим запугать себя «ужасною» перспективой потери одного, двух или даже целых семи депутатских мест. Интересы народа-меньшинства защищают не количеством, а качеством, и бывают такие депутатские кресла, которым лучше бы оставаться пустыми. Обо всем этом мы поговорим гораздо подробнее потом, когда наступит время для сведения счетов; но врасплох нас больше выборы не захватят, и мы должны громко заявить себе и другим, что тяжелые торгашеские сцены недавнего съезда полноправия больше не повторятся, ибо некоторым из главных актеров уже не скоро вновь откроется путь на еврейские политические подмостки.

Б. Внутри еврейства

В начале нашего движения многие из нас, в особенности, конечно, интеллигенты, делали часто одну курьезную ошибку: они пытались «национализировать» массу. Они приходили в синагогу и пламенно призывали *hamejн* отречься от ассимиляции и возлюбить Палестину. Речи были прекрасны, но *hamejн* оставался в недоумении, ибо он, во-первых, совершенно не был повинен в грехе ассимиляции, во-вторых – жертвовал, что мог, на фонд раби Меира Чудотворца, а потому естественно не мог понять, чего от него требуют эти пиджаки, да к тому же иногда на русском языке.

Эту массу никак нельзя было обратить в сионизм по той причине, по которой невозможно вычернить черное дерево; они пожимали плечами и отвечали вопросом: «Да кто же из нас не сионист?» Мало-помалу интеллигенты поняли, что не им эту массу учить народолюбию и национальному сознанию, а скорей самим у нее учиться. И они прекратили хождение в народ и посвятили себя всецело истреблению ассимиляции там, где

она действительно имелась – на верхушках. Эту работу они повели, как можно видеть, довольно успешно: по крайней мере явное и наглое ассимиляторство исчезло почти совершенно, уступив место другой разновидности, все-таки более приличной – национал-ассимиляторам. Но из того, что мы перестали работать над массой, можно было со стороны вывести заключение, будто масса уже вполне готова для сионизма. А между тем и это далеко не верно. В чем же дело?

В том, что для национальной самостоятельности нужны два элемента. Наличие национального чувства и сознания – только один из них. Он-то у еврейской массы безусловно присутствует, хотя, пожалуй, в неочищенном виде. Но нет у *hatojn'a* в его целом другого необходимого элемента – *нет активности*. Гетто искони привыкло переживать историю в страдательном залоге как объект чужих действий, и привычку эту не так легко вытравить. А пока она не вытравлена, до тех пор и наличие национального сознания совершенно бесполезна, до тех пор это сознавшие лежит как мертвый капитал, никем не пущенный в оборот. Национальное сознание важно именно в качестве начала, направляющего наши действия не в ту, а в эту сторону, но для того должна иметься и способность к действиям. У гетто в его целом атрофировалась эта способность. Нашу массу незачем национализировать – ее просто надо приучить к гражданской активности. Наша масса никогда не сомневалась в том, что если бы можно было евреям самим творить свою историю, надо было бы творить ее только в национальном духе: она сомневалась и доныне сомневается в том, настала ли и вообще настанет ли пора, когда еврейству откроется объективная возможность самому, активно и планомерно, управлять своей судьбой. Мы должны теперь ответить еврейской массе, что пора настала. Это – основная наша задача внутри еврейства, и все остальные просто вытекают из нее.

Как мы это сделаем? Вовлечением широкой массы в культурную борьбу за ее национально-политические интересы. Галицийские сионисты подали нам прекрасный пример! Каждый из наших лозунгов: Национальное Собрание, национально-бытовое самоуправление, пропорциональное представительство, демократизация общин, национализация школ, сионизирование благотворительно-колониционной деятельности, работа в Палестине и т. д. – каждый лозунг должен быть проведен через самую гущу гетто, главным образом, через его традиционный форум – синагогу. Масса должна почувствовать, что ни один шаг не делается помимо нее: это заставит ее сознать себя ответственным хозяином собственных судеб.

Особенного напряжения требует работа среди массы в Царстве Польском. В № 18 «Хроники Еврейской Жизни» я уже указывал на огромную сложность польско-еврейской задачи, где скрещиваются самые справедливые национальные требования поляков с самыми неоправданными тенденциями тех же поляков к насильственной колонизации еврейского населения. Надо быть готовыми встретить с их стороны самый отчаянный отпор; как бы громко ни был провозглашен всеми группами России основной принцип свободы национального меньшинства, поляки будут изо всех сил доказывать, что до

Царства Польского это не касается, что в Царстве Польском живут только поляки разной веры и т. д., — и надо принять во внимание, что в этом деле польские шовинисты найдут и своего еврейского «попы-хадла»²⁷, который уже поднял в этом смысле свой голос в лице пана Натанзона у земцев на прошлогоднем ноябрьском съезде и теперь в том же смысле подымает его на страницах варшавской ассимиляторской газеты «Izraelita» в лице разных более или менее услужливых ренегатов. И этим польским заявлениям, и еврейским поддакиваниям придется противопоставить миллионный голос еврейской массы, требующей своих национальных прав и национального единения с остальной частью российского еврейства. Эта работа, выпадающая на долю польских сионистов, вдвойне тяжела. Не говоря уж о том, что польско-еврейский *hamojn* еще пассивнее литовского и южнорусского — самая сложность борьбы делает ее крайне щекотливой. Польским товарищам придется постоянно лавировать между самым корректным уважением к основе польского автономизма и самым резким противодействием его агрессивным тенденциям. Им придется прилагать все старания к тому, чтобы ни на мгновение борьба за еврейские права не могла быть истолкована как борьба против польских прав — и чтобы в то же время ни на минуту поддержка польских требований не могла быть сочтена за отказ от требований польского еврейства. Мы, живущие вне Польши, будем, несомненно, вынуждены не раз пускать в ход свое влияние, чтобы затормозить законодательное признание польской автономии до того момента, когда будут предварительно гарантированы для всей России свобода и единство национально-миноритарных групп. Но еврейство Польши едва ли сможет само принимать прямое участие в этой «тормозящей» деятельности. Со стороны польско-еврейской массы нам необходимы только ясные и громкие требования национального полноправия: это и есть специальная очередная задача польских сионистов.

* * *

Для нас, таким образом, начинается новый период хождения в народ, но без старой ошибки. Прежде мы шли к нему проповедовать верховный идеал, долженствующий явиться венцом национальной политики, — теперь надо проповедовать самое политику, политическую активность *an und für sich*²⁸. Верховный идеал при этом не будет забыт. За него мы спокойны: не мы, а еврейская масса была, есть и будет его носителем. Конечно, эта масса не запишется поголовно в сионистскую организацию: народ в его целом не вступает в партию — но поскольку эта партия выражает его реальные тяготения, он поддерживает ее и шаг за шагом осуществляет ее предначертания. Народ в его целом строит всегда только сегодняшнюю ступеньку своей лестницы — но строит ее по проектам тех зодчих, которые отгадали его идеал и направили его лестницу к этому идеалу.

²⁷ отщепенца (польск.).

²⁸ сама по себе (нем.).

Но и другой крайности мы, конечно, избегнем. Учить *homojn* сионизму мы более не станем, но и затемнять сознание народа мы тоже не дадим. В таких попытках не будет недостатка. Пусть только немного просветлеет в России – выползут из своих щелей разные иудейские патриоты чужой территории и затянут старую песню о том, что все достигнуто и больше нечего желать. Мы им отравим это удовольствие.⁴ Каждую частичную победу мы осветим в глазах массы как этап к воссозданию нашей территориальной государственности; на легкомысленные или бессовестные обещания «полного братства племен», на сентиментальные вопли о доверии к добрым чувствам наших соседей мы ответим, как отвечали доньше, призывом – никому на свете не доверять, кроме себя самих; внутри каждой из новых поправок галута мы заранее вскроем и укажем пред массой ее бездонные завтрашние прорехи. «Каждый кусок хлеба в галуте будет, как солью, пропитан сознанием чужбины, экзода, сионизма».

На этой почве повышенной национально-активной сознательности можно будет заложить прочные основания всероссийско-еврейской организации – явочным порядком создать широко демократические зародыши тех органов национально-бытового самоуправления, санкции которых мы будем добиваться на общеполитической арене. Во всей предстоящей нам деятельности на территории России, как внутри, так и вне еврейства, эта задача есть первая и главная по возможности задача всех задач, центр тяжести, по отношению к которому все остальные пункты нашей программы являются только вспомогательными. Эта задача включает два начинания, из которых первое – ступень ко второму: *повсеместное конституирование явочным порядком широко демократических общин – и созыв всероссийско-еврейского Национального Собрания*. Но именно ввиду чрезвычайной важности и сложности этих начинаний я считаю невозможным говорить о них подробно в этой статье. Они нуждаются в особом, нарочитом изучении, в рассмотрении специалистами, которые на основании статистических и юридических данных разработают громоздкую технику этого дела. Особенно сложным окажется вопрос о явочно возникшей общине – именно потому, что часть ее будущих функций по нынешним законам принадлежит разным ублюдочным органам вроде молитвенных правлений, раввината, «оседлых и зажиточных» представителей, а в Польше – гмине, «божничным дозорам» и т. п. Как подчинить эти органы воле новых общинных советов, избранных всеобщим голосованием, но еще не признанных законом? Вопрос очень трудный, хотя, безусловно, допускающий более или менее удовлетворительное решение; но подробные указания всех путей и способов должны быть выработаны знатоками дела, на основании обширного знакомства не только с российскими, но и с загранично-еврейскими материалами. Что касается до созыва Национального Собрания, то с момента, когда в России, наконец, установится действительная свобода собраний, осуществление этого проекта не встретит никаких особенных сложностей в смысле юридическом, зато громадной работы потребует чисто техническая сторона столь грандиозного дела. Повторяю, говорить об этой технике здесь не место, и в подробностях я недостаточно осведомлен – а прин-

ципиально обосновывать огромную важность обеих задач после всего, что уже об этом говорилось в еврейской печати, совершенно излишне. Каждому из нас ясно, что исполнительные органы сионизма в России должны выдвинуть эти задачи во главу всей своей местной работы, и для их осуществления мы не пожалеем ни своих лучших сил, ни всех доступных нам материальных средств.

Если уместно здесь остановиться на доводах против Национального Собрания, то лишь на тех, которые указывают на внутренние трудности, в смысле отказа еврейского населения или значительной его доли принять участие в выборах. Такие доводы приводились этой зимой в еврейской социал-демократической печати. «Der Wecker», газета Бунда, заявил, что еврейский пролетариат в это Собрание не пойдет. То же заявляли во всех выступлениях и сионисты-социалисты. Много в этих возражениях следует, очевидно, приписать тогдашнему настроению, когда еще не успели развеяться в воздухе мечты о диктатуре пролетариата и вообще была в ходу безмерно преувеличенная оценка пролетарских политических сил. Теперь многое, что было сгоряча сказано тогда, в особенности с бундовской стороны, вряд ли было бы повторено. Вряд ли бы, например, было повторено заявление газеты «Der Wecker», что вопрос о размерах компетенции национального «сейма» должен быть решен не согласно воле большинства данной народности, а согласно желанно той ее части, которая покажет наибольшую силу «на улице». Теперь, надо полагать, самая вера в «силу» еврейского пролетариата «на улице» тоже несколько подорвана; но главное то, что минутный угар, надеюсь, прошел, и руководители Бунда должны были вспомнить о некоторых основных принципах, одинаково ценных для каждой передовой партии, для социал-демократии в особенности. Социал-демократия хочет вести через демократию к социализму; поэтому первой задачей для нее *par excellence*²⁹ является щепетильная охрана демократических начал. А первым из этих начал является верховенство большинства: условия жизни данной группы должны определяться в зависимости не от того, кто силен «на улице», а от количественного перевеса одного мнения над другим при всенародном голосовании. В этом культе большинства — основа социал-демократической тактики, потому что пролетариат идет к своей последней победе именно путем культурной борьбы за большинство в народе и в парламенте. Каутский писал недавно, что социал-демократия должна отстаивать избирательные права женщин, хотя сегодня женщины усилят клерикалов — ибо демократический принцип дороже временных выгод, а политика пролетариата должна быть безупречно принципиальной. Еще с большим основанием можно повторить это в применении к тому принципу, который есть сущность и сердце демократизма, — к верховенству большинства. Для социалиста нарушить этот принцип значит подпилить ту лестницу, по которой он сам должен добраться до своей цели. Повторяю, только в минуту угара можно было заявить, что еврейский вопрос в России должен быть решен хотя бы наперекор требованиям еврейского большинства, в угоду меньшинству, ибо это меньшинство спо-

²⁹ по преимуществу (франц.).

собно к физической борьбе, — только в угаре можно было заменить культ большинства культом улицы. Надо надеяться, что с этой аргументацией мы больше не встретимся.

По существу же вопроса — отказ еврейского наемно-рабочего слоя от участия в выборах Национального Собрания был бы лишен всякой разумной причины, если не со специфической точки зрения сионистов-социалистов, то с точки зрения Бунда несомненно. Бунд отрекается от самодовлеющего национализма, но требует для каждой народности условий, гарантирующих свободное и безболезненное национальное развитие. Отсутствие таких условий создает существенные помехи социальному прогрессу. Но тогда ясно, что эти «условия» должны точно отражать в себе соотношение всех сил и интересов, имеющихся в среде данной народности: сопоставление этих сил и интересов дает в результате равнодействующую, которая и должна лечь в основу при выработке нормальных условий национального развития. Всякое отклонение от «равнодействующей» в сторону одной или другой из «образующих» сил ведет только к тому, что вместо нормальных условий мы получаем ненормальные или не вполне нормальные, чем тормозится свободное развитие народности в целом и каждого ее класса в частности. Каждый класс поэтому заинтересован в *совместной* выработке условий национального развития — тем более что именно здесь «совместная работа» всего ярче выливается в форму правильной классовой борьбы, отстаивания своей точки зрения на общенациональные потребности в противовес пониманию других классов.

Впрочем, высказываю эти соображения не с тою целью, чтобы кого-либо переубедить. Зная до некоторой степени нынешнее настроение нашей трудовой молодежи и ее руководителей, я не верю в возможность влиять на них со стороны хотя бы даже устами самой истины. Здесь эволюция совершается путем внутреннего самоопровергания, путем болезненных ошибок, разочарований, ударов о глухую стену — меньше всего могут ускорить эту эволюцию советы извне. Я притом полагаю, что и вообще вопрос об участии пролетариата в Национальном Собрании весьма интересен для выяснения еврейской психологии, но далеко не так важен в практическом отношении. Авторитетности Собрания как выразителя национальных требований всероссийского еврейства пролетарский бойкот не умалит. Бойкот вызывает принципиальное сочувствие, когда несправедливая избирательная система лишает данный класс возможности использовать все свои голоса; но бойкот выборов по четырехгранной формуле произвел бы впечатление странной несерьезности, политического каприза. Если бы, наконец, еврейский пролетариат, то есть количественно незначительное меньшинство, решился (что вряд ли случится) выступить с протестом против петиции Национального Собрания и противопоставить ей свою формулу национальных требований, это имело бы чисто демонстративное значение, но никакого практического результата. Не только нынешняя Дума, но и всякая другая, даже Учредительное Собрание, не отдаст предпочтения голосу меньшинства пред голосом большинства просто потому, что всякий парламент сам построен на подчинении меньшинства большинству. Исключение возможно было

бы только в том случае, когда парламент сам по себе не желал бы дать евреям никаких национальных прав и с этим чужим нежеланием совпало бы мнение ассимиляторского – например, «искровского» – еврейского меньшинства. Но и тогда парламент поступил бы не согласно воле последнего, а согласно своей собственной воле. Поскольку же он вообще проявит готовность руководствоваться в решении еврейского вопроса для России желаниями самого еврейства, он самую логикой вынужден будет признать выразителем этих желаний Национальное Собрание, хотя бы даже «явочное», то есть созданное самими евреями без участия официальной власти, – а не диссидентское меньшинство. В глазах внешнего мира пролетарский бойкот не может умалять компетентности Национального Собрания – и потому, если мы действительно сумеем осуществить этот огромный почин, участие в выборах окажется для пролетариата, как и для всякого другого общественного слоя в еврействе, *единственным средством* для того, чтобы повлиять в желательном ему направлении на окончательную формулировку национальных требований. Вряд ли тогда пролетариат согласится лишиться себя этого единственного средства, если даже руководители его по-прежнему будут настаивать на бойкоте. Я поэтому излагаю, что наилучшим агитатором за участие рабочих в Национальном Собрании будет самый факт Национального Собрания: пусть оно только войдет в стадию реализации.

Высказывалось, однако, и то мнение, будто бойкот со стороны известной части пролетариата побудит и остальные девять десятых еврейской массы отказаться от Национального Собрания. Это – безусловное и глубоко ошибочное самообольщение. Выборы в Думу показали, считается ли hamojn с политическими советами пролетарских партии там, где у него есть возможность выбрать собственный путь. На избирательной энергии еврейской массы отразился кое-где, быть может, страх перед погромами, но нигде и нисколько не отразилось влияние бойкотистов. Этого и последние сами не возьмутся отрицать³⁰. Вообще же ясно,

³⁰ Не отрицая полного провала бойкотистов среди еврейской массы, виленская «Volkszeitung» обрушилась, однако, на буржуазию вообще и на сионистов в особенности – за то, что «в октябре они гнули спину пред пролетариатом и лестили ему», а теперь отрицают за ним всякое влияние на еврейские дела. Что «в октябре и после октября разные национал-ассимиляторы и чувствительные радикалы действительно лебезили пред Бундом, над этим уже вдоволь посмеялась в свое время сионистская печать. Но «Volkszeitung» забыла указать, где и когда это делали сионисты. Газете, издающейся в Вильне, следовало бы помнить, что в середине ноября, когда еврейский пролетариат праздновал медовый месяц своей «диктатуры», сионист Юлий Бруцкус в этом самом городе выступил с рефератом, резко направленным против Бунда и с[ионистов]-с[оциалистов]. В той же Вильне сионист Шмария Левин до октября, в октябре и после октября в проповедях и статьях неустанно боролся против тактики пролетарских партий. В руководимой Левиным газете «Новая Заря» появилась впервые статья Дубнова «Уроки страшных дней», бросившая в лицо этим партиям кличку «рабов в революции». Около того же времени в Петербурге на трехтысячном митинге сионист Усышкин пред аудиторией, переполненной сионистами, громогласно заявил: «Мы не верим новому богу социал-демократии, потому

что масса отказывается от участия в политическом акте только тогда, когда сомневается, «окупит ли» он своими благими результатами ту затрату сил, которая необходима для его осуществления. Но значение такого акта, как совместная выработка национальной петиции парламенту о праве самостоятельно заведовать еврейскими нуждами, ясно и понятно каждому человеку из массы, а затрата сил для этого дела, огромная для инициаторов, сводится для человека из массы к подаче бюллетеня. При таких условиях немыслимо проповедовать *hamojn'y* бойкот с какой-нибудь надеждой на успех проповеди. Все эти рассуждения оказались бы, конечно, излишними в том случае, когда бы созыв Национального Собрания был санкционирован законодательной властью страны: тогда выборы получили бы официальный вес и не возникло бы речи о бойкоте ни с чьей стороны. К этой санкции мы и должны стремиться, пропагандируя на общеполитической арене идею Национальных Собраний. Но с уверенностью можно предсказать, что идея еврейского Национального Собрания, даже без санкции, только при наличности элементарных гражданских свобод, встретит живейший активный отклик широкой еврейской массы и самое Собрание действительно явится выразителем всенародной воли. Опять повторю: лучшей пропагандой здесь будет прямой переход к реализации этой инициативы.

Вся остальная наша практическая деятельность внутри еврейства должна быть подчинена этой центральной задаче. Так, например, соответственно изменится характер нашей борьбы со старыми учреждениями вроде ИСА или Общества просвещения: отныне центр тяжести должен лежать не в критике их направления, а в отрицании самой их, так сказать, компетенции – не столько в том, что такие-то комитеты плохо ведут еврейское дело, сколько главным образом в том, что все вообще еврейское дело, включая и просветительные, и колонизационные задачи, должно перейти от частных обществ в руки демократических органов национального самоуправления. Наряду с тем по пути к созданию всенародной организации еврейства в России полезно будет призвать к жизни некоторые частичные группировки. На них отчасти указывает д-р И. Клаузнер в статье «Реальные задачи русского еврейства» («Еврейская Жизнь», 1906, II и III). Из начинаний этого рода более неотложными представляются мне пока следующие: *съезд еврейской печати*, *съезд учителей* и – крайне серьезная задача, важность которой давно признали чехи и поляки, но которая бесконечно важнее для нас, чем для них, – *основание большого гимнастического союза*³¹. Инициативу этих предприятий мы должны категорически возложить на официальных руководителей нашего движения. Но кроме того, помимо нашего почина возможно возникновение других частичных организационных начинаний, всероссийских (вроде проектируемого теперь

что этот бог нас так же обманет, как обманули другие». Так «льстили» сионисты пролетариату, когда он был в апогее своей славы. Единственный сионист, которого бундовская печать пыталась уличить в «комплиментах», это я. Но я уже подробно изъяснил в № 2 «Хроники Еврейской Жизни», что мои «комплименты», которые при первой надобности охотно повторю, относились не к революционной, а к сионизирующей роли Бунда. – Вл. Ж.

³¹ В Варшаве уже учрежден легальный союз «Сокол». – Вл. Ж.

съезда «казенных» раввинов), широко-областных или просто местных. Какова бы ни была их ценность, мы в каждом отдельном случае должны быть наготове; ни одна из этих попыток не должна быть изолирована от нашего влияния – поскольку это не будут, конечно, попытки явно ассимиляторского или черносотенного характера, вроде достопамятной «*dischko ha-sch'chojro*»³². Всюду надо иметь своих людей, проводить свои взгляды. Упомянутый съезд раввинов, задуманный киевским раввином г-ном Лурье, сам по себе представляет затею довольно бесполезную, но если он действительно состоится, то на нем должна быть проведена платформа национально-бытового самоуправления. Иначе эта довольно бесполезная затея может превратиться, пожалуй, в довольно вредную, принимая во внимание традиционную робость и штадланские³³ привычки раввинской бюрократии. Та же платформа должна быть проведена в Союзе полноправия, который к ней очень близок и вообще до поры до времени будет идти с нами более или менее в ногу. Некоторые из таких второстепенных группировок, например, профессиональные организации служащих, рабочих или мелких хозяев нам, безусловно, желательны, и, поскольку есть у нас влияние на соответствующие слои населения», надо всячески содействовать их возникновению. Легче всего нам это удастся, конечно, среди мелкой буржуазии, причем надо заранее быть готовыми к тому, что ее союзы будут носить ясный характер массового отпора. Поскольку отпор этот не выродится в политическую реакцию, мы, несомненно, должны его приветствовать, как должен его, впрочем, приветствовать и всякий рассудительный социал-демократ. Организованность обеих сторон – лучший регулятор для правильного развития классовой борьбы. В конституционном государстве тресты крупного капитала недопустимы потому, что крупная буржуазия уже имеет свою организацию в лице самого государства. Мелкое же хозяйство нуждается в добровольных союзах, чтобы неизбежное вымирание его развивалось в известной постепенности, без резких болезненных катастроф. В вопросе об эксцессах еврейской классовой борьбы я не вполне разделяю страхи и протесты многих моих единомышленников, ибо думаю, что эти эксцессы и вытекающее из них разорение еврейской бедноты есть простое подтверждение сионистского диагноза – непримиримого разлада между развитием еврейства и развитием окружающей среды. Но кой-какие границы тут, конечно, необходимы, и в качестве такой смягчающей полумеры профессиональные союзы мелких хозяев получают, вероятно, широкое распространение. Мы, сионисты, не можем специально взяться за их организацию, но содействовать ей мы должны так же точно, как содействовали и будем содействовать, по мере своего влияния, профессиональным организациям рабочих. В качестве надклассовых выразителей нации мы заинтересованы только в том, чтобы необходимые трения внутри еврейства развивались с наименьшей болезненностью, – а для

³² буквально: «черное бюро» (*ашкеназский иврит*) – учрежденное группой ковенских раввинов издательство, выпускавшее антисионистскую литературу.

³³ от *шадлан* – ходатай (*идиш*) – представитель общины, защищавший ее интересы перед властями. В России к концу XIX века это слово приобрело негативный оттенок, обозначая чрезмерную готовность к компромиссу.

этого, повторяю, лучшим и единственным средством является организованность обеих сторон. «Должная мера» путем взаимного приспособления установится тогда сама собою, и вытесняющий поршень галута (ибо еврейская классовая борьба есть не что иное, как одна из точек приложения этого поршня) будет в этой точке напирать – если не меньше, то по возможности несколько мягче...

* * *

В чем же резюмируется предстоящая нам деятельность внутри еврейства? В непосредственном осуществлении тех тезисов, о которых я уже часто упоминал, – II и III пункта Базельской программы, гласящих: организация и национализация еврейского народа. Полным – для России – выражением этих тезисов будет созыв Национального Собрания.

К этому генеральному акту ведут подготовительные шаги: приобщение широкой массы – в России вообще, в Польше особенно – к национально-политической активности путем проведения всех наших лозунгов через ее среду; конституирование демократических общин с программой национально-бытового самоуправления; почин и содействие возникновению частичных организаций, на первом плане – съезд еврейской печати, съезд еврейской школы, основание всенародного Turnverein'a³⁴; поддержка и сионизирование всяких начинаний, могущих прямо или косвенно, много или мало содействовать сплочению национальных сил; монистическая политика в старых и новых учреждениях, старых и новых корпорациях, сионистское освещение радостных и печальных событий, побед и неудач, сионистское руководство народом на всех путях и всех ступенях его неумолимого движения через самостоятельность к независимости...

Я могу дать и более сжатое резюме – и мне бы хотелось, чтобы оно стало действительным лейтмотивом нового периода, в который вступает наше движение, и чтобы грядущий историк повторил это резюме как оценку нашей исторической роли. Вот оно: *во главе еврейской демократии!*

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА³⁵

*Доклад на съезде Российской Сионистской Организации
(29 июля – 1 августа 1906, Одесса, заседание 1 августа)*

Есть мнение, что мы, сионисты, можем в этой области ограничиться несколькими краткими лозунгами. Я с этим не согласен и полагаю, что нам необходима ясная и подробная программа национальных требований в России. Такая программа была выработана виленской конференцией трех сионистских изданий; эту программу я и предлагаю вашему вниманию. Притом советовал бы не входить здесь в обсуждение редакционных деталей, а сразу сосредоточить прения на основных спор-

³⁴ гимнастическое общество (нем.).

³⁵ Кадима. № 10, 06.08.1906.

ных пунктах. Таких пунктов у нас три. Первый спорный вопрос – под каким флагом должны мы вести свою политическую работу в России: как сионисты или под именем «Еврейской Народной Партии», в которую привлечем и несионистских националистов? Во втором случае мы можем приобрести много союзников для совместного проведения нашей местной программы, но зато самое имя сионизма тогда сойдет с российской политической сцены. Наоборот, если мы выступим как сионисты, то проиграем в экстенсивности, зато выиграем в интенсивности. Виленская конференция и я лично стоим всецело за то, чтобы мы действовали исключительно под сионистским знаменем. Но ввиду неясности вопроса для многих я предлагаю такой временный компромисс: начать самостоятельную политическую деятельность и в то же время содействовать образованию Еврейской Народной Партии, в которую войдут отдельные сионисты под условием, чтобы программа этой партии включала полное национальное самоуправление и широкую постановку эмиграционной проблемы.

Второй спорный вопрос, по которому на виленской конференции мнения разделились, таков: автономия или самоуправление? Автономия включает право законодательства; самоуправление предполагает только право учреждать институты и корпорации вроде школ, больниц, касс, товариществ и т. п., заведовать этими учреждениями и взимать принудительные налоги, но никак не право издавать обязательные постановления для граждан. Я лично нахожу, что мы, как группа безземельная, можем говорить только о самоуправлении. Законодательство немыслимо вне территории. Мы, признающие для каждой нации необходимость собственной территории, логически не можем требовать себе одинаковой власти с народами территориальными. Мы должны прямо заявить: национальным большинствам – областная автономия, национальным меньшинствам – национально-бытовое самоуправление.

Третий спорный вопрос – о том, кто должен быть носителем еврейских национальных прав: все еврейское население в лице своего Всероссийского Национального Съезда или местные общины? Сторонники общин на виленской конференции тоже, конечно, имели в виду объединить все еврейство России в одно целое, но полагали, что мы можем добиться только признания общины, а затем уже сами соединим общины в один союз. Для этого, конечно, общины должны иметь право союза между собою. Лично я думаю, что если Гос. Дума не захочет объединенного еврейства, то не даст общинам и права союза, а если объединенное еврейство ей не будет страшно, то она признает его и без этих хитростей. Поэтому настаиваю на том, чтобы мы сразу выдвинули лозунг Всероссийского Национального Съезда как высшего органа евр. нац. самоуправления. Ручаться за то, что Дума его санкционирует, мы не можем, как вообще ни за что не можем ручаться; но если Дума и откажет, это нам не повредит и лишь подтвердит пред всем еврейским населением основное противоречие между интересами еврейства и галутом.

Таковы три спорных пункта нашей платформы. Что же касается до тактики, то она вряд ли должна вызвать самостоятельные дебаты. Она вытекает из платформы. В области тактики мы должны различать два плана: деятельность на общеполитической арене и деятельность внутри

еврейства. На общеполитической арене мы должны поддерживать, соразмерно силам, освободительное движение и готовить общественное мнение к нашим требованиям; наиболее подходящими союзниками для нас будут представители разных национальностей, которые живут вне своих родных областей; мы должны создать союз национально-миноритарных групп. Внутри же еврейства мы должны придать широкое массовое распространение всем нашим лозунгам, провести их через сознание массы; главной же задачей нашей внутренней работы должен быть созыв Национального Собрания для создания явочным порядком той организации еврейства, признания которой требует наша платформа.

(Затем докладчик приступает к чтению постановлений виленской конференции в следующем несколько измененном виде):

I.

Исходя из пункта II Базельской программы, гласящего: «Организация и сплочение всего еврейства соответствующими местными и общими учреждениями сообразно законам каждой страны», Российская Сионистская Организация признает целесообразным и неотложным, на почве совершающегося преобразования государственного строя России, объединение российского еврейства на началах государственного признания еврейской национальности и законоутвержденного самоуправления во всех делах еврейской национальной жизни.

Национальные права еврейского населения, как в области общегражданской жизни, так и в области национального самоуправления, устанавливаются общегосударственной законодательной властью на основании петиции Всероссийского Еврейского Национального Собрания, избранного еврейским населением, без различия пола и местожительства, путем всеобщего, равного, пропорционального, прямого и тайного голосования.

Национальные права еврейского населения устанавливаются и гарантируются общегосударственным законодательным учреждением для всей территории государства Российского и не могут быть изменяемы отдельными областными законодательствами.

II.

Как в Национальном Собрании, так и во всех своих отдельных выступлениях внутри еврейства или на общеполитической арене, РСО, в качестве необходимых условий для свободного и целесообразного развития национальных сил и национальной самостоятельности еврейского населения, отстаивает следующие требования:

A. В области национального самоуправления.

1. К еврейской национальности в России причисляется каждый гражданин еврейского происхождения, который не заявил о своем выходе из состава народности и не принадлежит к категориям, отвергнутым особым постановлением Национального Собрания.

2. Высшее руководство национальным самоуправлением принадлежит Всероссийскому Еврейскому Национальному Съезду, изби-

раемому еврейским населением России, без различия пола и местожительства, на основе всеобщего, равного, пропорционального, прямого и тайного голосования.

3. Местные функции национального самоуправления осуществляются Областными Съездами и Общинными Советами, избираемыми еврейским населением данной местности на основе всеобщего, равного, пропорционального, прямого и тайного голосования.

(По мнению другой части виленской конференции, § 2 и § 3 излагаются так:

2. Органом национального самоуправления признается Общинный Совет, избираемый еврейским населением в каждой отдельной местности, без различия пола, на основе всеобщего, равного, пропорционального, прямого и тайного голосования.

3. Национальные Общины имеют право заключать между собою, для совместного осуществления задач национального самоуправления, союзы областного и всероссийского характера со всеми правами юридического лица, учреждать Союзные Съезды (областные и всероссийские) и избирать для них представителей, по желанию, от Общинных Советов или непосредственным народным голосованием).

4. В качестве представителей еврейского населения органы национального самоуправления пользуются правом петиций, а также всеми имущественными и прочими правами юридического лица.

5. Органы национального самоуправления распоряжаются суммами, пропорционально отчисляемыми из государственных или местных средств на еврейские национальные нужды, и пользуются кроме того правом принудительного дополнительного обложения еврейского населения.

6. Органы национального самоуправления имеют право учреждать, содержать и поддерживать всевозможные институты и корпорации, предназначенные для целей: 1) народного просвещения, 2) народного здоровья, 3) взаимной и трудовой помощи, 4) руководства переселением, 5) благотворительности (эвентуально) и 6) религиозного культа, а также издавать для своих учреждений, в пределах законов государства и области, уставы и инструкции.

Б. В области общего законодательства.

1. Повсеместное право на замену обязательного воскресного отдыха субботним.

2. Признание субботнего отдыха и еврейского ритуала для желающих в общей школе всех степеней и на государственной службе, как обязательной, так и вольной, поскольку оно не препятствует коренным образом правильному исполнению обязанностей.

3. Сохранение норм еврейского обычного брачного права.

III.

В качестве необходимого предварительного условия для прочной организации еврейского населения и свободного развития его национальных сил и национальной самостоятельности РСО всецело присое-

диняется к выраженному всеми территориальными народами России требованию демократизации государственного строя на началах полного народовластия, всеобщей равноправности без различия происхождения, вероисповедания и пола, свободы совести, слова, союзов и собраний, свободы стачек в связи с широкой законодательной охраной труда во всех без исключения отраслях производства, отделения религии от государства, децентрализации управления, национально-областной автономии и самоуправления национальных меньшинств.

При этом РСО поддерживает в особенности следующие принципы:

1. Равенство пред законом должно быть строго проводимо не только во всех областях внутренней жизни государства, но и в международных отношениях, в смысле обеспечения гражданам российским, без различия национальности и вероисповедания, широкой и для всех одинаковой свободы въезда, передвижения и промысла в пределах всех иностранных государств, а иностранцам, без различия национальности и вероисповедания, широкой и для всех лиц данного подданства одинаковой свободы въезда, передвижения и промысла в пределах России.

2. Автономные права национальных областей и права самоуправления национальных меньшинств устанавливаются общегосударственным законодательным учреждением на основах, выработанных областными и национальными собраниями, которые созываются для этой цели на основе всеобщего, равного, пропорционального, прямого и тайного голосования.

3. При осуществлении автономии отдельных областей с предоставлением им особых законодательных сеймов должна быть предварительно гарантирована общеимперским парламентом равноправность национальностей в этих местностях, соблюдение всех гражданских свобод и права национального меньшинства.

4. Народные представители в Государственную Думу, областные сеймы, органы земского, городского и местного самоуправления избираются всеобщей, равной, прямой и тайной подачей голосов, без различия происхождения, вероисповедания и пола, путем пропорциональной системы выборов.

5. Со всевозможной широтой проводится начало выборности судей, правительственных чиновников и агентов местного самоуправления на основе пропорциональной системы выборов.

6. Гарантируется право употреблять языки всех национальностей, в том числе оба языка еврейского населения, повсеместно в публичной жизни и в частных документах.

7. В местностях, где население данной национальности достигает установленного законом процента, органы государственной и областной власти и местного самоуправления обязаны в устных и письменных сношениях с этой частью населения пользоваться ее разговорным языком.

8. Руководство и управление просветительными учреждениями всех видов и степеней, кроме определенных законом категорий, исключается из ведения государственной и местной власти и передается в ведение национальных органов. В распоряжение их поступают, на началах пропорциональности, все просветительные фонды.

IV.

Наша ближайшая деятельность.

В целях борьбы за национальные интересы еврейства РСО принимает следующий образ действий:

А. На общеполитической арене.

1. Соразмерное с интересами, силами и политическим значением еврейского населения активное участие в освободительном движении и государственном переустройстве России.

2. Подготовка общественного мнения в пользу наших требований и пропаганда их среди представителей национальных партий и групп.

3. Выяснение положения и политического значения тех национальных групп, которые при осуществлении национально-областной автономии останутся за пределами родной области, и объединение их на почве защиты прав национального меньшинства.

4. Борьба против национально-агрессивных и ассимиляторских тенденций среди представителей других национальностей.

5. На выборах в Государственную Думу или эвентуальных выборах в Учредительное Собрание, в областные сеймы и в органы местного самоуправления РСО поддерживает, кроме сионистов, лишь ясно выраженных националистов и безусловно противодействует избранию ассимиляторов всех оттенков и степеней.

Б. Деятельность внутри еврейства.

1. В целях приобщения широких еврейских масс к национально-политической активности – проведение через их среду всех выставленных нами лозунгов.

2. Всесторонняя агитационная и техническая подготовка, с привлечением к делу всех сочувствующих еврейских учреждений, обществ и партий для своевременного, совместно с ними, созыва Всероссийского Еврейского Национального Собрания, избранного еврейским населением без различия пола и местожительства на основе всеобщего, равного, пропорционального, прямого и тайного голосования, для установления основ внутренней национальной организации и окончательной выработки национальных требований.

3. Конституирование явочным порядком и по возможности легализация обнимающих все местное еврейское население общин с выборными советами и с функциями полного национального самоуправления.

В местностях, где уже в зародыше имеются общинные организации, систематическая демократизация таковых и расширение их функций до пределов полного национального самоуправления.

4. Созыв съезда деятелей еврейской печати на всех языках для возможного согласования лозунгов.

5. Созыв съезда учителей еврейской школы на всех языках для проведения в жизнь планомерной национализации школы.

6. Образование всероссийского еврейского гимнастического союза.

В ТРАУРНЫЕ ДНИ³⁶

В течение первого года свободы кроме Седлеца разгромлено 638 пунктов. Семейств пострадало 37 тысяч, лиц – 159 тысяч, убито 937 человек, ранено 1.190, вдов осталось 351, круглых сирот – 179, неполных сирот – 1.800, убытков причинено на 51 миллион рублей. Погромный комитет раздал погромленным 5 миллионов рублей. Кроме того, отдельно вдовам и сиротам – 415 тысяч рублей.

Из доклада Комитета помощи погромленным

...Вот уже сколько прошло погромов, а я никак не могу себя пропитать внутренним интересом к событиям этого рода. Конечно, я не умаляю их разрушительной силы, не обесцениваю человеческого горя, что они приносят, но внутреннего интереса не могу в себе вызвать. Как я ни стараюсь себя расшевелить, мне все кажется, что над нами совершается большая кровавая бессмыслица, по поводу которой можно плакать, кто еще не разучился, но не стоит и не о чем размышлять. Я писал об этом недавно – в погромах есть ведра крови и пуды человеческого мяса, но нет в них для еврейского сознания того сокрытого урока – mussar Elohim³⁷, который возвысил бы их до степени трагедии. В трагедии обязательно должна содержаться некая неведомая правда, новое слово, которое познается в этих муках и открывает народу новые пути. А что и кому из нас открыли эти погромы, кого из нас и чему могли научить? Только кишиневская резня сыграла крупную роль в нашем общественном сознании, потому что мы тогда обратили внимание на еврейскую трусость. Но остальные погромы свелись просто к огромной животной и бессмысленной уголовщине – больше ничего.

Мы истекаем кровью и не знаем, во имя чего и какие выводы сделать из наших страданий. В октябре 1905 г. нас громили разные слои русского общества и народа, но мы и раньше знали, что мы окружены врагами; к этому знанию ни октябрь, ни Белосток ничего не прибавили. В Седлеце нас громили официально, по-видимому, без участия общественных элементов, – но ведь даже хасиды Седлеца давно знают цену пану уряднику. Так, меняется обстановка погромов, список участников и форма ран, но по существу остается одно и то же – остается вещное слово Бялика: *эйн таам ле-мойсхем...* (нет смысла в вашей смерти...)

Когда мне рассказывают подробности погромов, мое внимание помимо воли отрывается и ускользает на другие пути. Мне хочется уяснить себе вопрос: хорошо, допустим, что я дослушаю до конца и буду знать, где, как и кого они убили, но ведь не в этом дело, а вот как быть дальше, что можно сделать против погромов?

Самооборона – вряд ли об этом можно говорить серьезно. Она не принесла нам в итоге никакой пользы; вначале страх перед нею действительно предотвратил несколько погромов, но теперь, когда те ее испытали на деле и сравнили количество убитых евреев и погромщиков, кто с ней считается?

³⁶ Еврейский народ. № 1, 1.10.1906.

³⁷ Божественная мораль (*иврит*).

Итоги самообороны надо подводить по общим результатам, и эти итоги ясно говорят: когда им угодно, они устраивают погром и убивают столько евреев, сколько им нужно, а самооборона тут ни при чем. Конечно, в самообороне есть утешение. Но ее практический итог равен нулю и нулем останется, и пора спокойно признать это вслух, чтобы люди даром не надеялись.

Некоторые господа в последнее время придумали новое средство – антипогромную пропаганду. Одна моя знакомая девочка уверяет, что белок ловят очень просто: надо к ней подойти на полшага расстояния и насыпать ей соли на хвост, и готово – белка в плену. Я всегда об этом вспоминаю, когда мне говорят об антипогромной агитации. Старая песня, давно знакомая иллюзия – эти люди будут печатать статьи и брошюры, устраивать лекции, и они думают, что русские станут их читать или слушать. Еще бы, держите карман. Я помню жалкий восторг евреев, когда в 1905 г. в «Сыне Отечества» появилась большая и скверная статья «Трагедия шестимиллионного народа». Им казалось, что вся Россия читает и умиляется. А на самом деле только евреи одни и расхватали этот знаменитый номер газеты, памятник нашей глупости, и на русских она никакого впечатления не произвела просто потому, что у каждого есть свои заботы и ему не до чужих, особенно в наше время. Еще ярче выказалась наша глупость, когда после октября в Петербурге устроили от имени Союза союзов «русский» митинг протеста и приложили все старания, чтобы евреи сидели дома, а русские пришли: оказалось, конечно, что русские остались дома, а ораторам пришлось ломать комедию перед сплошной еврейской публикой, призывая ее протестовать от благородного русского сердца. И это вполне понятно – русские не пришли вовсе не по злобе, а из самого законного равнодушия, потому что каждый человек, в особенности серьезный и дельный человек, естественно, уделяет внимание своим насущным интересам и не обязан его уделять интересам других.

Я знаю, теперь эта идея многих увлекает, и образовались даже нарочитые книгоиздательства для печатания классических апологий, над которыми сами евреи зевают, а неевреям, без сомнения, даже и зевать не приходится. Образовались также в разных местах досужие комиссии, которые рассылают такую словесность направо и налево, по случайным адресам, или даже при газетах... Сыпьте, сыпьте белке соль на хвост! Получит еврей брошюрку – позевает, но прочтет; получит русский – посмотрит: а, это про евреев? – и отложит в сторону. У него своих хлопот довольно. Что – он, по-вашему, обязан досконально знать и про армян, и про чукчей?

Все эти верующие господа думают, что если русская масса охотно читает юдофобскую литературу, она столь же охотно будет читать и юдофильскую. Большая и наивная ошибка. Прежде всего, надо помнить о тех элементах, которые в данном случае стоят на первом плане, – о черной сотне в простейшем смысле, которая хочет погрома ради грабежа и обещанной мзды: им не нужна даже погромная литература, а пронять их еще антипогромной проповедью – ведь это была бы совсем уж глупая мечта. Наши проповедники, несомненно, имеют

в виду другую часть массы – среднюю, обывательски-честную, ту самую, которую действительно почти так же легко будет в надлежащую минуту послать на баррикады, как и на погром. Но эта масса и есть именно та, которая психологически не может заняться чтением брошюр о еврейских добродетелях. Погромную брошюру она жадно читает по той самой причине, почему она жадно читает и летучий листок революционеров – если он, конечно, изложен понятным языком: здесь ей говорят о причинах ее собственных страданий, указывают ей средства к облегчению ее собственных бед. Разница только в том, что погромная брошюра во всем винит жида, революционный листок – урядника, но и здесь, и там ей, прежде всего, говорят не о жидках и не об урядниках, а о *ней* самой, об *ее* кровных интересах.

Совершенно другое дело – антипогромная литература. В самом ее назначении коренится абсолютная невозможность ее успеха: она вся посвящена доказательству именно того, что к страданиям русской массы жид нисколько не причастен, что не он виноват, не в нем причина – словом, что ей, русской массе, от еврея ни тепло, ни холодно... Но тогда с какой же стати будет она тратить время на чтение о том, от чего ей ни тепло, ни холодно? Массовому человеку чтение дается нелегко: он не умеет «пробегать» строки, он вчитывается и вникает. И именно поэтому он берет в руки только ту книжку, о которой ему доподлинно известно, что тут верно или неверно, другой вопрос – объяснены причины его нужды и горя. Не может он, органически не может и по совести даже не обязан интересоваться какими-то евреями как таковыми. С того самого момента, как они перестают быть причиной его бед, они для него теряют всякий интерес. Сказать ему, что в этой брошюре доказывается невинность евреев, значит сказать ему, что эта брошюра до него не касается. Русская масса глотает и будет глотать погромную литературу, потому что это литература о ней, и не будет читать антипогромных брошюр, потому что это литература о евреях.

Моя знакомая девочка – очень наивная девочка. Она не соображает, что прежде чем насыпать белке соли на хвост, надо подойти к белке, а в этом и вся загвоздка...

Я прекрасно понимаю те добрые побуждения, которые заставляют разных господ измышлять все эти проекты спасения, но ничего из этого не выйдет. Спасения нет. Не злая воля подстрекателей, не темнота народной толпы, но сама объективная сила вещей, имя которой чужбина, обратилась ныне против нашего народа, и мы бессильны и беспомощны. Молодежь наша будет честно защищаться, но лавина разгрома с хохотом погребет эти хрупкие дружины и даже не замедлит своего хода. Кратеры галута разверзлись, буря сорвалась с цепи, и чужбина сотворит над нами все, что ей будет угодно. Вы будете корчиться от бешенства и подымать яркие знамена борьбы, вы напряжете все силы духа, чтобы найти тропинку спасения, и сами себе поверите на миг, будто нашли ее, – но я не верю, и гнушаюсь утешать себя сказками, и говорю вам со спокойным холодом в каждом атоме моего существа: нет спасения, вы в чужой земле, и до конца свершится над вами воля чужбины!

Один еврей-журналист воспользовался недавно Белостоком, чтобы сунуть мне в душу свои пальцы и пощупать там, какова моя «по-

громная философия». И нашел, что я равнодушен к еврейскому горю. Я ему не ответил – я слишком хорошо понимаю настроение людей этого типа, чтобы гневаться на них за несправедливость или обиду. Здесь было повторение старой еврейской истории. Человек отдал лучшие соки своей жизни на то, чтобы распахать чужую ниву, и в последнюю минуту хозяева убили его братьев и трупами их удобрили свое поле; и человек пошатнулся от оскорбления, и судорожно хватается за соломинки, и злится на всех людей за каждое слово правды, и хочет непременно что-то доказать или опровергнуть – даже нельзя понять, что именно. Я не стал ему отвечать, да и нечего мне было ему ответить: у меня нет никакой погромной философии...

У меня нет погромной философии. Я не из тех, кому она необходима, чтоб было чем заштопать прорехи, было за что ухватиться, когда чужой ураган опрокинет их вместе с их истуканами. Я ничему не учусь на погромах нашего народа, и ничего мне сказать не могут они такого, чего бы я раньше не знал. И я не ишу понапрасну лекарственной травы против отдельных нарывов, потому что я в нее не верю. У меня нет ни погромной философии, ни погромной медицины. Я люблю мой народ и Палестину: это моя вера, это ремесло моей жизни, и ничего мне на свете больше не нужно. И когда разражается гром и рабские души мечутся с жалобным воем и ищут пластыря для скорой помощи, я стискиваю зубы, собираю мои силы и делаю дальше работу моего ремесла. Я хочу торговать шекелями³⁸ среди погрома, я клею голубую марку на список убитых: в этом моя гордость. Вы сунули пальцы в мою душу и не нащупали в ней ничего кроме равнодушия – видно, толстая кожа стала на ваших пальцах от чуждой работы. Но что бы ни творилось у меня на душе – никогда не приду я на страшное пожарище моего народа с заплаканным носовым платком в руках, и ни его, ни себя не оскверню надругательством жалких утешений. У меня нет лекарств от погрома – у меня есть моя вера и мое ремесло: не из погромов я вынес эту веру и не ради погрома я оставляю даже на час это ремесло. Вера моя говорит, что пробьет день, когда мой народ будет велик и независим и Палестина будет сверкать всеми лучами своей радужной природы от его сыновнего рабочего пота. Ремесло мое – ремесло одного из каменщиков на постройке нового храма для моего самодержавного Бога, имя которому еврейский народ. Когда молния режет насквозь черное небо чужбины, я велю моему сердцу не биться и глазам не глядеть: я беру и кладу очередной кирпич. И в этом мой единственный отклик на грохот разрушения.

ПО ПОВОДУ ПИСЬМА АХАД-А-АМА³⁹

Возражения Ахад-а-Ама [Еврейская Мысль, № 2] против лозунга «национального самоуправления» сводятся к следующему: органы этого «самоуправления» могут, чего доброго, превратиться под влиянием случайных настроений большинства в орудия открытой или замаски-

³⁸ Речь идет о денежных взносах в кассу Сионистского конгресса.

³⁹ Еврейская Мысль. №3, 19.10.1906

рованной ассимиляции, и тогда националистам придется так же точно выступить из состава национальной общины, как теперь на западе многие, оставаясь евреями, выходят из общины конфессиональной.

Точка зрения совершенно новая. До сих пор мы знали два мнения: взгляд Бунда, который требовал низведения автономии до одной только просветительной функции, и взгляд сионистов разных оттенков, которые, наоборот, настаивали на всяческом расширении компетенции национального самоуправления. Ахад-а-Ам занимает третью позицию, одинаково отличную как от нашей, так и от бундовской: все что угодно, кроме культуры! Вопросы национальной культуры должны быть изъяты из ведения публично-правовых институтов и предоставлены свободному самоопределению личности путем добровольных группировок.

Собственно говоря, это возражение можно было бы парализовать чисто техническими поправками в построении самоуправляющейся национальной организации: например, можно было бы установить, что ни предполагаемый всероссийский «национальный съезд», ни даже местный общинный совет не вправе навязывать всем общинным школам определенный язык преподавания (скажем, тот жаргон, который так неуютен Ахад-а-Аму), а должен предоставить в распоряжение меньшинства, если таковое окажется, пропорциональное количество школ с другим языком – предположим, еврейским или даже русским. Этим был бы устранен всякий гнет еврея над евреем в той области, которою Ахад-а-Ам больше всего дорожит – в области национальной культуры. Да, насколько нам известно, именно так и смотрели на вопрос участники Виленской конференции журналистов-сионистов, имея в виду оттенки в культурном облике еврейства разных окраин. Кроме того, даже при самом совершенном устройстве аппарата национального самоуправления всегда останутся элементы, тяготеющие к выходу из еврейства, и им в этом отношении должна быть предоставлена полная свобода: по замыслу той же программы, которую разбирает Ахад-а-Ам, принадлежность к составу той или другой народности должна определяться личной декларацией. Затем, никому не должно быть запрещено создавать, помимо органов национального самоуправления, частные школы и т. д.

Вообще, на почве технических усовершенствований было бы не так трудно удовлетворить Ахад-а-Ама; но нам кажется, что разногласие между ним и нами гораздо глубже. Оно коренится в самой концепции сионизма – субъективно-аристократической у Ахад-а-Ама, стихийно-массовой у нас. В его понимании сионизм есть задача для героев, движимых императивом национального идеала; для нас сионизм есть объективно неизбежный выход, к которому сила вещей толкает все элементы еврейства независимо от их настроения. Недаром поэтому Ахад-а-Ам подымает совершенно новый вопрос, который, кажется, никому еще в голову не приходил при постановке и разработке так называемой проблемы национальностей: там, где все озабочено устранением гнета одной нации над другою, Ахад-а-Ам опасается национальной розни внутри одной и той же народности. И с его точки зрения это вполне возможно. Если все дело в субъективном моменте, если быть националистом может только тот, кто дорос до сознательной любви к самобытности как к автономной категории – тогда, конечно, удел таких

отборных националистов – оставаться вечно в меньшинстве, а народная масса пойдет к ассимиляции, и надо изъять у нее из рук все средства принуждения, чтобы она не могла увлечь за собою в ту же пропасть немногих хранителей национальной искры...

Мы на все это иначе смотрим. Мы не боимся массы. Мы считаем массу именно в ее подавляющем большинстве носительницей самых ценных национальных идеалов – и не потому, что она будто бы уже вполне их сознает, а потому, что они естественно вытекают из всех объективных условий ее существования как единственный полный ответ на весь комплекс ее нужд – материальных и духовных. Мы поэтому верим, что каждый шаг народного множества по пути самостоятельности будет фактически шагом к возрождению нашей национальности. Духовный сионизм смотрит на себя как на достояние избранных и недоверчиво сторонится от толпы; демократический сионизм ничего так пламенно не желает, как бросить свой факел в народную гущу, бесстрашно передать свое дело в руки всего народа – ибо твердо знает, что сама действительность лучше и крепче нас ведет народ по пути национального сплочения к восстановлению исторического еврейства во всех его ценностях – в его культурном типе, в его стране, в его языке.

* * *

Оказалось, что сионисты все-таки выпустили циркуляр о предстоящем съезде. Два дня назад бундовские публицисты уверяли, что это почти так же несбыточно, как еврейское государство в Палестине. Такая неожиданность их, очевидно, немножко сбила с толку, и они еще не обдумали, с чего тут начать атаку. Но это, конечно, ничего не значит: время не терпит, а «начать» можно и не обдумавши. И что ж: поскребли малость потылицу и начали.

Угадаете ли с чего? С протеста во имя чистоты сионизма. В программе съезда они усмотрели непозволительно трэфные элементы. Что такое: национальное собрание, пропорциональные выборы, самоуправление общин? А где же Сион, *di alte mutter Zion*⁴⁰? Измена! И сейчас же отсюда умозаключение: сионисты поняли, что на старую удочку правоохраненного убежища «еврейский простой избиратель» больше не пойдет – вот они его и «мажут салом по губам», как выражаются немцы.

Протестуем против этого оскорбления национального достоинства тевтонской расы: немцы-то, положим, так выражаются, но делают они это обыкновенно впад и кстати, так что ссылаться на них в данном случае просто несправедливо. Надо растеряться до полной беспомощности, чтобы говорить такие вещи. Где же и когда видана партия, которая на выборах в парламент выступала бы только со своим конечным идеалом? Парламент есть учреждение злободневное, существующее для реализации не идеалов, а задач ближайшего дня. Послушать бундовских публицистов – можно подумать, что они в

⁴⁰ Еврейская Мысль. № 3, 19.10.1906.

⁴¹ Старая мама Сион (*идиш*).

свою избирательную платформу так и впишут аршинными буквами обобществление орудий производства. Держим пари, почтеннейшие, что даже не пикнете, а будете скромно предлагать всякие полезные паллиативы, осуществимые при буржуазном порядке: хорошую конституцию, ответственное министерство, охрану труда и страхование рабочих. И если уж вам угодно ссылаться на немцев, то, кажется, достаточно известно, что усерднее всех в этой области «мазанья салом по губам» действует авторитетнейшая из социал-демократических партий – германская.

Впрочем, что ж делать, сало так сало; очень сожалеем, что вам оно не по вкусу – это тем более грустно, что вам его все-таки придется проглотить. О, мы вполне входим в ваше положение! Вы, очевидно, рассчитывали, что мы предложим еврейским избирателям явиться от их имени в Думу и первым делом попросить у добрых гг. депутатов чартера на Палестину? Вы, очевидно, судите о нашем мировоззрении по себе: это *вы* собираетесь строить еврейское счастье на чужой ласке. Мы возьмем Сион не через русскую Думу, а через организованные силы еврейского народа; и от русского парламента мы потребуем не Сиона, а равенства перед законом и права на организацию наших национальных сил.

Собственно говоря, все это много раз объяснялось – бундовские публицисты имели полную возможность и время понять нашу точку зрения, и если они в этом до сих пор не успели, то надо же опять-таки войти в их положение. Их единственный козырь в борьбе с сионизмом состоял именно в этом недуге нашей юности – в отсутствии программы-минимум. В эту точку они били, ею пробавлялись – и теперь у них, так сказать, хлеб отняли... Согласитесь, положение тяжелое. Теперь ничего другого не остается, как отбросить окончательно всякую брезгливость и пустить в ход последнее средство – апологию действительности: напрасно жалуетесь, евреям очень недурно живет-ся, а будет еще лучше, все обстоит благополучно, урра!

Татьяна АЗАЗ-ЛИВШИЦ родилась в Харькове. Закончила биофак Ленинградского университета. Репатриировалась в 1977 году. Автор книги «Лекарственные препараты в Израиле» (1996). Составитель (вместе с Б. Л. Мильявским) сборника избранных работ литературоведа Льва Лившица и воспоминаний о нем «Вопреки времени» (1998), составитель сборника статей, эссе, очерков Эдуарда Капитайкина и воспоминаний о нем «Преодоление» (2013). Живет в Мевасерет-Ционе. В «ИЖ» опубликованы рассказ **Т. А.-Л.** «Неожиданный визит» (№ 24–25); рецензии на книги Натальи Дорошко-Берман, Марины Меламед, Шуламит Шалит, Юлии Винер, Стива Левина и на альманахах «Римон» (№№ 11, 13, 20–21, 22, 41, 42); эссе об Александре Воловике (№ 26).

Елена АКСЕЛЬРОД родилась в Минске, жила в Москве. Окончила филфак МГПИ. Репатриировалась в 1990 году. Автор книг для детей, поэтических сборников, книги-альбома об отце – художнике Меире Аксельроде (1993), книги «Двор на Баррикадной» (воспоминания, письма, стихи, 2008). Стихи и переводы (с идиша и др.) включены в антологии. Лауреат (1995) премии СРПИ. Живет в Маале-Адумим. В «ИЖ» опубликованы подборки ее стихотворений (№№ 3, 10, 16, 34, 40, 44); рецензии на книги Ю. Шаркова (№ 5), Я. Хромченко (№ 7), М. Вейцмана (№ 26); эссе об А. Белоусове «Власть одиночества» и переводы его стихов (№ 17); переводы из Л. Гольдберг (№ 18); фрагменты книги «Двор на Баррикадной» (№ 24–25). В «Библиотеке ИЖ» вышла книга **Е. А.** и Михаила Яхилевича «Стена в пустыне» (2000).

Лейя АЛОН (Гринберг) родилась в Белоруссии. С детства жила в Прибалтике. Окончила филфак САГУ. Работала журналистом. Репатриировалась в 1979 году. Более двадцати лет проработала на радио. Автор книг очерков «И возрадуется сердце ваше» (1991), «Языком земли и неба» (2004, на иврите), «Наедине с Иерусалимом» (2012). Живет в Иерусалиме.

Степан БАЛАКИН (1943, Чимкент – 2015, Ташкент). Поэт, бард, журналист. С 1946 года жил в Ужгороде, окончил филфак Госуниверситета. В 1972 году переехал в Ташкент. Один из организаторов КСП «Апрель» (1975) и фестивалей авторской песни «Чимган» (1977–1989). С 1993 года активный участник песенного клуба «Арча». Собрал и напечатал книги своих стихов и песен «Октава» (1997), «Мой кораблик, летящий в небыль...» (2011), книгу «Афоризмы, фразы, каламбуры» (2012). В «ИЖ» опубликованы подборки **С.Б.:** стихов и песен – «Счастлив одинокий бегун» (№ 7) и афоризмов – «Со своим “Узи”» (№ 30).

Игорь БЯЛЬСКИЙ родился в 1949 году в Черновцах. Жил на Украине, в России и в Узбекистане. Окончил Пермский политехнический институт (1971). Репатриировался в 1990 году. Один из основателей ташкентского КСП «Апрель» (1975) и «Иерусалимского журнала» (1999). Автор четырех сборников стихов. Живет в Текоа. В «ИЖ» опубликованы стихи **И. Б.** (№№ 5, 6, 13, 14–15, 17, 20–21, 22, 23, 24–25, 41, 47); переводы из Й. Амихая, Н. Альтермана, Э. Керета, В. Чернина, У. Ц. Гринберга (№№ 5, 11, 12, 29, 49); посвящения С. Шенбрунн, Ю. Киму (№№ 29, 40); заметки о Д. Ханане, Ш. Маркише, А. Файнберге И. Мерасе (№№ 3, 17, 31, 48).

Юлия ВИНЕР родилась в 1935 году в Москве. Окончила сценарное отделение ВГИКа. Работала в документальном кино. Репатриировалась в 1971 году. Переводила с иврита. Автор книги стихов «О Деньгах, о Старости, о Смерти и пр.» (1998, 2007), романа «Красный Адамант» (2006), сборника рассказов «Место для жизни» (2011). Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы повести **Ю. В.** «Смерть в доме творчества» (№ 29), «Пушкин написал начало» (№ 48), рассказ «Для спины полезно» (№ 49) и главы из книги «Былое и выдумки» (№№ 40, 44, 46, 47).

Инна ВИНЯРСКАЯ (1935, Запорожье – 2014, Иерусалим; похоронена в Текоа). Одна из основателей Текоа (1977) и координаторов поселенческого движения «Амана» (1979–1999), координатор программ на русском языке в Доме наследия Ури Цви Гринберга (2000–2013). Вместе с репрессированной матерью (отец расстрелян) в 1937 году была отправлена в лагерь ЧСИР. С 1945-го жила в Одессе, с 1967-го – в Подмоскowie. Репатрировалась в 1973 году.

Поэтические переводы **И. В.** печатались в книге Зезва Султановича «У. Ц. Гринберг. О Боге, о мире, о времени нашем» (2003) и в «ИЖ» № 16. Подборка ее стихотворений опубликована в № 31.

Екатерина ГОРБОВСКАЯ родилась в Москве. Училась в Литинституте им. Горького. Стихи включены в антологии («Московская муза 1799–1997», «Строфы века», «Русская поэзия. XX век» и др.). Автор книг стихотворений «Первый бал» (1982), «Обещала речка берегу» (2003), «Утро вечера» (2013). Живёт в Лондоне.

В «ИЖ» стихотворения **Е. Г.** опубликованы в №№ 43, 45, 47.

Ханох (Геннадий) ДАШЕВСКИЙ родился в 1948 году в Риге. Учился в Латвийском университете. Участвовал в подпольном сионистском движении, был одним из руководителей нелегального семинара «Рижские чтения по иудаике». С 1971-го находился в отказе. Репатрировался в 1988 году. Переводы с иврита, идиша и испанского публиковались на литературных сайтах и в альманахах. Живёт в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы переводы **Х. Д.** из Х. Н. Бялика, Рахели, Ш. Черниховского, А. Шлёнского (№ 47); У. Ц. Гринберга (№ 48) и эссе «Еврей на закате Европы» (№ 48).

Людмила ЕФРЕМОВА родилась в 1955 году в Душанбе в семье офицера военно-морского флота. Детство провела на побережье Баренцева моря. Жила также в Прибалтике, на Крайнем севере, в Якутии и Нижнем Новгороде. Окончила Горьковский политехнический институт, Высшую школу театрального искусства при РАТИ и Нижегородский институт развития образования (практическая психология). Работала инженером-системотехником, журналистом, театральным администратором, психологом. Автор книг стихов и прозы «Характер» (1985), «Шла, тихонько напевая» (2003), «Ловец бабочек» (2005), «Сказки нашей жизни» (2010). С 2013 года живет в Ашдоде.

Владимир (Зезв) ЖАБОТИНСКИЙ (1880, Одесса – 1940, Нью-Йорк). Поэт, прозаик, драматург, переводчик и публицист, основатель ревизионистского течения в сионизме. Перевёл на русский язык «Сказание о погроме» Х.-Н. Бялика (1904). В 1911 году основал изд-во «Тургеман», выпускавшее на иврите произведения мировой литературы. В 1917–1918 гг. служил в созданном по его инициативе Еврейском легионе в составе британской армии. Один из редакторов журнала «Рассвет», редактор выходившей на иврите газеты «Давар а-йом». Автор романов «Самсон Назарей» (1926) и «Пятеро» (1936). Перевел на иврит произведения Данте, Гёте, Ростана, Э. По. В 1964 году, согласно завещанию **В. Ж.**, его останки перезахоронены на горе Герцля в Иерусалиме. Его именем названа одна из центральных улиц столицы.

В «ИЖ» (№№ 34, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 47) впервые после газетных публикаций 1902–1905 гг. напечатаны его избранные сочинения тех лет, а также статьи М. Хейфеца «Почему Жаботинский не стал еврейским вождём» (№ 29) и Л. Кациса «Начало пути», «1904: о Герцле и о себе», «“Русская весна” Владимира Жаботинского», (№№ 34, 36, 39).

Марк ЗАЙЧИК родился в 1947 году. Жил в Ленинграде. Репатрировался в 1973 году. Автор нескольких книг прозы. Живет в Раанане. В «ИЖ» опубликованы рассказы **М. З.** (№№ 2, 40, 42); заметки «Министр Перес и писатель Солженицын» и интервью с И. Бродским (№ 9), повести «В нашем регионе», «Жизнь прекрасна» (№ 10, (34).

Алексей ИВАНТЕР родился в 1961 году в Москве. Учился в МГПИ им. Ленина, был рабочим в геологической партии на Верхоянском хребте, строил на Алтае линии электропередачи, жил сезонным сбором яблок под Россосью, в 1989 году возглавил (совместно с Алексеем Сосной) издательство «Постскриптум». В 2011 году издал хрестоматию «Шедевры русской поэзии (Вторая половина XX века)». Автор семи книг стихотворений. Живет в Москве. В «ИЖ» опубликованы подборки стихотворений **А. И.** (№ 44, 47) и заметки об Игоре Царёве (№ 45).

Елена КАЛАШНИКОВА родилась в 1976 году. Окончила Литинститут им. Горького (отделение перевода), Институт европейских культур и аспирантуру РГГУ. Автор книги «По-русски с любовью: беседы с переводчиками» (2008). Живет в Москве. В «ИЖ» № 44 опубликованы фрагменты из интервью **Е. К.** с Асаром Эппелем.

Юлий КИМ родился в 1936 году в Москве. Автор более пятисот песен, десятков пьес, сценариев и книг. Лауреат Государственной премии им. Булата Окуджавы (2000). В 1998 году переехал в Израиль. Живет в Иерусалиме, а в последнее время – и в Москве. В «ИЖ» опубликованы стихотворения и песни **Ю. К.** (№№ 1, 6, 11, 14–15, 31, 42, 45); заметки о Веничке Ерофееве (№ 7), Ю. Ряшенцеве и И. Губермане (№ 38), А. Эппеле (№ 44); эссе о Михаиле Щербакове и повесть «Однажды Михайлов с Ковалем» (№ 17), зонги из рок-оперы «Время складывать камни» (№ 24–25) и спектакля «Голый король» (№ 37); «Рассказы из Иерусалимской тетради» (№ 28); посвящение А. Городницкому (№ 45); главы из книги «Моя жизнь в искусстве кино» и выпавший по ходу постановки фрагмент либретто мюзикла «12 стульев», (№ 40); воспоминания «В декабре 1968» (№ 46) повесть «Путешествие к маяку» (№ 3). Книга с одноименным названием вышла в 2000 году в «Библиотеке ИЖ».

Михаил КНИЖНИК родился в 1961 году в Запорожье. Окончил Ташкентский мединститут (1985). Репатрировался в 1995 году. Публиковался в литературных журналах и альманахах. Автор сборника стихов «Готовальня» (1991). Живет в Мевасерет-Ционе. В «ИЖ» опубликованы подборки стихотворений **М. К.** (№№ 19, 44) и эссе об Александре Файнберге «Живой поэт» (№ 31).

Сергей КОСТЫРКО родился в 1949 году в г. Артем Приморского края. В 1963 году с семьей переехал в г. Малоярославец Калужской области. Окончил филфак МГПИ (1973). Работал школьным учителем в Якутии

(1973–74), в журнале «Литературное обозрение» (1974–1980), техником в Первом московском медицинском институте (1980–82), с 1986 работает в журнале «Новый мир». С 1998 года редактор его сетевой версии. Автор книг прозы «Шлягеры прошлого лета» (1996), «На пути в Итаку» (2009), «Медленная проза» (2012), «Дорожный иврит» (2015) и книги литературной критики «Простодушное чтение» (2010). Академик-учредитель Академии русской современной словесности (1988). Живет в Москве. В «ИЖ» № 12 опубликована рецензия С. К. на роман А. Каштанова «Каньон а-Шарон».

Евгения КРАВЧИК родилась в Черновцах. Много лет прожила в Тбилиси. По образованию – филолог. Репатрировалась в 1990 году. Автор многочисленных репортажей о терактах и военных действиях. Лауреат премии им. Кеннета Абрамовича (2008) за выдающийся вклад в критику израильских СМИ. Живёт в Бат-Яме.

Семён КРАЙТМАН родился в Одессе в 1965 году. Учился в Одесском, Ташкентском и Уральском политехнических институтах. Репатрировался в 1990 году. Живет в Герцлии. Работает инженером. В «ИЖ» опубликованы подборки стихотворений С. К. «Кунжут, откройся» (№ 42), «Птичий след» (№ 43) и книга в журнале «Вручая грифелью свободу» (№ 46). В «Библиотеке ИЖ» вышла книга стихотворений «Про сто так» (2015).

Пётр КРИКСУНОВ родился в 1954 году в Киеве. Репатрировался в 1976 году. Изучал иврит и древнесемитские языки в Еврейском университете в Иерусалиме. Среди опубликованных переводов на иврит – «Аи» (избранные стихотворения и эссе) О. Мандельштама (1990), «Как нам обустроить Россию» А. Солженицына (1991), «Преступление и наказание» (1995) и «Подросток» (2008) Ф. Достоевского, «Приглашение на казнь» В. Набокова (1995), «"Смерть Ивана Ильича" и другие рассказы Льва Толстого» (1999), «Мастер и Маргарита» (1999), «Собачье сердце» (2002), «Роковые яйца» (2003) М. Булгакова, «Праздник» (избранные стихотворения) М. Генделева (2000), «Сумерки богов» М. Каганской (избранные эссе, 2005), «Доктор Живаго» Б. Пастернака (2006), «Самсон Назорей» З. Жаботинского (2007), «Счастливая Москва» А. Платонова (2010), «Вешние воды» И. Тургенева (2011). Живет в Иерусалиме.

Галина КУЛЬТИАСОВА родилась в Ленинграде. Окончила биофак ЛГУ им. А. А. Жданова. Живет в Петербурге, преподает биологию. С 2011 года является корректором «ИЖ».

Анна ЛИХТИКМАН родилась в 1969 году в Ворошиловграде. Репатрировалась в 1990 году. Окончила иерусалимскую Академию художеств «Бецалель». Художник-иллюстратор. Среди оформленных книг «Путеводитель по Израилю (только и исключительно) для детей» Линор Горалик (приз еврейских общин «Скрипач на крыше») и «Рассказать рассказ» Мирик Снир. Тексты публиковались в электронных изданиях «Отото» и «Букник», сообществе «txt_me», в «Новой Юности»; часть публикаций – под псевдонимом Давид Мартель. Живёт в Иерусалиме.

Давид МАРКИШ родился в 1938 году в Москве. После ареста отца был сослан с матерью, сестрой и братом в Казахстан. Учился в Литинституте им. М. Горького, на Высших сценарных курсах. Репатрииро-

вался в 1972 году. Участник Войны Судного дня. В 1982–1985 гг. возглавлял Союз русскоязычных писателей Израиля. Живет в Ор-Иегуде. Автор более двух десятков книг (многие из них переведены на другие языки), лауреат нескольких литературных премий. Живет в Ор-Иегуде. В «ИЖ» (№№ 6, 8, 11, 12, 17, 24–25, 27, 34, 36, 41, 42, 43, 45, 46, 48) опубликованы рассказы **Д. М.**, эссе «Русская рулетка Олеси» (№ 14–15); интервью с В. Полухиной «Все зависит от Мастера» (№ 31), главы из романа «Тублиер» (№ 32), заметки об Асаре Эппеле (№ 44).

Перец МАРКИШ (1895, местечко Полонное Волынской губернии –1952, место захоронения неизвестно). Еврейский поэт, романист и драматург, классик идишской эпической поэзии. С 1912 года писал стихи на русском языке. В 1916–1917 гг. рядовой русской армии, участник Первой мировой войны. После демобилизации по ранению в 1917 году публикует стихи и прозу на идише. В 1921 году выехал в Польшу, затем жил во Франции, посетил Германию, Англию, Эрец-Исраэль, выступал с докладами о новой поэзии и с чтением стихов. Совместно с У. Ц. Гринбергом и М. Равичем выпустил два сборника экспрессионистского альманаха «Халястрэ». В 1926-м вернулся в Советский Союз, жил в Москве. Автор романов, пьес, сборников стихотворений. Руководил Еврейской секцией СП, был награжден Орденом Ленина (1939). Однако творчество **П. М.** нередко выходило за идеологические рамки, устанавливаемые советским руководством. Во время Великой Отечественной войны участвовал в работе Еврейского антифашистского комитета. В 1949 году был арестован и 12 августа 1952 года расстрелян вместе с другими выдающимися деятелями еврейской культуры в СССР. Произведения неоднократно издавались в переводах на русский язык, в том числе в Большой серии «Библиотеки поэта» (1969) в переводах А. Ахматовой, П. Антокольского, Э. Багрицкого и др.

Светлана МАРКОВСКАЯ родилась в 1965 году в Новосибирске. Много лет прожила на Крайнем Севере. Работала на телевидении и радио. Лауреат поэтического конкурса им. Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай», автор песенных текстов, телесценариев, телесериалов, сценариев массовых зрелищ и концертов. Репатриировалась в 2011 году. Живет в Кацрине. В «ИЖ» опубликованы подборки стихотворений **С. М.** (№№ 32, 48) и эссе памяти Полины Витман «Вдох и выдох» (№ 49).

Станислав МИНАКОВ родился в 1959 году в Харькове. Автор книг «Имярек» (1992), «Верь» (1993), «Листобой» (1997, стихи и проза), «Хожение» (2004; стихи 1983–2004, переводы, пьеса, поэмы), «Где живет ветер» (переводы стихотворений А. А. Милна; 1991). Автор-составитель энциклопедии «Храмы России» (2008) и тома «Всеобщая история музыки» (вместе с Анной Минаковой, 2009). Перевел стихи восьми авторов для трехтомника «Семь веков английской поэзии» (2007). Лауреат премии им. Б. Слуцкого (1998), конкурса-фестиваля «Культурный герой XX века» (2002), конкурса духовной поэзии в интернете (2002), конкурса «Русское слово Украины» (2003), премии «Народное признание» (2005), премии им. Арсения и Андрея Тарковских (2008). Победитель турнира поэтов «Коктебель – 2004» и др. Награжден медалью им. Василия Шукшина (2014). В настоящее время живет в Белгороде.

В «ИЖ» опубликованы статья «Сухарики Антоныча» (№ 29), стихи (№ 40) и заметки памяти Игоря Царёва (№ 45).

Юлия РАБИНОВИЧ родилась в 1968 году в Москве, репатрировалась в 1990 году. Окончила Тель-Авивский университет (1994). Живет в Реховоте. Работает логопедом. Сказки **Ю. Р.** публиковались в журнале «Кукумбер» и сборниках «Заповедник сказок».

В «ИЖ» № 49 опубликована подборка стихотворений «На ощупь».

Виктория РАЙХЕР родилась в 1974 году в Москве. Репатрировалась в 1990 году. Окончила Иерусалимский университет и университет «Лесли» (Бостон). Занимается психологией. Публиковалась в литературной периодике, в сборниках «Русские инородные сказки» (тт. 1, 2, 3), «ПрозаК», «Секреты и сокровища: лучшие рассказы 2005 года» и др. Автор книги прозы «Йошкин дом» (2007), издала диск своих песен «Полёт шмеля» (2000). Живет в Текоа.

В «ИЖ» опубликованы рассказы **В. Р.** (№№ 19, 22, 41, 42, 44), подборка психосказок «Прекрасный результат» (№ 31), и стихи «Про кота» (№ 32).

Алекс ТАРН (Алексей Тарновицкий) родился в 1955 году в Арсеньеве (Приморский край). С детства жил в Ленинграде. Репатрировался в 1989 году. Автор книги стихов «Антиблок» (1991) и десяти книг прозы. Финалист «Русского Букера» (2007), лауреат премии им. Марка Алданова (2009). Живет в поселении Бейт-Арье.

В «ИЖ» опубликованы эссе **А. Т.** «Сумерки идеологий» (№ 14–15), «Пятая звезда» (№ 33), «Делай, что должно...» (№ 36); глава из романа «Гиршуни» (№ 29); романы «Протоколы сионских мудрецов», «Иона», «Пепел», «Записки кукловода», «Летит, летит ракета», «Дор», «В поисках утраченного героя», «О-О», «Рейна, королева судьбы» (№№ 16, 19, 22, 23, 27, 30, 31, 36, 41, 49); повести «Дом» (№ 24–25), «Последний Кайн» (№ 34); переводы стихов Натана Альтермана, Рахели, Цви Прейгерзона (№ 28, 33, 36, 40).

Александра ХОДОРКОВСКАЯ родилась в Киеве. Училась в Куйбышеве. По образованию филолог. В 1989 году эмигрировала в США. Публиковалась в литературной периодике. Живет в Атланте.

Алла ШИРОНИНА родилась в Ташкенте. Окончила Ташкентский пединститут. Работала библиотекарем, литературным редактором, уборщицей, няней, психологом. Занималась в литературном семинаре Александра Файнберга. Стихи и переводы печатались в журнальной периодике и литературных альманахах. Автор книги стихотворений «Балансир» (1988). С начала 90-х годов живет в Калининграде.

В «ИЖ» опубликована глава из повести **А. Ш.** «Сталинградская битва Фрау» (№ 46) и подборка стихотворений «Всё наше здесь» (№ 47).

Мири ЯНИКОВА родилась в Москве, окончила МИИТ. Репатрировалась в 1985 году. По образованию программист; работала также переводчиком, графиком и веб-мастером. Стихи, проза и переводы с иврита публиковались в израильской периодике и антологиях. Выпустила книгу переводов Рахели (1991) и книгу прозы «Перейти границу» (2015). Живет в Хайфе.

СОДЕРЖАНИЕ

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

СЕМЁН КРАЙТМАН. За веткой винной ягоды. <i>Стихи</i>	3
ЮЛИЯ РАБИНОВИЧ. Под небом голубым. <i>Рассказ</i>	15
МАРК ЗАЙЧИК. Зимний вечер в Иерусалиме. <i>Повесть</i>	19
ЛЮДМИЛА ЕФРЕМОВА. Не плакать, а петь. <i>Стихи</i>	47
ДАВИД МАРКИШ. Плутовка. <i>Рассказ</i>	51

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

ВИКТОРИЯ РАЙХЕР. Фотоальбом. <i>Стихи</i>	66
МИХАИЛ КНИЖНИК. «Отворите мне врата...» <i>Рассказы</i>	73
ЮЛИЯ ВИНЕР. Мне двадцать лет. Из цикла « <i>Былое и выдумки</i> » ..	78
ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД. Сама себе хозяйка <i>Стихи</i>	98
АННА ЛИХТИКМАН. Робот-тюлень. <i>Рассказ</i>	102

УЛИЦА ГОЛАНСКИХ ВЫСОТ

СВЕТЛАНА МАРКОВСКАЯ. Старики. <i>Миниатюры</i>	110
--	-----

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

АЛЛА ШИРОНИНА. Встречайте! Я – ловец. <i>Стихи</i>	119
--	-----

АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ

АЛЕКСАНДРА ХОДОРКОВСКАЯ. Первая буква. <i>Рассказ</i>	128
---	-----

УЛИЦА КОРОЛЯ ГЕОРГА

ЕКАТЕРИНА ГОРБОВСКАЯ. Вы тут не видели доброе-вечное? <i>Стихи</i>	133
---	-----

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

ПЕТР КРИКСУНОВ. Мечтаю перевести... <i>С переводчиком беседует Елена Калашникова</i>	140
СТАНИСЛАВ МИНАКОВ. Флейта Самогитского полка. <i>О поэзии Алексея Ивантера</i>	146
ТАТЬЯНА АЗАЗ-ЛИВШИЦ. Между Данте и Дантоном. <i>О любимом рассказе Бабеля</i>	156

ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ

ДАВИД МАРКИШ. На родном языке. <i>К столетиям со дня рождения Переца Маркиша</i>	161
ПЕРЕЦ МАРКИШ. Куча. <i>Поэма</i> . <i>Перевел с идиша Ханох Дашевский</i>	163
ХАНОХ ДАШЕВСКИЙ. Не из того ряда	178
ГАЛИНА КУЛЬТИАСОВА. Заметки дотошного читателя. <i>К шестидесятилетию Алекса Тарна</i>	180

ХОЛМ ПАМЯТИ

СТЕПАН БАЛАКИН. Элегии разных лет	187
ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ, МИРИ ЯНИКОВА, ЛЕЯ АЛОН, ЕВГЕНИЯ КРАВЧИК, СЕРГЕЙ КОСТЫРКО, ЮЛИЙ КИМ «Если б каждый еврей...» <i>Памяти Инны Винярской</i>	192

УЛИЦА ЖАБОТИНСКОГО

ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ. Из публицистики (1906)	217
--	-----

ИМЕНА

Авторы и персонажи	278
--------------------------	-----

Подписку на журнал можно оформить,
прислав обычным (не заказным) письмом свои координаты
и чек на имя **Jerusalem Anthologia**
по адресу: **P. O. Box 32297, Jerusalem 91322**

или

перевести деньги на счет 215502, отделение 585, банк Апоалим
(Account 215502, Bank Napoalim, Branch 585 (Gilo), SWIFT: POALILIT),

уведомив редакцию о переводе по электронной почте:
jerusalemreview@gmail.com

Стоимость годовой подписки (4 номера):

В Израиле – 180 шекелей, включая пересылку

В других странах – \$70 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:

в Израиле – 50 шекелей;

в других странах – \$20 США, включая пересылку

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азиз-Лившиц (Мевасерет-Цион), Андрея Анпилова (Москва),
Ольгу Аксютину (Иерусалим), Елену Аксельрод (Маале-Адумим),
Александра Блиштейна (Чикаго), Хила Бродского (Чикаго), Михаила
Веллера (Москва), Лину Виленскую (Кфар-Адумим), Инну Винярскую
(Текоа), Асю Векслер (Иерусалим), Сару Воробейчик (Хайфа), Татьяну
Гольдмахер (Бостон), Андрея Грицмана (Нью-Йорк), Андрея Крылова
(Москва), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана (Иерусалим),
Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Ханоха
Дашевского (Иерусалим), Феликса Дектора (Москва), Александра Дова
(Петах-Тиква), Владимира Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову
(Иерусалим), Марка Камцана (Петах-Тиква), Григория Кановича (Бат-
Ям), Ицхокаса Мераса (Бат-Ям), Ольгу Качанову (Алма-Ата), Леонида
Кациса (Москва), Ольгу Качанову (Алма-Ата), Дмитрия Кимельфельда
(Иерусалим), Игоря Когана (Хайфа), Ефима Котляра (Чикаго), Аркадия
Красильщикова (Ган-Явне), Михаила Книжника (Мевасерет-Цион),
Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха (Беэр-Шева), Якова Лившица
(Иерусалим), Станислава Минакова (Харьков), Бориса Мафцира
(Иерусалим), Марину Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра
Менделевых (Петах-Тиква), Йосефа Менделевича (Иерусалим),
Давида Маркиша (Ор-Еуда), Юрия Моор-Мурадова (Тель-Авив),
Генриха Небольсина (Иерусалим), Михаила Польского (Текоа), Бориса
Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зеэва Султановича
(Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена Сушанского
(Иерусалим), Евгению Тиновичскую (Иерусалим), Александра Туркота
(Москва), Ирину Хвостову (Москва), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила
Фельдмана (Беэр-Шева), Михаила Финкеля (Петах-Тиква), Ехиэля
Фишзона (Нокдим), Владимира Фромера (Иерусалим), Шуламит Шалит
(Тель-Авив), Наума Шаца (Иерусалим), Дмитрия Шварца (Иерусалим),
Михаила Щербакова (Москва), Клару Эльберт (Маале-Адумим)
за поддержку журнала.

**Любые советы, предложения, а также пожертвования
будут приняты с благодарностью**

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999 – 2015 годах вышли книги:

Дина РУБИНА «Высокая вода венецианцев»;
Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ «Стена в пустыне»;
Юлий КИМ «Путешествие к маяку»;
Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА «Иерусалимские картинки» (1, 2);
Наум БАСОВСКИЙ «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»;
Илья БОКШТЕЙН «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной»,
«Авангардист на крышу вышел»;
Дмитрий СУХАРЕВ «Холмы»;
Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий», «Гарики предпоследние», «Гарики из Атлантиды», «Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник»,
«Седьмой дневник», «Восьмой Дневник»;
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»
(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»);
Григорий КАНОВИЧ «Лики во тьме», «Облако по имени Литва»;
Марк ВЕЙЦМАН «Третья попытка», «Следы пребывания»;
Самуил ШВАРЦБАНД «Схолии»;
Марина МЕЛАМЕД «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки»,
«Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду»;
Зинаида ПАЛВАНОВА «Счастье без прикрас», «Ближневосточница»,
«Энергия согласия»;
Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ «Времена речи»;
Александр КРЕСТИНСКИЙ «Дорога на Яффо»;
Алекс РЕЗНИКОВ «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая),
«Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»;
Илья БЕРКОВИЧ «Стихи, написанные в Израиле»;
Эли БАР-ЯЛОМ «Горизонтальная луна»;
Владимир ФРЕНКЕЛЬ «Другая осень»;
Марк БОГОСЛАВСКИЙ «Воробьиная ночь»;
Вильям БАТКИН «Талисман души»;
Илан РИСС «У разбитого горячего камня»;
Ирина РУВИНСКАЯ «Наперечёт»; Юрий КАМИНСКИЙ «Вкус полыни»;
Рахель ЛИХТ «Семейные свитки»;
Хава Броха КОРЗАКОВА «Пятое послание», «Один шаг»;
НИКОЛЬСКИЙ «Каталог женщин», «Постоянное присутствие женщины»;
Лена ШТЕРН «Спустя три года»; Елена ИГНАТОВА «Ранний снег»;
Евгений МИНИН «Погоня за ветром», Ася ВЕКСЛЕР «Еще не вечер»,
Ицхокас МЕРАС «На полпути»; Леонид СОРОКА «СТИХЛЯШКИ»;
Лорина ДЫМОВА «Вальс в полночь»; Алла БОССАРТ «Еду я на родину»;
Лорина ДЫМОВА и Леонид ВЕТШТЕЙН «Куртуазные диалоги»;
Семён КРАЙТМАН «Про сто так»;
Михаил ФЕЛЬДМАН «Хорошее и лучшее».

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

новые книги Михаила ЗИВА, Владимира ДРУКА,
Ирины ОЗЁРНОЙ, Семёна СУШАНСКОГО,

CONTENTS

JAFFA GATE

SHIMON KRAITMAN. A branch of a fig tree. *Poems*

JULIA RABINOVICH. Under the blue sky. *Short Story*

MARC ZAICHIK. A winter evening in Jerusalem. *Novelette*

LYUDMILA EFREMOVA. Singing, not crying. *Poems*

DAVID MARKISH. Little rogue. *Short Story*

LION GATE

VICTORIA REIKHER. Photo album. *Poems*

MIKHAIL KINZHNİK. "Open me the gate..." *Short Stories*

JULIA WINER. I am twenty. *From the cycle "Bygone and firs"*

ELENA AXELROD. Own mistress. *Poems*

ANNA LIKHTIKMAN. Robot seal. *Short Story*

GOLAN HEIGHTS STREET

SVETLANA MARKOVSKAYA. Old people. *Miniature*

RUSSIAN COMPOUND

ALLA SHIRONINA. It's me, the catcher! *Poems*

AMERICAN COLONY

ALEXANDRA KHODORKOVSKAYA. The first letter. *Short Story*

KING GEORGE STREET

EKATERINA GORBOVSKAYA. Haven't you seen 'good-and-eternal'?
Poems

JUBILEE QUARTER

DAVID MARKISH. In the mother tongue.

To the one hundred and twentieth anniversary of Peretz Markish

PERETZ MARKISH. The heap. *Poem*.

Translated from Yiddish by Chanoch Dashevsky

CHANOCH DASHEVSKY. Above par. *Translator's afterword*

GALINA KULTIASOVA. Notes of the meticulous reader.

To the sixtieth anniversary of Alex Tarn

MOUNT SCOPUS

PETR KRIKSUNOV. I dream of translating...

Interviewed by Elena Kalashnikova

STANISLAV MINAKOV. A flute of the Samogit regiment.

On the poetry of Alexey Ivanter

TATIANA LIVSHITZ-AZAZ. Between Dante and Danton.

On my favorite short story by Babel

MEMORY HILL

[Stepan Balakin.] Elegies of various years

IGOR BYALSKY, MIRI YANIKOVA, LEAH ALON, SERGEY KOSTYRKO,

YULI KIM. "If each Jew..." *In commemoration of Inna Vinyarskaya*

ZHABOTINSKY STREET

VLADIMIR (ZEEV) ZHABOTINSKY. From literary journalism (1906)

NAMES

Authors and Characters

תוכן העניינים

שער יפו

שמעון קריימן. מאחורי ענף תות יין – שירים
יוליה רבינוביץ'. מתחת שמי התכלת – סיפור
מרק זייציק. ערב חורפי בירושלים – סיפור
לודמילה יפרמובה. לשיר ולא לבכות – שירים
דוד מרקיש. השובבה – סיפור

שער האריות

וויקטוריה רייכר. אלבום תמונות – שירים
מיכאיל קניז'ניק. "פתחו לי את השער" – סיפורים
יוליה ווינר. אני בת עשרים – זיכרונות מהסדרה "היה ולא היה"
ילנה אקסלרוד. גבירה לעצמה – שירים
אנה ליכטיקמן. כלב ים רובוטי – סיפור

רחוב רמת הגולן

סבטלנה מרקובסקאיה. זקנים – מיניאטורות

מגרש הרוסים

אלה שירונינה. פגשוני! אנוכי – הלוכד – שירים

מושבה אמריקאית

אלכסנדרה חודורקובסקאיה. האות הראשונה – סיפור

רחוב המלך ג'ורג'

יקטרינה גורבובסקאיה. הראיתם כאן את הטוב והנצחי? – שירים

הר הצופים

פיטר קריקסונוב. חולם לתרגם... – ראיון
עם המתרגם משוחחת ילנה קלשניקובה
סטיסלב מינקוב. חליל מהגדוד הסמוגיטי
על שירתו מאת אלכסי איוונטר
טטיאנה עוז-ליפשיץ. בין דנטה לדנטון – על הסיפור האהוב מאת בבל

קרית היובל

דוד מרקיש. בשפת האם
לקראת מאה ועשרים שנה להולדתו של פרץ מרקיש
פרץ מרקיש. די קופע – פואמה
מיידיש – חנוך דשבסקי
חנוך דשבסקי. לא מאותה שורה – אחרית דבר של המתרגם
גלינה קולטיאסובה. הערותיו של הקורא הקפדני
לכבוד יום ההולדת השישים של אלכס טארן

הר הזיכרון

סטפן בלאקין. אלגיות משנים שונות
איגור ביאלסקי, מירי יניקובה, לאה אלון, סרגי קוסטירקו,
יולי קים "לו כל יהודי..." – לזכרה של אינה וויניארסקי

רחוב ז'בוטינסקי.

ולדימיר (זאב) ז'בוטינסקי. מהפובליציסטיקה (1906)

שמות

הדמויות והיוצרים

תמונת הסליטות עלית חתומה
הוציא ל. פרץ 2 תוספת 1997
10806

ספרות ישראלית בשפה הרוסית
רבעון אמנותי

עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת: איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
הלנה איגנטובה, זאב גייזל, רומן טימנצ'יק, וולוול טשרנין, יולי קיס,
זינאידה פלבנובה, דינה רובינה, ויקטוריה רייכר, סבטלנה שנברון
מזכיר – יבגני מינין
ציירת – סוסנה צ'רנוברובה
עיצוב באינטרנט – קרינה פסטרנק
עריכה והגהה: בינה סמחובה, לובה ליבזון, גלינה קולטיאסובה
תמיכה לוגיסטית וטכנית: דניאל בורשטיין, בוריס ברונשטיין,
ויקטור גופמן, גריגורי גורדין, וולדימיר פופוב, אילן ריס

הדפסה: דפוס "צור-אות"

בתמיכת



מנהל התרבות, המחלקה לספרות



עיריית ירושלים



קרן רוסקי מיר



בית מורשת אורי צבי גרינברג

© 2015 כל הזכויות שמורות למחברים

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת. ד. 32297, ירושלים 91322
טל. 02-5370087, 0544-745322, 02-9960302
E-mail: jerusalemreview@gmail.com

